

Egz. archiwumny IBL

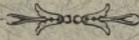
Н. Э. ГЛОККЕ.

ЯНЪ КОХАНОВСКІЙ^с

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

ВЪ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ XVI ВѢКА.

Цѣна 2 руб. 50 коп.



КІЕВЪ.

Типографія Императорскаго Университета Св. Владимира.
Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Михайловская ул., д. № 4.

1898

<http://rcin.org.pl>

Н. Э. ГЛОККЕ.

ЯНЪ КОХАНОВСКІЙ

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

ВЪ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ XVI ВѢКА.

Цѣна 2 руб. 50 коп.

INSTYTUT
DANIA LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63



KIEVЪ.

Типографія ИМПЕРАТОРСКАГО Университета Св. Владимира
Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Михайловская ул., д. № 4.

1898

H. S. LÜHRE

С РИХОВЧИН



N E T O S H A R E H E

ДЛЯ ИСТОРИИ ПОДПРЕДСЕДА ОРГАНОВ ВЪЗМОЖНОСТИХЪ XIX ВѢКА

Печатано по определенію Совѣта Императорскаго Университета Св. Владимира.
Оттискъ изъ „Университетскихъ Извѣстій“ за 1897 годъ.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF WARSAW

6035

Монография о деятельности и влиянии на общественную жизнь А. Г. К. въ 1897 г. А. Н. Т. Н.

1897

жыннынни оғындауынан тұрақтылықтың орнында 1625—1626 жылдарда Кохановскій тұрақтылығынан шынайырақ көтүшілдік орындауда болып келді. Оның анындауынан тұрақтылықтың орнында болып келді. Көтүшілдік орындауда болып келді. Сондай-ақ 1626 жылдан бері оның анындауынан тұрақтылықтың орнында болып келді. Көтүшілдік орындауда болып келді. Анындауынан тұрақтылықтың орнында болып келді. Оның анындауынан тұрақтылықтың орнында болып келді.

111. Жыныс және «ОГЛАВЛЕНИЕ» анындауынан тұрақтылықтың орнында болып келді.

стр.

I.

Предисловие жыныс және «ОГЛАВЛЕНИЕ» анындауынан тұрақтылықтың орнында болып келді.

Доказательство о бытании Яна Кохановского в Польше, а также о его воспитании и о первоначальном образовании его в Польше.

Глава I. Доказательство о бытании Яна Кохановского в Польше, а также о его воспитании и о первоначальном образовании его в Польше.

Молодость Яна Кохановского до его отъезда за границу.

I. Характеристика местности, откуда происходил Кохановский. Сведения о его предках. Гипотеза об их мазовецком происхождении. Родители Яна. Предположение влияния на него матери. Гипотезы о его первоначальном воспитании. Общий характер школы того времени в Польше. Поступление Кохановского в Краковскую Академию в 1544 году. Общее состояние этого высшего учебного заведения в ту эпоху. Сведения о краковских профессорах. Предположение о курсах, которые могли интересовать Яна. Гипотеза о влиянии на него Симона Марицкого. Продолжительность пребывания Кохановского в Краковском Университете. Гипотезы Левенфельда, Калленбаха, Малецкого и Виндакевича. Взгляды на них Станислава Тарновского и оценка его мнения.

1

II. Явления краковской общественной жизни, которым могли отразиться на Кохановском. Реформация. Начало национальной польской литературы. Рей и его первая польская произведение. Возможность его влияния на Яна. Первые стихотворения Кохановского. „Несень о потопѣ“. Меценаты. Гипотеза Бронислава Хлыбовского и ее оценки.

19

Глава II. Доказательство о бытании Яна Кохановского в Польше, а также о его воспитании и о первоначальном образовании его в Польше.

Янъ Кохановскій за границей.

I. Свидетельство Пападополи о пребывании Кохановского в Венеции. Выездъ въ Падую. Падуанскій университетъ въ половинѣ XVI вѣка. Профессора. Робортелль. Товарищи Кохановского и его отношеніе къ нимъ.

35

П. Общій характеръ латинскихъ произведеній Кохановскаго, написанныхъ за границей. Отсутствіе въ нихъ определенно выраженныхъ индивидуальныхъ чертъ. Миніе некоторыхъ критиковъ о школьномъ характерѣ этихъ стихотвореній. Трудность ихъ распределенія въ хронологическомъ порядке. Попытка Лёвенфельда ихъ раздѣленія на двѣ группы: падуанскую и парижскую. Значеніе этой группировки послѣ открытия Брикнера. Эротическая элегія Кохановскаго и различныя фазы любви поэта. I, 9. I, 3. I, 2. III, 6. III, 8 и 14. II, 3 и 10. II, 4 элегіи. Стихотворенія къ Патрицію и къ Торквату II, 2. VII ода. Настроеніе и чувства, выраженные въ вышеупомянутыхъ элегіяхъ. Значеніе этихъ стихотвореній въ исторіипольской литературы. Вліяніе итальянскаго гуманизма какъ причина слабаго выраженія индивидуальности въ раннихъ латинскихъ произведеніяхъ Кохановскаго. Предположеніе о томъ, какимъ могъ быть нашъ поэтъ въ это время . . .

44

III. Элегіи послѣдніхъ лѣтъ падуанской жизни Кохановскаго. XXXV эпиграмма въ „Фориценіяхъ“. Лидія и ея характеристика. Элегіи къ ней. Двѣнадцатая элегія первой книги. Шестая той же книги. Однинадцатая I книги и соответствующая ей въ рукописи Осмульского шестая I книги. Пятая I книги, существующая только въ рукописи. Четвертая элегія первой книги и соответствующая ей третья I книги въ рукописи. Десятая I книги. Тринадцатая I книги и третья второй книги Осмульского. Вторая элегія III книги и восьмая I книги рукописи. Первая элегія второй книги. Пятая той же книги и седьмая второй книги Осмульского. Шестая элегія второй книги и восьмая II рукописи. Семнадцатая элегія третьей книги. Однинадцатая второй книги и однинадцатая той же книги Осмульского, какъ выраженіе очарованія Кохановскаго личностью императора Карла V. Эпилогъ романа съ Лидіей—седьмая элегія третьей книги. Элегія къ Мѣлецкому и Тарновскому. Седьмая элегія первой книги и пятая той же книги рукописи. Пятая элегія первой книги и четвертая Осмульского. Первая первой книги печатного и рукописного текста. Девятая и десятая рукописная элегіи первой книги, какъ выраженіе религіозныхъ убѣждений Кохановскаго. Литературное значеніе всѣхъ этихъ элегій. Хронологическая ихъ дата, какъ подтвержденіе реальности романа съ Лидіей и ея значеніе для біографіи поэта

65

IV. Польская стихотворенія, посвященные Лидіи. Фрашка 77 второй книги. Фрашка 91 той же книги. 77 фрашка первой книги. X пѣснь Фрагментовъ. 88 фрашка второй книги. 28 третьей книги. VII пѣснь Фрагментовъ. IV пѣснь первой книги. VII пѣснь первой книги. VII той же книги. 70 фрашка второй книги. 19 фрашка третьей книги. 75 фрашка второй книги. 26 фрашка третьей книги. XI пѣснь первой книги. XV пѣснь той же книги. XXI той же книги. XXV той же книги. 39 фрашка первой книги. XI пѣснь Фрагментовъ. 51 фрашка второй книги. 59 фрашка той же книги. XXIII пѣснь первой книги. 73 фрашка первой книги. XXII пѣснь первой книги. 69 фрашка II книги . . .

86

V. Путешествіе Кохановскаго по Италіи. Гипотеза о возвращеніи его въ 1556 году на родину при содѣйствіи Оссолинскаго. Седьмая элегія

второй книги и соотвѣтствующая ей вторая II книги рукописи Осмультского. Вторичное посѣщеніе имъ Италіи. Эпитафія Эразму Кретковскому. Поѣзда Кохановскаго во Францію. Впечатлѣнія, съ которыми встрѣтился онъ въ Парижѣ. Ронсаръ. Состояніе парижскаго университета. Съ кѣмъ изъ сверстниковъ могъ встрѣтиться Кохановскій. Эпиграмма „Ad Gallam“. Окончательное возвращеніе его на родину

104

Глава III.

Первые годы жизни Кохановскаго по возвращеніи его на родину.

- I. Имущественные хлопоты Кохановскаго. Состояніе Польши въ моментъ возвращенія его на родину. Реформація и начало католической реакціи. Гозій, Кромерь и Карниковскій. Вопросъ объ „экзекуціи правъ“. Моджеевскій и Ожеховскій. Полемическая литература. Предшественники Кохановскаго: Рей и Тшицѣскій. „Zuzanna“ какъ первое эпическое произведеніе Кохановскаго. Его придворная служба у Тарновскихъ

113

- II. „Szachy“. Ихъ содержаніе. Отношеніе ихъ къ поэмѣ Виды. Ихъ литературныя достоинства. Попытка опредѣлить время ихъ происхожденія. 5 элегія III книги къ Паднѣвскому. 1 пѣснь I книги, 10 пѣснь I книги. Подражаніе въ ней Ариосту. Стихотворенія на смерть Яна Тарновскаго. 4 элегія III книги и „Pamiątka Janowi z Tęczyna“. Стихотворенія къ Фирлеямъ. 15 элегія I книги

119

- III. „Фрашки“, какъ форма литературныхъ произведеній. Ея возникновеніе и дальнѣйшая исторія. „Facetiae“ Поджіо Браччолини, Бебеля, Гаста и другихъ гуманистовъ. „Figliki“ Николая Рей изъ Нагловицъ. „Фрашки“, „Foricoenia“ и „Aporhtegmata“ Яна Кохановскаго. Ихъ отношеніе къ фасціямъ гуманистовъ и Рей. Ихъ самобытный характеръ. „Фрашки“ и „Foricoenia“, какъ отраженіе всей интимной жизни поэта. Застольные, анакреонтическіе и шутливыя стихотворенія. Отношеніе Кохановскаго къ друзьямъ и благодѣтелямъ. Нападки на духовенство. Религіозные взгляды поэта. Его отношеніе къ себѣ и къ своимъ произведеніямъ

135

Глава IV.

Политические идеалы Яна Кохановскаго и его служба при королевскомъ дворѣ.

- I. Сеймъ 1562 года. „Zgoda“ Кохановскаго. Отношеніе ея къ рѣчи Паднѣвскаго. Взгляды Кохановскаго на современное состояніе Польши. Сеймъ 1563 года. Рѣчь Мишковскаго. „Satyr“. Затронутые въ немъ религіозные и политические вопросы. Поступленіе Кохановскаго въ королевскую канцелярію. Его отношеніе къ Мишковскому и къ Паднѣвскому
- II. Предложенія Кохановскому принять духовный санъ. Его отказъ. Эротическая произведенія этого периода. Отношеніе Кохановскаго къ Дудычу.

179

СТР.

Стихотворение „Ad Musas“. Желание оставить придворную службу.
„Carmen Macaronicum“

169

101

III Прямота и нелицепрятіе Кохановскаго. Стихотворение „O nowych frasz-kach“. Непріязнь къ Кохановскому со стороны придворныхъ. Мелкие уколы его самолюбіи и обиды. Оставленіе поэтомъ королевской канцеляріи вмѣстѣ съ Мишковскимъ. Гипотезы Бронислава Хлѣбовскаго и Станислава Тарновскаго о причинѣ этого события. 15 элегія III книги и 13 той же книги, какъ программа сельской жизни Кохановскаго . . .

179

Глава V.

Сельская жизнь Кохановскаго до его брака.

I. Состояніе духа Кохановскаго въ теченіе первого времени его деревенской жизни. Остатки прежняго горькаго чувства и ихъ выраженіе. 17 пѣснь второй книги. Однинадцатая той же книги. Третья, девятнадцатая, девятая той же книги. Желание заглушить свое горе въ веселой компании. Девичая пѣснь первой книги. Двадцать четвертая той же книги. Возвращеніе къ спокойствію духа. Вторая пѣснь первой книги и шестнадцатая той же книги. Третья элегія четвертой книги. V ода. Пѣснь „Patrzaj jako śnieg“, XI ода. Стихотвореніе къ Музѣ и 24 пѣснь II книги . . .

185

II. Политическія события въ Польшѣ отъ 1569—1574 гг. и отношеніе къ нимъ Кохановскаго. „Proporzec“, „Omen“, „Wrózki“. Начало перѣвода „Псалтыри“. Смерть Сигизмунда-Августа. Первое безкоролевье. Стихотвореніе къ королю Генриху Валуа. „Marszalek“ . . .

194

III. Мысли Кохановскаго о бракѣ. „Dzwiesiąt“ Дорота Подлѣдовская. Стихотворенія къ ней. Вторая пѣснь второй книги. Шестая пѣснь фрагментовъ. Первая элегія третьей книги. „Pieśń świętojańska o Sobótce“ . . .

203

IV. Второе безкоролевье и отношеніе къ нему Кохановскаго. Четвертая ода. Четырнадцатая пѣснь второй книги. Ода „In conventu Stesicensi“. Рѣчь Кохановскаго на сеймѣ и возраженія противъ нея Сѣнницкаго. Пятая пѣснь второй книги. Эпитафія Станиславу Струю. Ода „In conventu Varsoviensi“. Восьмая пѣснь второй книги. Стихотвореніе „Gallo Cogitanti“. Басня „О пѣтухѣ“ по рукописи, открытой проф. Брикнеромъ . . .

217

Глава VI.

Послѣдніе годы жизни Яна Кохановскаго.

I. События 1577—1578 годовъ. „Odprowa posłów greckich“. Ея содержаніе. Характеристика действующихъ лицъ. Слабость драматической композиціи. Вліяніе классическихъ произведений. Элементы польской жизни, изображенныя въ ней. Ея литературное значеніе. „Orpheus Sarmaticus“ . . .

230

II. Пребываніе Стефана Баторія въ имѣніи Замойскаго; Замѣкъ. Привѣтственныя стихотворенія въ честь короля: „Pan Zamchanus“, „Dryas Zamcha-

на“ и „Dryas Zamechska“. Назначеніе Мышковскаго Krakowskimъ епископомъ. Десятая элегія III книги. Двадцатая пѣснь второй книги	238
Десятая ода „In villam Pramnicanam“ Взятіе Полоцка. Ода „De exprositione natione Polottei“. „Феномены“ Араты. „Psalterz“ Посвященіе Мышковскому. Эпиграмма Буханану. Зависимость „Псалтыри“ Кохановскаго отъ перевода Буханана. Разнообразіе размѣровъ. Псалмы, возникшіе въ ранніе годы жизни нашего поэта Псалмы, въ которыхъ отразилась придворная жизнь Кохановскаго. Значеніе его „Псалтыри“ для польской литературы. Пѣснь „Czego chcesz od nas Panie“. Пятая и третья пѣснь фрагментовъ. Значеніе религіозной лирики Кохановскаго	238
III. Янъ Кохановскій въ своей семье. Смерть его дочери Уршули. „Трены“. Ихъ содержаніе. Попытка определенія ихъ хронологической послѣдовательности. Разборъ треновъ. Ихъ литературное значеніе	254
IV. Четвертая и первая пѣснь фрагментовъ. Издание францѣкъ и элегій. Пѣснь въ честь побѣды Баторія надъ Москвою. Пѣснь „o statecznymъ sludze Rzeczypospolitej“ „Эпиникіонъ“. Эпиталамій на свадьбу Замойскаго съ Гризельдой Баторій. „Jezda do Moskwy“. 49 францка I книги къ Пессевину. Убийство Якова Подлѣдовскаго въ Турціи. Кохановскій на люблинскомъ съездѣ. Смерть поэта	281
З а к л ю ч е н і е .	
Религіозныя, философскія и политическія убѣжденія Кохановскаго. Его взглядъ на любовь и на семейную жизнь. Его отношеніе къ дѣтямъ. Родственное чувство. Дружба. Общественная жизнь и развлечения. Литературное значеніе Кохановскаго. Его чуткость къ явленіямъ текущей дѣйствительности. Гуманизмъ. Введеніе Кохановскимъ въ польскую поэзію западно-европейскихъ литературныхъ формъ. Индивидуальный и народный элементъ въ его творчествѣ	287
Перечень источниковъ и пособій для настоящаго сочиненія	293

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Переводы изъ Яна Кохановскаго.

I трень	1
II трень	2
III трень	3
VII трень	—
VIII трень	4
Собутка. Вступление	—
I дѣвушка	5
V дѣвушка	6
VI дѣвушка	7
VII дѣвушка	—

	стр.
„Тяжелыя цѣни на сердце я чую“	8
14 пѣснь II книги	9
„Смотри, какъ сиѣгъ въ горахъ бѣлѣеть“	—
Пѣснь о благодѣяніяхъ Божихъ	10
Omen	11
Сонъ	—

а глаголомъ же *многотъ* въ синхронномъ именномъ склоненіи, а въ *одинаковомъ* *внешнемъ* *видѣ* — *одинаковы* *имена* *личныхъ* *членовъ* *одной* *группы* *личности*. *Въ* *одинаковомъ* *внешнемъ* *видѣ* *одинаковы* *имена* *личныхъ* *членовъ* *одной* *группы* *личности*, *но* *различны* *личности* *одного* *одинакового* *внешнего* *вида*. *Однако* *такое* *одинаковомъ* *внешнемъ* *видѣ* *имя* *личности* *имеетъ* *одинаковы* *личные* *члены* *одной* *группы* *личности*. *И* *одинаковы* *имена* *личныхъ* *членовъ* *одной* *группы* *личности*, *но* *личности* *одного* *одинакового* *внешнего* *вида* *личны* *одинаково* *личными* *членами* *одной* *группы* *личности*. *И* *одинаковы* *имена* *личныхъ* *членовъ* *одной* *группы* *личности*, *но* *личности* *одного* *одинакового* *внешнего* *вида* *личны* *одинаково* *личными* *членами* *одной* *группы* *личности*.

Ф о л и о в а т е

о *В* *одинаковой* *личности* *одинаковы* *и* *одинаковы* *именемъ* *личности*. *Личность* *имеетъ* *одинаково* *личные* *члены* *одной* *группы* *личности*. *Въ* *одинаковыхъ* *личностяхъ* *и* *одныхъ* *личныхъ* *членахъ* *личности* *имеютъ* *одинаковы* *личные* *члены* *одной* *группы* *личности*. *Однако* *личности* *одного* *одинакового* *внешнего* *вида* *личны* *одинаково* *личными* *членами* *одной* *группы* *личности*. *И* *одинаковы* *имена* *личныхъ* *членовъ* *одной* *группы* *личности*, *но* *личности* *одного* *одинакового* *внешнего* *вида* *личны* *одинаково* *личными* *членами* *одной* *группы* *личности*.

ЦИСЛОГРАММА

с *одинаковомъ* *видѣ* *именемъ*

1	I	1	I
2	II	2	II
3	III	3	III
4	IV	4	IV
5	V	5	V
6	VI	6	VI
7	VII	7	VII
8	VIII	8	VIII
9	IX	9	IX
10	X	10	X

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Сочиненіе „Янъ Кохановскій и его значеніе въ исторіи польской образованности XVI вѣка“ представляетъ студенческую работу, написанную на тему, предложенную историко-филологическимъ факультетомъ Императорскаго университета св. Владимира.

Въ 1884 г. исполнилось триста лѣтъ со дня смерти выдающагося польского поэта Яна Кохановскаго. Къ этому времени вышло на польскомъ языкѣ множество отдѣльныхъ монографій и мелкихъ статей, посвященныхъ разбору его литературныхъ произведеній, характеристики личности и эпохи, когда жилъ и трудился славный Чернолѣсскій поэтъ, привившій западно-европейскія литературныя формы польской поэзіи и поставившій ее на ту высоту, которая послужила прочнымъ залогомъ развитія и преуспѣянія польской литературы. Впрочемъ, вопросомъ о Кохановскомъ стали заниматься гораздо раньше. Первая его біографія на латинскомъ языкѣ, принадлежащая неизвѣстному автору, перепечатанная Шимономъ Старовольскимъ въ его извѣстномъ труду „Scriptorum Polonicorum Necatontas“ Vratisl. 1734, написана въ XVII столѣтіи и отличается многими неточностями и недостаткомъ полноты.

Первый опытъ научной біографіи Кохановскаго принадлежитъ Йосифу Пшиборовскому („Wiadomość o žyciu i pismach Jana Kochanowskiego“. Poznań. 1857 г.). Имъ-же составлена подробная бібліографія всѣхъ изданій произведеній Яна Кохановскаго, которыхъ вышло полныхъ до 1639 г. девять, не считая отдѣльныхъ произведеній, также издававшихся по нѣсколько разъ. Трудъ Пшиборов-

скаго выполненъ съ рѣдкой тщательностью и добросовѣстностью, но все-таки многіе любопытные вопросы оставлены авторомъ безъ достаточнаго разъясненія, какъ напримѣръ, вопросъ о любовной лирикѣ, о времени написанія первыхъ польскихъ произведеній Кохановскаго и т. п. Шагомъ впередъ въ дѣлѣ уясненія одного изъ этихъ вопросъ, а также другихъ темныхъ мѣстъ въ біографіи славнаго польскаго поэта была диссертациа Рафаила Лёвенфельда „Johann Kochanowski und seine lateinische Dichtungen“ Posen 1878 г., въ которой авторъ впервые проливаетъ свѣтъ на любовную лирику Кохановскаго (латинскую) и дѣлаетъ попытку хронологическаго распределенія отдельныхъ элегий этого рода по ихъ внутреннимъ признакамъ.

Въ 1884 юбилейномъ году, какъ мы уже говорили, появился цѣлый рядъ статей и монографій, посвященныхъ Кохановскому, изъ которыхъ особеннаго вниманія заслуживаетъ небольшая книжка Бронислава Хлѣбовскаго „Jan Kochanowski w swietle własnych utworów“. Warszawa. 1884 г. Авторъ этого труда пытается на основаніи самыхъ произведеній Кохановскаго освѣтить многія темныя мѣста его біографіи. Съ рѣдкимъ остроуміемъ и большой смѣлостью строить Брониславъ Хлѣбовскій гипотезы о жизни Кохановскаго при дворахъ малопольскихъ пановъ и о его протестантскихъ убѣжденіяхъ. При нѣкоторой слабости аргументаціи автора въ немъ поражаетъ замѣчательное чутье правды, котораго, къ сожалѣнію, нѣтъ у болѣе серіозныхъ критиковъ Кохановскаго.

Кромѣ множества цѣнныхъ монографій и статей, посвященныхъ уясненію различныхъ моментовъ жизни и литературной дѣятельности занимающаго нась поэта (которые будутъ приведены нами на своемъ мѣстѣ), въ 1884 году вышло два тома прекраснаго юбилейнаго изданія произведеній Яна Кохановскаго („Jana Kochanowskiego. Dzieła wszystkie. Wydanie Pomnikowe I — II“). Warszawa. 1884 г. in 4^o), куда вошли всѣ его польскія произведенія, снабженныя введеніями и объяснительными примѣчаніями лицъ, спеціально занимавшихся ими. Въ 1886 году вышелъ третій томъ, куда вошли латинскія произведенія Кохановскаго, снабженныя также введеніями и примѣчаніями спеціалистовъ, а также прекраснымъ польскимъ подстрочнымъ переводомъ. (Объщанный четвертый томъ, куда должна войти біографія поэта и нѣкоторая изъ вновь открытыхъ его стихотвореній, къ сожалѣнію, до настоящаго времени не выходитъ въ свѣтъ). Вотъ это юбилейное изданіе и послужило мнѣ главнымъ пособіемъ и источникомъ

для моего сочиненія, въ которомъ я дѣлаю на него сноски, прибѣгая къ сокращенію: W. P. (Wydanie Pomnikowe).

Послѣ 1884 года въ польской литературѣ появилось нѣсколько мелкихъ работъ о Кохановскомъ, принадлежащихъ перу Станислава Виндакевича, Йосифа Калленбаха и др. Наконецъ, въ 1888 году вышла обширная монографія о Кохановскомъ краковскаго академика графа Станислава Тарновскаго „*Studia do historyi literatury polskiej. Wiek XVI. Jan Kochanowski.*“ Kraków. 1888 г. Почтенный авторъ въ этомъ трудѣ дѣлаетъ сводъ всему, что только до него было написано о Кохановскомъ, жизнь и литературную дѣятельность котораго онъ талантливо изображаетъ на фонѣ интересной эпохи польского гуманизма и реформаціи. Главнымъ недостаткомъ этой монографіи является крайняя тенденціозность, заставляющая Кохановскаго быть правовѣрнымъ католикомъ въ ущербъ тѣмъ данными, которыя противорѣчатъ этому. Кроме того нельзя не отмѣтить непослѣдовательности гр. Станислава Тарновскаго, который сперва говоритъ о вліяніи предшественниковъ на Кохановскаго, а потомъ совершенно отрицааетъ это вліяніе. Къ другимъ промахамъ въ высшей степени цѣнной работы почтенаго краковскаго академика я обращусь на своеемъ мѣстѣ.

Новый свѣтъ на личность и литературную дѣятельность Яна Кохановскаго проливаются его рукописныя элегіи, не появлявшіяся въ печати, и открытыя А. Брикнеромъ въ С.-Петербургской Императорской Публичной Библіотекѣ. Статья о нихъ, снабженная выдержками оттуда, появилась въ журнале „*Ateneum*“ за 1891 годъ подъ заглавіемъ „*Nowe przyczynki do dzieł Jana Kochanowskiego*“.

На основаніи этой статьи къ біографіи Кохановскаго прибавляются новые факты, какъ напримѣръ кратковременность его пребыванія въ Парижѣ, хронологическая дата романа съ Лидіей и т. п. Остается пожалѣть, что А. Брикнеръ для большей научной точности не привелъ найденныхъ имъ элегій въ латинскомъ подлиннике.

Въ такомъ состояніи находился въ польской литературѣ вопросъ о Кохановскомъ, когда я приступилъ къ своему сочиненію. Воспользовавшись всѣми имѣвшимися у меня подъ рукой данными, я постарался сдѣлать совершенно объективную характеристику личности Кохановскаго и его заслугъ для польской образованности. Въ виду скучности и неполноты извѣстій о вѣнѣніяхъ событияхъ жизни славнаго польского поэта, я счелъ болѣе удобнымъ излагать біографію

въ связи съ его произведеніями, старалась извлекать изъ нихъ дан-
ныя, необходимыя для характеристики личности Кохановскаго и по-
полненія недостающихъ фактическихъ свѣдѣній о немъ. Кромѣ того
такой способъ изложенія мнѣ кажется наиболѣе удобнымъ для чита-
теля, который, не отдавая жизни писателя отъ его произведеній,
выносить цѣльное впечатлѣніе о немъ. Многое въ моемъ трудѣ по
необходимости отличается недостаткомъ самостоятельности, многое
опущено и недостаточно разъяснено, изложеніе страдаетъ иногда
растянутостью и шероховатостью, но „quod potui feci, faciant meliora
potentes!“.

Еще одно остается мнѣ сказать pro domo sua, это именно о
русской транскрипціи въ польскихъ фамиліяхъ звука *rz*. Здѣсь я
вездѣ придерживался фонетического правописанія, считая русское
сочетаніе *рж* совершенно неправильнымъ для передачи соотвѣтствую-
щаго польского звука.

Въ заключеніе считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить свою
искреннюю, сердечную признательность проф. Т. Д. Флоринскому, съ
рѣдкимъ вниманіемъ руководившему моими занятіями.

Моя глубокая благодарность Л. М. Янковскому, всегда любезно
снабжавшему меня необходимыми книгами и оказывавшему мнѣ свое
просвѣщенное содѣйствіе.

ЯНЪ КОХАНОВСКІЙ

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ВЪ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ XVI ВѢКА.

Jako drzewa w okrag swiata
Cicho rosną w swoje lata;
Tak twe dzieła znamienite
Pójda w glosy pospolite.
Ksiądz Fabijan Birkowski XVI wieku

ГЛАВА I.

Молодость Яна Кохановского до его отъезда за границу.

I.

Характеристика мѣстности, откуда происходилъ Кохановскій. Свѣдѣнія о его предкахъ. Гипотеза объ ихъ мазовецкомъ происхожденіи. Родители Яна. Предполагаемое вліяніе на него матери. Гипотезы о его первоначальномъ воспитаніи. Общій характеръ школъ того времени въ Польшѣ. Поступленіе Кохановскаго въ Krakowskую Академію въ 1544 году. Общее состояніе этого высшаго учебнаго заведенія въ ту эпоху. Свѣдѣнія о краковскихъ профессорахъ. Предположенія о курсахъ, которые могли интересовать Яна. Гипотеза о вліяніи на него Симона Марицкаго. Продолжительность пребыванія Кохановскаго въ Krakовскомъ Университетѣ. Гипотезы Левенфельда, Калленбаха, Малецкаго и Виндаекевича. Взглядъ на нихъ Станислава Тарновскаго и оцѣнка его мнѣнія.

Тотъ или иной характеръ мѣстности, тѣ или иные географическія и климатическія условія играютъ не послѣднюю роль въ дѣлѣ культурнаго развитія не только единичныхъ личностей, но и цѣлыхъ народныхъ массъ. Всякому известно, что благодатное южное солнце и тучная черноземная почва, приносящая обильные урожаи при сравнительно малой затратѣ труда со стороны земледѣльца, располагаютъ его къ лѣни, изнѣживаютъ его натуру и, вмѣстѣ съ тѣмъ, способствуютъ развитію въ немъ страстнаго темперамента и богатаго воображенія. Суровая природа сѣверныхъ странъ, покрытыхъ, боль-

шюю частью, непроходимыми дремучими лѣсами, у которой человѣку приходится тяжелымъ трудомъ отвоевывать себѣ каждую пядь земли, развиваетъ въ немъ духъ предпріимчивости, неутомимую энергию и находчивый умъ. Его фантазія бѣднѣе, но она ближе къ дѣйствительности, его художественное творчество не изобилуетъ яркими красками, но оно служить за то выражениемъ самыхъ насущныхъ потребностей жизни. Такимъ по преимуществу поэтомъ дѣйствительности былъ разбираемый нами въ настоящей работѣ польскій поэтъ XVI вѣка Янъ Кохановскій. Не задаваясь цѣлью точно опредѣлить, что дала ему мѣстность для выработки въ немъ индивидуальности и характера, мы считаемъ не лишнимъ однако же дать самое общее описание мѣстности, гдѣ онъ родился и провелъ первые годы своей жизни, для того, чтобы прибавить хоть какія-нибудь черты къ его характеристицѣ. Родился онъ, какъ известно, въ Радомскомъ повѣтѣ Сандомирского воеводства.

Въ XV и XVI столѣтіяхъ Радомскій повѣтъ ограничивался съ востока рѣкой Вислой, начиная отъ устья рѣки Каменной до города Рычивола, съ сѣвера пограничная черта проходила близко отъ городовъ Бѣлобжеговъ и Гловачева, принадлежавшихъ къ древней Черской землѣ, на западъ подходила къ Гельневу и къ Одживолу, городамъ древняго Опочинскаго повѣта, а съ Юга она примыкала къ Сандомирскому повѣту. Слѣдовательно, по нынѣшней картѣ для возстановленія понятія о древнемъ Радомскомъ повѣтѣ нужно взять почти цѣликомъ два сосѣднихъ повѣта, Радомскій и Илжецкій, сверхъ того большую часть примыкающаго къ нимъ Козѣницкаго, три гмины Опочинскаго и два Конскаго повѣта. Какъ видимъ, мѣстность эта лежала въ сѣверной части Малой Польши, въ близкомъ сосѣдствѣ отъ Мазовіи и отъ Червонной Руси. Черезъ это пространство проходили двѣ дороги, очень важныя въ политическомъ и торговомъ отношеніи. Одна шла изъ Кракова, черезъ Казиміръ въ Вильно, а другая изъ Гданска и Варшавы, черезъ Конскую Волю и Люблинъ, на Волынь и Украину. Дороги эти привлекали изъ сосѣднихъ мѣстностей свѣжее населеніе, которое занимало обширныя лѣсныя пространства, выкорчевывало ихъ и двигало колонизацію все дальше и дальше вглубь дѣйственныхъ лѣсовъ, значительные остатки которыхъ сохранились даже до нашихъ дней. Въ западной части Радомскаго повѣта, въ приходѣ Вѣнѣя, находится деревня Кохановъ, по всей вѣроятности, первоначальное гнѣздо семьи Кохановскихъ. Назва-

не ея происходит, вѣроятно, отъ собственного имени ея основателя. Въ спискѣ гербовъ Папроцкаго гербъ Кохановскихъ, Корвинъ, отождествленъ съ гербомъ Слѣповронъ, принадлежащимъ цѣлому ряду фамилий Мазовецкаго происхожденія. На этомъ основаніи Брониславъ Хлѣбовскій полагаетъ, что и Кохановскіе, герба Корвинъ, были родомъ изъ Мазовіи¹⁾. Подтвержденіе своей мысли онъ видѣтъ также въ томъ обстоятельствѣ, что одна вѣтвь рода Кохановскихъ долгое время носила прозвище Мазуръ. По обыкновенію мелкой мазовецкой шляхты, искавшей лучшихъ жизненныхъ условій въ другихъ областяхъ Рѣчи Посполитой, Корвины охотно поселились среди дремучихъ лѣсовъ, представлявшихъ богатый матеріалъ для приложенія ихъ природныхъ наклонностей къ охотѣ, пчеловодству и землемѣлію на богатыхъ выкорчеванныхъ новинахъ. Вѣроятно, одинъ изъ такихъ мазовецкихъ выходцевъ, Кохантъ, и основалъ среди лѣса, въ четырехъ миляхъ на западъ отъ Радома, уже упомянутый пами хуторъ Кохановъ. Въ началѣ XV вѣка, когда появляются первыя свѣдѣнія о Кохановскихъ, въ имѣніи ихъ было 70 морговъ²⁾ дубового лѣса, который давалъ своимъ владѣльцамъ возможность заниматься скотоводствомъ и пчелами. На основаніи документовъ известно, что въ 1443 году имѣніе это принадлежало Доминику Кохановскому, а въ 1482—Аврааму³⁾. Оба они, по всей вѣроятности, выкорчевывали лѣсъ для увеличенія незначительного количества пахотной земли, бывшей при ихъ усадьбѣ. Сынъ Доминика, Янъ Кохановскій, благодаря своимъ личнымъ достоинствамъ, сумѣлъ пріобрѣсти себѣ добрую славу среди сосѣдей и при помощи выгодной женитьбы на Варварѣ, изъ семейства Слизовъ, получилъ въ приданое Поличну и Чернолѣсъ въ Сѣцѣховскомъ приходѣ, представлявшіе въ то время обширныя лѣсныя пространства съ очень ограниченнымъ количествомъ заселенной пахоты. Какъ видно изъ акта о раздѣлѣ 1519 года между сыновьями Яна, городского Радомскаго судьи, Петръ получилъ одну половину Чернолѣса, а другая досталась Филиппу⁴⁾. Три другихъ брата, Янъ, Витъ и ѡома, подѣлились Поличной, которую затѣмъ продали Андрею

1) См. Bronisław Chlebowski. Jan Kochanowski w świetle własnych utworów. Warszawa 1884 r. str. 4.

2) Земельная мѣра, родъ десятины.

3) См. Biblioteka Warszawska 1884 r. t. II, str. 164 (Posiadłości rodziny Kochanowskich, przez Witolda Małcurzyńskiego).

4) См. Ks. Józef Gacki. O rodzinie Jana Kochanowskiego. Warszawa 1869 r. str. 6.

изъ Бялачева, тестю ихъ брата Петра. Такимъ образомъ послѣдній, посредствомъ полученнаго за женою приданаго, сдѣлался владѣльцемъ всей Поличны, сверхъ своей половины Чернолѣса. Впослѣдствіи онъ докупилъ еще Руду, Сызыну, Барычи, Конары и Шелёнжну Волю съ различными хозяйственными угодіями. Въ высшей степени любопытенъ вышеупомянутый раздѣльный актъ, который показываетъ что въ имѣніи этомъ почти не существовало фольварочнаго хозяйства. Братья дѣлились между собой крестьянскими ланами¹⁾, старательно распредѣляя между собою не только части существующихъ прудовъ, но даже мѣста, пригодныя для ихъ устройства, пахотной же земли и не упоминаютъ вовсе, за исключеніемъ развѣ недавно выкорчеванаго пространства въ Чернолѣсѣ, подъ названіемъ Божии Новинь, садовъ при домѣ и старого гумна. Обширныя лѣсныя и полевые пастбища позволяли имъ держать много мелкаго и крупнаго скота, что, вѣроятно, и составляло главный источникъ ихъ доходовъ. Хлѣбъ съялся, должно быть, только для домашнихъ потребностей. Мѣстность эта была очень мало населена, насколько можно судить по мѣстнымъ приходскимъ исповѣднымъ книгамъ не только въ XVI, но даже и въ XVIII столѣтіяхъ. Кромѣ Поличны Петръ Кохановскій получилъ за женою въ приданое Пильну и Волчью Волю. Нынѣшнее пространство этихъ деревень доходитъ до 6600 морговъ. Впослѣдствіи, послѣ раздѣла между шестью сыновьями Петра, это громадное имѣніе раздробилось, однако широкія знакомства и извѣстность, приобрѣтенная этой разросшейся семьею, облегчала ея членамъ доступъ къ государственнымъ должностямъ и способствовала заключенію выгодныхъ браковъ.

Лѣсной промыселъ и скотоводство, составлявшіе главное занятіе семьи Кохановскихъ, содѣйствовали развитію въ нихъ энергіи, практичности, ума, находчивости и осторожности, закаляли ихъ физически и нравственно. Трудолюбіе, бережливость и способность къ приобрѣтенію были ихъ наслѣдственными качествами. Съ теченіемъ времени физическая достоинства этой семьи перерабатывались въ нравственные. Для собственной своей пользы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не желая терять приобрѣтенной ими доброй славы, они не останавливались на пути къ самоусовершенствованію и передали свое духовное наслѣдство поколѣнію, жившему около половины XVI вѣка, ко-

¹⁾ Ланъ — мѣра пахоты, длиною въ 3024 лѣта въ ширину 120 локтей.

торое внесло въ сокровищницу польской образованности свою богатую дань и, потративши всю свою силу и энергию, ничемъ не проявлялось въ послѣдующіе вѣка¹⁾. Сынъ Яна, Петръ Кохановскій, съ женой своей Анной, жили обыкновенно въ Сыцынѣ. Тамъ въ 1530 г., родился у нихъ сынъ, по имени Янъ²⁾. Никакихъ свѣдѣній, кромѣ имущественныхъ, о родителяхъ его мы не имѣемъ. Изъ официальныхъ документовъ, относящихся къ отцу поэта, мы почти не можемъ составить себѣ яснаго понятія о его личности. Только разъ мы встрѣчаемся съ Радомскимъ судебнымъ актомъ 1511 года,³⁾ который рисуетъ его въ не совсѣмъ выгодномъ свѣтѣ. Здѣсь дѣло шло по поводу жалобы матери на него и на старшаго его брата, Яна, за то, что они не только выгнали ее изъ имѣній, где она могла жить, согласно завѣщанію покойнаго своего мужа, до самой смерти, но даже посягаютъ на ея наследственную часть. Судъ рѣшилъ дѣло въ пользу матери. Въ дальнѣйшей жизни Петра мы больше не встрѣчаемся съ такими случаями, однако жажда пріобрѣтенія имущества никогда не покидала его. Когда онъ женился, ему было уже больше сорока лѣтъ.

1) Не вдаваясь въ критический разборъ сбивчивыхъ свѣдѣній о родословной Кохановскихъ, который сдѣланъ былъ въ трудахъ Пшиборовскаго (*Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego. Poznań 1857 r.*) юсндана I Гацкаго (*O rodzinie Jana Kochanowckiego, o jéj majetnoścach i fundacyach. Kilkanaście pism urzędowych. Warszawa 1869 r.*) и Витольда Малкужинскаго (*Posiadłości rodziny Kochanowskich w ziemi Radomskiej. Podług rejestrów poborowych z lat 1569, 1576 i 1577. Biblioteka Warszawska 1884 r. t. II, str. 161*), а также и Станислава Виндакевича *Nieznane szczegóły o rodzinie Kochanowskich. Kraków. 1884.* Приводимъ для наглядности слѣдующую родословную таблицу:

Доминикъ Кохановскій (1443)

Янъ Кохановскій, городской судья радомскій,
въ бракѣ съ Варварой Слизувной.

Петръ (герба Оровонинъ) въ бракѣ съ Анной изъ Бялачева.	Янъ Витъ	Филиппъ	Ѳома	Добѣславъ	
Касперъ Янъ	Николай	Андрей	Іаковъ	Петръ	Янъ
(авторъ Ротулъ)	(переводч. Эпенды)				(подстар. Стенж.) (възл. Гродка)
Петръ (переводч. «Ерусалимъ» и «Пеистоваго Орlanda»).	Адамъ	Кшиштофъ (?)			Эреміантъ
	(Судья Любельскій)				Янъ (духовный) (каноникъ).

2) См. Józef Przyborowski. *Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego. Poznań 1857. str. 11.*

3) См. Gacki. Op. cit. p. 5.

Жена его, Анна изъ Бялачева, была на 22 года моложе своего мужа. По мѣрѣ упроченія материальнаго благосостоянія Петра возрастало къ нему и уваженіе со стороны сосѣдей. Въ 1535 году достигаетъ онъ званія генеральнааго судьи земли Сандомирской. Умеръ онъ въ 1547 году 62 лѣтъ отъ рода¹⁾). Оставшееся послѣ него вполнѣ обеспеченное семейство должно было хранить о немъ признателную память. Доказательство этому мы видимъ въ извѣстной эпитафіи, написанной ему Яномъ²⁾). О матери нашего поэта мы знаемъ только то, что говорить намъ неизвѣстный его біографъ, одну фразу въ «Дворянинѣ» Лукаша Гурницкаго³⁾ и свидѣтельство сына въ послѣднемъ его «Тренѣ» — «Сонѣ»⁴⁾. На основаніи этихъ данныхъ мы съ нѣкоторой правотой можемъ составить заключеніе о томъ, что она была женщиной рѣдкой душевной чистоты, сторонницей старыхъ обычаевъ и полной простоты. Обладала она въ значительной степени силой воли, что и доказала, принявши на себя послѣ смерти мужа воспитаніе всѣхъ своихъ, еще малолѣтнихъ, дѣтей и, въ особенности, сыновей, которыхъ умѣла держать въ должномъ повиновеніи и вела супровой рукою (*severissima disciplina*)⁵⁾ по намѣченному пути. На основаніи этого нельзя отрицать сильного и благотворнаго вліянія, какое имѣла мать на юную и чуткую душу поэта. Духъ ея жилъ въ его сознаніи до самаго конца дней его. Идеальная натура матери отразилась въ тѣхъ идеяхъ, которыя проводилъ Янъ Кохановскій во всѣхъ лучшихъ своихъ произведеніяхъ. Въ минуту самаго глубокаго душевнаго потрясенія, воображеніе его напilo себѣ утѣху въ образѣ любящей матери, примиряющей поэта съ Богомъ и людьми. Совѣты матери влили въ его душу отвращеніе къ расточительности, роскоши и иноземнымъ обычаямъ, начинавшимъ распространяться въ Польшѣ, благодаря вліянію королевы итальянки Боны. О первоначальномъ образованіи юнаго Яна мы неимѣемъ никакихъ точныхъ свѣдѣній. Таńska полагаетъ, что онъ учился въ Поличнѣ⁶⁾, Пшиборовскій — въ отдаленномъ отъ Сыцыны Красноставѣ⁷⁾, а ксендзъ Гацкій — въ

¹⁾ См. Przyborowski. Op. cit. p. 12.

²⁾ Ibid. p. 52.

³⁾ См. Dworzanin Lukasza Górnickiego, wyd. Turowskiego str. 135.

⁴⁾ Jana Kochanowskiego. Dzieła wszystkie t. II. 186 str.

⁵⁾ См. Przyborowski. Op. cit. p. 49.

⁶⁾ См. Tańska Jan Kochanowski. Warszawa 1857 r, str. 91.

⁷⁾ См. Przyborowski. Op. cit. p. 43.

ближайшей отъ родины поэта школѣ Сѣцѣховскихъ Бенедиктинцевъ¹⁾. Послѣднее предположеніе нужно считать наиболѣе вѣроятнымъ, если мы вспомнимъ, что одновременно съ поступленіемъ Яна Кохановскаго въ Krakowskую Академію, въ числѣ ея профессоровъ collegii minoris, впервые появляется имя Яна Сильвія изъ Сѣцѣхова. Въ документахъ Сѣцѣховскаго аббатства сохранилась грамота, выданная монастыремъ «providio Benedicto Czarnolas» вмѣстѣ съ его роднымъ братомъ Яномъ Сильвіемъ на пожизненное званіе сѣцѣховскаго войта за оказанныя ими по отношенію къ монастырю услуги. Фамилія профессора Яна Сильвія представляетъ ничто иное, какъ латинизированную Czarnolas, происходящую отъ мѣста постояннаго жительства. Принимая во вниманіе близость Чернолѣса, имѣнія Петра Кохановскаго, отъ Сѣцѣхова, трудно сомнѣваться въ томъ, что братья эти происходили именно оттуда. Можетъ быть, они были сыновьями эконома, или кого-нибудь изъ крестьянъ, какъ видно изъ эпитета «providus» въ документѣ, а не «generosus» или «nobilis», свойственнаго исключительно шляхтѣ. Нѣть ничего невѣроятнаго въ томъ, что юный Кохановскій былъ ученикомъ этого самого Яна Сильвія, который получивъ каѳедру въ Krakowskой Академіи, привлекъ туда также и своего питомца. Такого мнѣнія придерживается Малѣцкій²⁾. Первоначальное воспитаніе, которому долженъ былъ подвергнуться Янъ Кохановскій въ школѣ, состояло въ то время въ Польшѣ, какъ и во всей Европѣ, главнымъ образомъ и прежде всего, изъ латинской грамматики, послѣ которой слѣдовала риторика. По словамъ Mariczkаго,³⁾ низшія школы подраздѣлялись на Civiles и Municipales. Послѣднія имѣли своей задачей подготовку юношества къ поступленію въ высшія учебныя заведенія, называвшіяся тогда гимназіями⁴⁾. Въ такой именно школѣ, если только не дома, долженъ былъ получить свое образованіе Янъ Кохановскій. Въ такихъ школахъ было по два учителя, а въ школахъ, при каѳедральныхъ костелахъ, прибавлялся еще третій—богословъ, для готовящихся къ духовному званію. Первый изъ нихъ,—магистръ, училъ дѣтей говорить правильно по латыни, а также началиамъ грамматики, риторики и діалектики, кромѣ

¹⁾ См. Gacki. Op. cit p. 55.

²⁾ См. Jana Kochanowskiego m³odo¶. Przez Ma³eckiego. Przegl±d Polski sierpieñ 1884 r.

³⁾ См De Scholis seu Academiis, Pars II Cap. VIII

⁴⁾ Даже въ XVIII вѣкѣ Падуанскій университетъ назыв. еще гимназіей.

того другимъ наукамъ (in omni genere artium initis quibusdam degustandis, ut puer tinctus esse videatur¹⁾). Другимъ преподавателемъ былъ, такъ называемый, канторъ, на обязанности которого лежало дать дѣтямъ первыя понятія о музыкѣ, необходимой не только для церковнаго обихода, но и для лучшаго пониманія поэтики. Будучи подготовительными къ Академіи, муниципальныя школы служили предметомъ особенной заботливости городовъ, монашескихъ орденовъ и епископовъ. По словамъ Марицкаго, въ нихъ мальчики учили на память «Дистихи» Катона, для усовершенствованія въ языкѣ, а также и усвоенія выраженныхъ тамъ прекрасныхъ нравственныхъ сен-тенцій. По мнѣнію автора выше цитированного нами произведенія, не достаетъ въ этой программѣ знакомства съ греческими сен-тенціями Фокиляда и Пиоагора, которые привели бы учениковъ къ пониманію Гомера. «Слѣдовало бы и «Феномены» Аратѣ учить на память, а также Гомера и Виргилія. Изъ Горациі слѣдовало бы читать только тѣ мѣста, въ которыхъ заключаются какія-нибудь нравствен-ные идеи, а Теренція только ради красоты языка. Не мѣшало бы также учителю старательнѣе напоминать своимъ ученикамъ, что комедію нужно разсматривать не какъ образецъ жизни, а какъ отра-женіе ея. Слѣдовало бы хоть сколько-нибудь прочесть изъ Ливія, а изъ Цицерона, по крайней мѣрѣ, «De officiis», «De amicitia» и «De senectute», Квintiliana необходимо знать, какъ образцового стилиста, а «Elegantiae» Лаврентія Валла никогда не выпускать изъ рукъ». Слѣдовательно, если только учился Кохановскій въ Муниципальной школѣ, онъ долженъ былъ начинать съ «Дистиховъ» Катона и до-ходить до Виргилія. Греческому языку онъ учился, вѣроятно, част-нымъ образомъ, однако, можетъ быть, и совсѣмъ въ то время не учился ему. Несомнѣнно, онъ долженъ былъ проходить Элеганціи Валла, откуда могъ извлечь богатый запасъ латинскихъ стихотворныхъ размѣровъ и строфъ. По всей вѣроятности, тогда же штудировалъ онъ и Цицерона, слѣды изученія которого разбросаны почти во всѣхъ его произведеніяхъ. Заслуживаетъ вниманія также и то обстоятельство, что Марицкій стремился внести въ школьнную программу Аратѣ, пе-реводъ которого позже былъ сдѣланъ Кохановскимъ, потерявшимъ столько времени на занятія этимъ педантичнымъ Александрійскимъ стихотворцемъ. Однако въ XVI вѣкѣ его ставили очень высоко, самъ

¹⁾ Марицкій Op. cit <http://rcin.org.pl>

Ронсаръ зачитывался имъ. Должно быть еще съ самыхъ молодыхъ лѣтъ Кохановскій наслушался восторженныхъ отзывовъ объ этомъ писателѣ и впослѣдствіи приступилъ къ своему переводу «Феноменовъ» въ полной увѣренности, что онъ окажетъ этимъ великую услугупольской образованности. Изъ всего этого самымъ достовѣрнымъ нужно считать его основательное знакомство съ латинскимъ языкомъ ко времени поступленія въ Krakowskій университетъ. Поступленіе Яна въ Krakowsкую Академію состоялось въ началѣ лѣтняго семестра 1544 года¹⁾. Ягеллонская Академія близилась уже къ своему окончательному упадку, оставаясь вѣрной средневѣковымъ схоластическимъ традиціямъ. Состояніе ея лучше всего характеризуется сочиненіемъ, изданнымъ въ 1551 году, подъ заглавиемъ „Simonis Maricii Pilsnensis, iureconsulti.—De scholis seu Academiis libri duo“ (Cracoviae in officina Hieronymi Scharffenbergi anno salutis MDLI mense Aprili). На вопросъ, какіе люди стояли у очага просвѣщенія для цѣлаго края, авторъ отвѣчаетъ: «Больше всего между нами такихъ, которые только по имени считаются учеными и преподавателями, на самомъ же дѣлѣ далеки отъ взятыхъ на себя обязанностей, отъ того, чему мы себя посвящаемъ. Большую часть жизни мы проводимъ въ роскоши и безчинствахъ. Наконецъ, мы дошли до такой степени пебрежности, или лучше сказать, глупости, что мало заботимся о знаніи и самообразованіи, такъ какъ больше всего мы печемся о почестяхъ и деньгахъ. Мы не заботимся о томъ, чтобы право на преподаваніе передать малой, но способной горсточкѣ людей и допустивши всѣхъ безъ разбора домогаться этого права, кто только пожелаетъ, мы отдаемъ его на профанацию»²⁾.

Яковъ Гурскій, много разъ занимавшій должность ректора Krakowskій Академіи, тридцать лѣтъ спустя послѣ Симона изъ Пильзена, такъ отзыается о современныхъ ему преподавателяхъ: «Есть между нами много недостатковъ, во многомъ справедливо упрекаютъ насъ. Существуютъ такие, которые, забывши честь, науку и собственное достоинство, ведутъ такую жизнь, съ такой небрежностью относятся къ преподаванію наукъ, что мнѣ кажется, будто они задались цѣлью ослабить общее уваженіе къ Академіи. Прежде всего мы всѣ весьма склонны къ получению доходовъ и прибыли съ чужихъ дѣлъ, а по отношенію къ наукамъ лѣнивы. Многіе изъ насъ обладаютъ до такой

¹⁾ См. „Ateneum“ 1884 г. т. III, str. 552.

²⁾ Op. cit. листъ 2 и 3 (нумерациіи нѣть).

степени вольными нравами, что, въ случаѣ если болѣе суровые уставы не приведутъ насъ къ исполненію нашихъ обязанностей, то слѣдуетъ опасаться, чтобы вся эта Академія, со своими правами и вольностями, не пришла въ полный упадокъ, будучи доведена до крайности»¹⁾.

Причины такого состоянія Академіи кроются съ одной стороны въ ея вѣрности схоластическимъ традиціямъ, неудовлетворявшимъ уже требованіямъ даннаго времени, съ другой—въ вытекающемъ отсюда равнодушіи къ ней польской шляхты и, въ особенности, магнатовъ того времени, которые оказывали ей самую скучную поддержку. Общая сумма для вознагражденія 40 ординарныхъ профессоровъ (комплектъ того времени) не достигала даже и тысячи злотыхъ, тогда какъ въ Италії содержаніе одного профессора превышало эту сумму. Общество не оказывало высшей школѣ и моральной поддержки. Вызванные изъ за границы иностранные профессора «querebantur studiosorum inopiam, mirabantur et horrebant gymnasiorum nostrorum vastitatem²⁾». Молодые люди относились равнодушно къ наукѣ, такъ какъ не замѣчали покровительства ей со стороны двора и не ожидали себѣ никакихъ личныхъ выгодъ въ родѣ болѣе легкаго и скораго достиженія государственныхъ должностей по окончаніи Академіи. Ничего иного не могло быть тамъ, «ubi quidvis aliud quam bonaे litterae et honestius est et questuosius»³⁾. Симонъ Марицкій проводить параллель между предками, которые давали лучшія должности людямъ, посвятившимъ большую часть жизни наукѣ, и современниками, которые покровительствуютъ конюхамъ, поварамъ и разной челяди. Политическія событія того времени привлекали къ себѣ все общественное вниманіе. Реформація, дѣло Варвары Радзивиллъ, «экзекуція правъ», вотъ тѣ животрепещущіе вопросы, которые въ одинаковой степени занимали и магнатовъ, и простую шляхту. Миновали счастливыя времена Бонаровъ и Томицкихъ. Некому было обратить вниманіе на приходящую въ упадокъ Краковскую Академію. Не одно десятилѣтіе длилось такое положеніе вещей. Самый фактъ появленія книги «De scholis» показываетъ, что людямъ науки тяжело жилось. Авторъ елъ въ заключеніи обращается къ Гербурту съ слѣдующими словами:

¹⁾) *Apologia D. Jacobi Gorscii pro Academia Cracoviensi publice in renunciandis novis magistris dicta. A. D. 1581 die 11 Martii etc.* См. J. Lukaszewicz. *Historia szkół w Koronie i Wielkiem Księstwie Lit. Poznań 1849 r. t. I, str. 64.*

²⁾ Марицкій. Op. cit.

³⁾ Ibidem.

„Nam si ego deteriora edidi, quam volui et tu minora habes, quam sperasti: illud fortasse uterque consequemur, tu *hortando*, ego *scribendo*, ut aut *tot annis* neglectae Academiae iam tandem succurratur, aut quivis facile perspiciat, non praceptorum vitio florem nostri Gymnasiū defluere, sed *capitum reipublicae culpa*, qui nescio quomodo omnem propemodum gymnasiorum curam obiecerunt“.

Единошленники Симона Марицкаго, Валентинъ Гербуртъ и Николай Гелясинъ (*Gelasinus*), помѣстили въ началѣ книги латинское стихотвореніе, въ которомъ выражается желаніе, чтобы король и сенатъ осуществили реформы, предлагаемыя ея авторомъ.

Не смотря на такое неблагопріятное состояніе Академіи, профессора ея продолжали усиленно работать. Каждый изъ нихъ долженъ быть читать не менѣе двухъ обязательныхъ лекцій въ день. Krakowskaya Akademia дѣлилась на двѣ части: *collegium majus* и *collegium minus*¹⁾.

Присмотрѣвшись къ расписанію лекцій въ этомъ семестрѣ, мы замѣчаемъ преобладаніе Аристотеля и латинскихъ классиковъ. Правда,

¹⁾ Какъ видно изъ „*Liber antiquus (in semifolio) diligentiarum* (N. inv. 249 Bibl. Iagel.), въ лѣтнемъ семестрѣ 1544 года слѣдующіе профессора читали лекціи въ обѣихъ коллегіяхъ: *Ordo magistrorum actus ordinarios visitantium in 3 classes divisus in decanatu secundo Mgri Michaeli de Glowno anno 1544.*

Classis primae de Majori (sc. Collegio).

Mgr.	Martinus Garbarz
	Thomas Cracoviensis
	Felix Bandorski
	Valentinus Rava (semel per alium)

Secundae classis.

Mgr.	Joannes Dobrosszelskj
	Albertus Dambrowskj
	Petrus de Posnania.

Tertiae classis

Mgr.	Joannes Treziana
	Simon Pilsno
	Albertus Novocampianus

De minori collegio.

Dr.	Bartholomaeus Sabinka
	Adam Tarnow
	Paulus Racziass
	Stanislaus Budzinskj

Secundae classis.

Dr.	Adam Chaczini
	Joannes Sziecziechow
	Sigismundus Obrepkski
	Michael Wojnycz

Новопольский читаетъ „lectionem graecam“, по это неясное выражение указываетъ скорѣе на какой-нибудь приготовительный курсъ, чѣмъ на специальный. Можетъ быть, лекціи эти состояли изъ объясненія «золотыхъ мыслей» Псевдо-Пиоагора, или отрывковъ изъ Фокиляда, что Симонъ Марицкій въ вышеупомянутомъ своемъ произведеніи относить къ начаткамъ изученія греческаго языка. Латинскимъ классикамъ въ этомъ расписаніи отведено самое почетное мѣсто. Больше всего занимаются Цицерономъ. Севастіанъ изъ Кракова читаетъ «Pro Archia poëta». Сигизмундъ Обремскій—«Эпистолы» Цицерона, Адамъ Хачинскій «De officiis», Станиславъ изъ Пинчова «Риторику», Николай изъ Кроснѣвичей—«Paradoxa». Докторъ Сабинка занимается Теренціемъ, Михаилъ Войничъ—«Энеидой» Виргилія, Марцинъ изъ Бжезя читаетъ «Эпистолы» Горация. Въ философіи царствуетъ Аристотель, а въ грамматикѣ Петръ Испанецъ. Лекціи въ Академіи начинались лѣтомъ въ четвертомъ часу утра, а зимою въ седьмомъ и продолжались вплоть до трехъ часовъ по полудни. Отъ десяти до одиннадцати давался короткій промежутокъ времени для обѣда.

Tertiae classis.

Petrus Proboscowicze

Jakobus Virzikovski

Petrus Varszovia

Stanislaus Pinczow

Extranei (въ родѣ нынѣшнихъ приватъ-доцентовъ).

Joannes Vieczkowskj

Nicolaus Kroszniewicze

Hieronymus Lowicz

Stanislaus Lowicz

Nicolaus Cobilino

Joannes Leopoliensis

Mathias Rava

Martinus Brzessini

Thomas Cracoviensis

Petrus Sambotz

Nicolaus Lodzia

Cristophorus Zaborowskj

О нѣкоторыхъ профессорахъ этого списка мы имѣемъ болѣе подробныя свѣдѣнія изъ другихъ источниковъ. Напримеръ, о Петрѣ Познанскомъ мы знаемъ, что онъ былъ докторомъ философіи и медицины, кромѣ профессуры состоялъ врачомъ при дворѣ Сигизмунда I. Умеръ онъ въ 1579 г (См. Encyklopedya Pow-szechna Olgebranda t. XXI str. 473). Япъ изъ Трцаны оставилъ философскій трактатъ „De natura ac dignitate hominis. Cracoviae. Apud Haeredes Marci Scharffen-

Студенты не носили опредѣленной формы, хотя духовенство, въ лицѣ главнаго попечителя Академіи, Архіепископа Krakовскаго, неоднократно пыталось ввести обязательную одежду духовнаго покрова. Лекціи читались, большею частью, въ «*collegium majus*», нынѣшнемъ зданіи библіотеки. По субботамъ не было лекцій, взамѣнъ которыхъ происходили одновременно въ двухъ или трехъ залахъ научные диспуты. Руководили ими главнымъ образомъ младшіе члены Академической корпораціи. Принимали въ нихъ участіе не только студенты, но и профессора должны были присутствовать, слѣдить за всѣмъ происходящимъ, а иногда проявлять и болѣе дѣятельное участіе въ диспутѣ.

У насъ нѣтъ никакихъ точныхъ свѣдѣній, какія лекціи слушалъ Кохановскій въ Krakовской Академіи. Съ нѣкоторой увѣренностью можно сказать, что въ ихъ число не вошли «*Questiones de coelo et mundo*» или «*Lectura politicorum*», такъ какъ для ихъ пониманія четыриадцатилѣтній Янъ былъ слишкомъ молодъ и кромѣ того не обладалъ необходимымъ для этого знаніемъ обоихъ древнихъ языковъ. По всей вѣроятности посѣщалъ онъ лекціи: Войцѣха Новопольскаго (*Lectura Graeca*), Петра Познанскаго (грамматика, должно быть, латинская), Михаила изъ Войнича (Энеїда), Станислава Обремскаго

berger MDLIII*. (См. Starowolski. *Scriptorum Polonicorum Necatontas* (ed. Ven. 1626) p. 86. E. P. II. 250. E. P.—Encykl. Powsz.). Симона изъ Пильзена мы уже знаемъ по его труду, кромѣ того извѣстно, что онъ дѣльный филологъ, который своими переводами съ греческаго языка развивалъ въ своихъ слушателяхъ хороший вкусъ и охоту къ изученію греческихъ литературныхъ произведеній. Имя его стоитъ наряду съ Валентиномъ Гербуртомъ, епископомъ Пшемыскимъ, депутатомъ на Тридентскомъ соборѣ, Вуйкомъ и Соликовскимъ. (См. Starow. Nec. p. 92. E. P. XVII. 80). Изъ профессоровъ „*collegii minoris*“ извѣстенъ своимъ аріанствомъ Станиславъ Будзинскій (E. P. IV. 570). О Петре изъ Пробощовицъ мы знаемъ, что онъ былъ астрологомъ Сигизмунда Августа, который слѣдилъ его предсказаніямъ. (E. P. XXI. 578). Изъ экстранеовъ Станиславъ изъ Ловича оставилъ намъ любопытное изданіе: „*Judicium Paridis de rōmo aureo inter tres deas Palladem, Junonem, Venerem de triplici hominum vita contemplativa, activa ac voluptaria.—Cracoviae ex aula Herusalem pridie Kalendas Februarias 1522*“ (См. Dziennik Warszawski 1825 г. t I, str. 255—259). (См. также Jacobi Philomusi Locher oratoris et poetae pracetari (?) *Judicium Paridis ludi cuiusdam instar luculenter descriptum.... emendatum secutus vero est autor Tugentii Mythologiam. Impressum Vienae Austria.* Безъ даты). Съ первого взгляда можетъ показаться, что „*Odgrawa posłów grecickich*“ Кохановскаго заимствована отсюда. Однако стоитъ только взглянуть на оригиналъ Лохера, послужившій образцомъ для Станислава изъ Ловича, чтобы окончательно разубѣдиться въ этомъ.

(Ciceronis epistulae breviores) и Севастіана Вазана (Ciceronis oratio pro Archia poëta). Изъ этихъ лекцій онъ могъ пріобрѣсти нѣкоторое знакомство съ греческимъ языкомъ, основательное изученіе котораго нужно отнести къ болѣе позднему времени. Виргилій мало отразился въ произведеніяхъ нашего поэта, такъ какъ его затерли болѣе сильныя для молодого человѣка впечатлѣнія отъ чтенія элегиковъ Лукреція и Горація. «Ciceronis epistulae breviores» давали ему возможность научиться точности въ выраженіяхъ и гладкости слога. Они могли послужить теоретическимъ курсомъ рѣчи, который однакоже, какъ мы увидимъ ниже, Кохановскому не удалось примѣнить въ жизни. Наибольшее вліяніе на молодого поэта долженъ былъ имѣть, уже известный намъ, Симонъ Марицкій изъ Пильзна, который въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ пребывалъ Кохановскаго въ Краковѣ находился въ Падуѣ, а затѣмъ въ Римѣ, куда онъ отправился на средства Петра Кмиты, воеводы Краковскаго. По возвращеніи изъ заграницы, про никнутый энтузіазмомъ ко всему, что только пришлось ему видѣть и слышать въ Италіи, онъ сталъ горячо распространять охоту къ занятіямъ греческими древностями, въ знаніи которыхъ никто въ Польшѣ того времени не могъ съ нимъ сравняться. Идеи свои проводилъ Марицкій не только съ академической кафедры, но также и путемъ печати, издавая произведенія Цицерона, Демосѳена и другихъ классиковъ, съ предисловіями и комментаріями, въ которыхъ онъ старательно подчеркиваетъ художественныя достоинства античныхъ авторовъ. Лекціи такого талантливаго и любящаго свой предметъ профессора не могли пройти безслѣдно для чуткой ко всему прекрасному юной натуры Кохановскаго. По всей вѣроятности, ему обязанъ нашъ поэтъ своимъ стремленіемъ къ образованію подъ роскошнымъ небомъ Италіи, источника и сокровищницы всѣхъ наукъ и искусствъ того времени.

Одновременно съ Кохановскимъ въ число слушателей Краковской Академіи записалось 162 человѣка. Никто изъ этихъ товарищей не имѣлъ никакого значенія въ послѣдующей жизни поэта, если не считать Павла Стемповскаго, къ которому относится 68 фрашка I книги¹⁾. Однако знакомство ихъ, можетъ быть, болѣе удобно отнести ко времени ихъ совмѣстной службы при королевскомъ дворѣ. Вообще нужно сказать, что Краковская Академія

¹⁾ См. W. P. t. II, 354 str.

не имѣла особенного вліянія на молодого поэта, такъ какъ пребываніе въ ея аудиторіяхъ не оставило никакихъ слѣдовъ въ его произведеніяхъ, что подало поводъ нѣкоторымъ изъ его біографовъ, какъ напримѣръ, Пшиборовскому, сомнѣваться въ томъ, былъ ли онъ въ числѣ студентовъ Ягеллонской Академіи, или нѣтъ. Вопросъ этотъ былъ разрѣшенъ въ положительную сторону Левенфельдомъ,¹⁾ который въ метрикѣ учениковъ Ягеллонской Академіи нашелъ слѣдующую запись: «In rectoratu secundo Venerabilis ac egregii viri Domini Joannis a Piotrkow artium et sacrae Theologiae Doctoris, Canonici ecclesiae collegiatae J. Floriani in cleparz. Anno Domini 1544 commutatione aestivali intitulati sunt: послѣ шестидесятой записи слѣдуетъ: Joannes Kochanowskij Petri de Syczynow döc. Cracow. 3 (sc. grossos solvit)», Сколько времени пробылъ Янъ Кохановскій въ Краковской Академіи, съ полной точностью опредѣлить невозможно. Здѣсь остается широкое поле для различныхъ догадокъ и предположеній. Левенфельдъ полагаетъ, что нашъ поэтъ пробылъ въ Краковѣ вплоть до 1549 года, когда поднялось извѣстное возмущеніе между студентами по поводу убійства слугами ксендза Чарнковскаго нѣсколькихъ учениковъ изъ школы при костелѣ Всѣхъ Святыхъ. Не добившись правосудія у Сигизмунда Августа, вся учащаяся молодежь покинула школы, бурсы и коллегіи и частью разбрелась по домамъ, частью направилась въ заграничныя, преимущественно, нѣмецкія школы, въ которыхъ господствовало лютеранство. Въ числѣ учениковъ послѣдней категоріи Янъ Кохановскій поступилъ въ одинъ изъ нѣмецкихъ университетовъ²⁾.

Іосифъ Калленбахъ опровергаетъ эту гипотезу на томъ основанії, что поднявшееся въ 1545 году моровое повѣтря не могло не заставить заботливыхъ родителей Яна взять сына изъ Кракова, служившаго очагомъ заразы³⁾. Помимо того, пятилѣтнее пребываніе въ Краковѣ должно было оставить хоть какой-нибудь слѣдъ въ произведеніяхъ нашего поэта, въ видѣ упоминаній или обѣ Академіи, или о товарищахъ, чего мы совершенно не встрѣчаемъ. Въ 1534 году уже было снято запрещеніе выѣзжать за границу. Слѣдовательно, ничто не могло помѣшать жаждущему просвѣщенія Яну выѣхать туда послѣ остав-

¹⁾ См. Jozef Löwenfeld. Jan Kochanowski und seine lateinische Dichtungen. Posen 1878.

²⁾ См. Löwenfeld, Joh. Koch. und seine lat. Dicht. Posen 1878. стр. 9.

³⁾ См. Józef Kallenbach. Jan Kochanowski w uniwersytecie Krakowskim (Na podstawie metryk uniwersyteckich) Ateneum 1884. t. III, 552 str.

ления имъ въ 1545 году Krakowskoy Академіи, такъ какъ родители едва ли рѣшились бы прервать его образованіе. Опираясь на слѣдующихъ словахъ нашего поэта:

Co wadzi, rбki lata nie najdą leniwe
Widzieć szeroki Dunaj, widzieć Alpy krzywe,
Abo gdzie w pośrodku morza, sławne miasto leży,
Abo gdzie pod dawnym mur bystry Tyber bieży?
Dojedź i Partenopy, a ujzrysza lasy,
Gdzie złotej rózgi szukał Eneasza przed czasy...¹⁾.

Калленбахъ полагаетъ, что поэтъ проѣзжалъ въ 1545 году черезъ Вѣну, гдѣ онъ пробылъ нѣкоторое время, любуясь широкимъ Дунаемъ, а, можетъ быть, заглянувши въ университетъ, и черезъ Альпы отправился въ Венецію, гдѣ, по свидѣтельству Пападополи, слушалъ лекціи Мануція. Зная, что въ іюнѣ 1551 года онъ былъ на родинѣ²⁾, а въ 1552 году записался въ число слушателей Падуанской Академіи, можно предположить, что онъ пробылъ въ Венеціи отъ 1545 до 1550 года. Можетъ быть, 1550 годъ и начало 1551 были употреблены Кохановскимъ на посѣщеніе Италіи, о чёмъ свидѣтельствуетъ вышеупомянутое стихотвореніе. Въ 1551 году семейныя обстоятельства вызвали его на родину. Уладивши ихъ, молодой поэтъ снова могъ возвратиться въ Италію и поступить уже прямо въ Падуанскій университетъ. Такимъ образомъ, для посѣщенія нѣмецкихъ университетовъ, у Кохановскаго не было времени. То, что онъ тамъ и не бывалъ, подтверждается молчаніемъ объ этомъ во всѣхъ произведеніяхъ Кохановскаго, если не считать слѣдующихъ словъ:

„Jażem przez morza głębokie żeglował,
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,
Jażem nawiedził Sybilline lochy“,

которыя имѣютъ значеніе только указателей дороги, совершенной Яномъ изъ Польши въ Италію. Еще больше подтверждаютъ эту мысль собственные слова поэта въ „Сатирѣ“³⁾:

„Nie uczył się w Lipsku ani w Pradze wiary
I nie wiem jako każą w Genewie u fary“,
т. е., что, не будучи у нѣмцевъ, онъ не могъ заразиться ихъ рели-

¹⁾ См. Jana Kochanowskiego. Dzieła wszystkie. Warszawa 1884 t. II, 370 str.

²⁾ См. Ks. Józef. Gacki. O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jѣj majetnościach i fundacyach Warszawa 1869 r. 57 str.

³⁾ См. Wyd. Pomn. t. II, str. 185.

гіозными новинками. Несколько иначе на этот предметъ смотритьъ Станиславъ Віндакевичъ¹⁾. По его мнѣнию, пребываніе Кохановскаго въ Краковской Академіи было несолько дольше, чмъ обыкновенно полагаютъ, хотя точныхъ данныхъ въ этомъ случаѣ нельзя указать никакихъ. Малецкій²⁾ полагаетъ, что его занятія въ Краковѣ не могли прекратиться со смертью отца, которая, какъ известно, послѣдовала въ 1547 году. Къ этому времени можетъ относиться скорѣе короткій перерывъ въ нихъ, а не окончательное оставленіе Академіи. Семнадцатилѣтній юноша, полный жажды къ просвѣщенію, не могъ бы остаться около матери, въ сельской глупи, тѣмъ болѣе, что въ хозяйственныхъ заботахъ ей больше могъ помочь старшій сынъ, Касперъ, уважаемый всѣми младшими членами семьи. Ничего иного не оставалось Яну, какъ только возвратиться въ Краковъ и продолжать прерванныя занятія. Относительно времени оставленія Кохановскимъ Краковской Академіи Малецкій соглашается съ Лёвенфельдомъ, принимая за самую достовѣрную дату известный уже 1549 годъ. Перерывъ отъ 1549 по 1551 годъ нашъ поэтъ провелъ, по его мнѣнию, въ кругу родной семьи, мечтая о предстоящемъ путешествіи въ замѣтную Италію, куда онъ отправился въ концѣ 1551 года. Нѣмецкія страны онъ могъ только поѣхать проѣздомъ, когда спѣшилъ въ 1557 году изъ Парижа въ Сызыну. Ошибочное свѣдѣніе Старовольского могло произойти отъ того, что онъ смѣшалъ Яна съ братомъ его, Николаемъ, авторомъ „Ротулъ“, который, действительно, воспитывался въ 1555 году въ Лейпцигскомъ университѣтѣ. Смѣшать ихъ не трудно было, такъ какъ произведенія ихъ долгое время печатались въ общемъ сборникеъ. По мнѣнию Малецкаго, материальное положеніе семьи Кохановскихъ было настолько хорошо, что молодой Янъ, безъ всякаго ущерба, могъ предпринять такое, дорого стоящее, путешествіе. На это Станиславъ Віндакевичъ возражаетъ³⁾, приводя несолько тяжебныхъ документовъ противъ членовъ семьи Кохановскихъ, какъ, напримѣръ, жалоба нѣкоего Зaborowskаго на Каспера Кохановскаго за то, что послѣдній не отдаетъ ему взятыхъ взаймы 48 florinovъ. Если бы семья Кохановскихъ обладала значительными средствами,

¹⁾ См. Pobyt Kochanowskiego za granicą. Szkic biograficzny napisał St. Win-dakiewicz. Kraków 1886.

²⁾ См. Jana Kochanowskiego mѣodoщ. Pzregląd Polski. Sierpień. 1884. 12 str.

³⁾ Op. cit. p. 7.

то подобная жалобы никогда не могли бы возникнуть. При ограниченномъ достаткѣ едва ли была хоть какая-нибудь возможность отправить Яна на свой счетъ за границу. Для этого нужна была рука какого-нибудь сильного мецената, а семья ограничивалась только незначительной материальной помощью, высылаемой ему по частямъ. Послѣднее предположеніе подтверждается также и тѣмъ фактомъ, что Кохановскій въ Падуѣ записался на факультетъ „*artistarum*“, чего онъ, вѣроятно, не сдѣлалъ бы, если бы содержаніе его зависѣло отъ семьи. Въ такомъ случаѣ онъ скорѣе принялся бы за изученіе права, которое было единственной дорогой къ достижению карьеры въ Польшѣ. Станиславъ Тарновскій считаетъ всѣ эти гипотезы несостоительными. Противъ мнѣнія Лѣвенфельда говоритьъ, главнымъ образомъ, отсутствіе точнаго указанія нѣмецкаго университета, въ которомъ могъ воспитываться Янъ. Противъ гипотезы Калленбаха говоритьъ, прежде всего, шаткость свидѣтельства Пападополи, на которое трудно положиться безъ всякаго сомнѣнія. Даже мнѣнія Малецкаго и Виндаевича онъ старается опровергнуть тѣмъ, что пятилѣтнее пребываніе Кохановскаго въ Krakowskemъ университете должно было оставить хоть какой-нибудь слѣдъ въ произведеніяхъ его. Объ этомъ мы не встрѣчаемъ никакихъ упоминаній, слѣдовательно и пребываніе Кохановскаго въ Krakowѣ не могло быть такимъ продолжительнымъ.

Съ этимъ еще можно было бы согласиться, если бы мы не знали аналогичнаго факта въ молчаніи Кохановскаго о своемъ пребываніи въ Шадуанскомъ университете. Даже въ своихъ стихотвореніяхъ этого периода онъ старательно слаживаетъ автобіографическія черты, какъ мы это увидимъ ниже, при разборѣ его латинскихъ элегій. Вопросъ этотъ сдѣлялся-бы для насъ яснѣе, если-бы до насъ дошло хоть одно стихотвореніе, дату котораго можно было бы въ точности установить между 1544 и 1549 годами. Есть основаніе предполагать, что первые плоды его музы родились именно въ этомъ періодѣ, о чёмъ у насъ рѣчь будетъ ниже. На вопросъ, почему въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ онъ ничего не говоритъ о Krakowѣ, тогда какъ объ Италіи и Парижѣ вспоминаетъ, мы бы отвѣтили тѣмъ соображеніемъ, что болѣе сильныя впечатлѣнія заграничной жизни должны были загладить блѣдныя воспоминанія о Krakowѣ, который послужилъ только приготовительной школой для его серіозныхъ научныхъ занятій въ Падуї. Нѣть сомнѣнія, что и Krakowѣ далъ ему кое-что, но все таки гораздо меньше и въ болѣе слабой степени, чѣмъ Италія. Намъ кажется, что

все написанное имъ въ Krakowѣ, до отъѣзда за границу, не было имъ отдано въ печать, по стилистическимъ, или какимъ-нибудь инымъ соображеніямъ, а вслѣдствіи возвращаться къ этимъ маловажнымъ воспоминаніямъ онъ не считалъ нужнымъ, да и текущая дѣйствительность, интересами которой Кохановскій всегда былъ горячо проникнутъ, не допускала этого, поглощая всецѣло вниманіе нашего поэта. Конечно, мы далеки отъ положительного рѣшенія въ ту или иную сторону этого въ высшей степени интереснаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, темнаго вопроса.

Однако, при отсутствіи другихъ болѣе достовѣрныхъ данныхъ объ этомъ періодѣ жизни Яна Кохановскаго, мы не видимъ серіознаго препятствія примкнуть къ гипотезѣ Малзѣцкаго и, въ особенности, Виндакевича, который, повидимому, весьма близко подошелъ къ истинѣ. Нельзя также пройти молчаніемъ интересной и, вмѣстѣ съ тѣмъ, весьма правдоподобной гипотезы Бронислава Хлѣбовскаго, къ разбору которой мы перейдемъ ниже.

II.

Явленія краковской общественной жизни, которыхъ могли отразиться на Кохановскомъ. Реформація. Начало національной польской литературы. Рей и его первыя польскія произведенія. Возможность его вліянія на Яна. Первые стихотворенія Кохановскаго. „Пѣснь о потоцѣ“. Меценаты. Гипотеза Бронислава Хлѣбовскаго и ея опровергательная оценка.

Отсутствіе стихотвореній Кохановскаго, хронологическую дату которыхъ можно было бы установить между 1544 и 1552 годами, еще нельзя считать неопровергнутымъ доводомъ того, что въ Krakowѣ такъ же, какъ и за весь періодъ своей жизни, до выѣзда за границу, нашъ поэтъ не имѣлъ никакихъ прочныхъ связей. Прежде всего, трудно предположить, чтобы четырнадцатилѣтній юноша, будучи предоставленъ самому себѣ, удержался совершенно въ сторонѣ отъ товарищеской среды, а, слѣдовательно, и общества, въ которомъ она вращалась. Даѣще, отсутствіе такихъ стихотвореній въ дошедшихъ до насъ сборникахъ произведеній Кохановскаго, какъ мы выше упоминали, еще не доказываетъ, что ихъ совершенно не было. Извѣстно, что первыя произведенія нашего поэта распространялись въ рукописяхъ, и нѣть ничего невѣроятнаго въ томъ, что нѣкоторыя изъ наиболѣе раннихъ вовсе и не были включены поэтомъ въ изданія

его стихотвореній, можетъ быть, благодаря техническимъ, или художественнымъ, ихъ недостаткамъ, или по какимъ-нибудь инымъ соображеніямъ. Возможность подобного случая подтверждается недавно открытыми профессоромъ А. Брюкнеромъ, въ Петербургской Императорской публичной библіотекѣ, рукописями латинскихъ элегій Кохановскаго, записанныхъ раньше появленія первого ихъ изданія¹⁾. Здѣсь мы встрѣчаемся со слѣдующими интересными для насъ фактами: во-первыхъ, съ существованіемъ элегій, не вошедшихъ въ печать по причинѣ, насколько можно судить, слишкомъ ясно выраженной въ нихъ приверженности къ нѣкоторымъ протестантскимъ взглядамъ, которые послѣ Тридентскаго собора авторъ уже не считалъ для себя удобнымъ публично исповѣдывать; во-вторыхъ, по этимъ рукописнымъ элегіямъ при сравненіи ихъ съ печатными, мы видимъ, какой переработкѣ подвергалъ ихъ поэтъ, прежде чѣмъ довѣрить типографскому станку, какъ тщательно сглаживалъ намеки на мѣсто, время и на лицъ, затронутыхъ ими. Можетъ быть, даже среди извѣстныхъ намъ произведеній Кохановскаго есть нѣсколько такихъ, которыхъ были написаны въ разматриваемую нами эпоху его жизни, но вслѣдствіи передѣланы авторомъ до такой степени, что всякая мѣстная и автобіографическая черты въ нихъ совершенно изгладились.

Нѣкоторыя изъ написанныхъ тогда стихотвореній показались автору недостойными печати, нѣкоторыя затерялись, нѣкоторыя, наконецъ, были уничтожены во время позднѣйшей католической реакціи. Такимъ образомъ, на нашъ взглядъ нѣть ничего удивительнаго въ томъ, что въ стихотвореніяхъ Кохановскаго, заключающихся въ нашихъ изданіяхъ, мы не встрѣчаемъ такихъ, которыхъ съ абсолютной достовѣрностью можно было бы отнести къ періоду пребыванія молодого Яна въ Краковѣ. Изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что общественная среда совершенно не вліяла на него, что онъ не былъ съ нею тѣсно связанъ, что развитіе его генія началось только со времени поступленія его въ Падуанскую Академію. Однако нельзя отрицать, что новыя впечатлѣнія, широкой волною нахлынувшія на нашего молодого поэта въ самомъ центрѣ европейской образованности, до нѣкоторой степени изгладили слабыя черты воспоминаній о Краковѣ. Въ данномъ случаѣ очень значительную роль играла ранняя моло-

¹⁾ См. Nowe przyczynki do dzieł Jana Kochanowskiego. Przez A. Brücknera. Ateneum 1891. t. II, 1 str.

дость поэта, когда онъ былъ въ Ягеллонскомъ университете. Благодаря этому, онъ не могъ слишкомъ глубоко вникать въ окружавшую его обстановку, такъ какъ развитіе его не было достаточнымъ для всесторонняго ея пониманія. Какъ бы то ни было, краковская жизнь имѣла свое вліяніе на нашего молодого поэта. Для выясненія вопроса, что она могла дать Кохановскому, мы постараемся освѣтить всѣ ея явленія, которыя могли такъ или иначе коснуться молодого студента въ стѣнѣ его *almae matris*, узнать ту среду, въ которой онъ долженъ былъ вращаться, опредѣлить, какія связи онъ могъ заключить съ отдѣльными ея представителями и, наконецъ, рѣшить, чѣмъ Кохановскій могъ вызвать симпатію къ себѣ со стороны человѣка, на средства которого онъ впослѣдствіи отправился за границу.

Первое мѣсто въ общественной жизни той эпохи занимали религіозные вопросы, удовлетворительного разрѣшенія которыхъ не давало современное состояніе католической церкви и духовенства, относившагося къ своимъ обязанностямъ съ крайнимъ нерадѣніемъ и своими поступками подрывавшаго авторитетъ церкви. При такомъ положеніи вещей всѣ, въ комъ только жива была горячая вѣра, должны были чувствовать глубокую скорбь и негодованіе на тѣхъ, кто съ такимъ кощунствомъ попираетъ ихъ лучшія религіозныя чувства. Лишь только проникли въ Польшу реформаціонныя идеи, такие люди горячо отозвались на нихъ, найдя въ протестантизмѣ наибольшую близость къ идеалу евангельской чистоты. Эти именно люди и сдѣлялись ревностными исповѣдниками и апостолами реформаціи. Поступленіе Яна Кохановскаго въ Краковскій университетъ какъ разъ совпало съ распространеніемъ горячей пропаганды новыхъ религіозныхъ понятій. Въ числѣ придворныхъ не мало было сторонниковъ реформаціи, даже самъ духовникъ и проповѣдникъ королевы Боны, Францискъ Лисманъ, съ 1544 года назначенный провинціаломъ польскихъ францисканцевъ, былъ убѣжденнымъ протестантомъ. При дворахъ вельможъ, въ домахъ зажиточныхъ краковскихъ гражданъ, среди католического клира, всюду можно было встрѣтить людей, искренно сочувствующихъ новому движению. Фрычъ Моджевскій, находившійся въ дружескихъ отношеніяхъ съ Меланхтономъ, вернулся тогда въ Краковъ и выпустилъ въ свѣтъ свою первую политическую брошюру „*De poena homicidii*“, а три года спустя развилъ свою программу національной церкви въ сочиненіи: „*Ad regem, pontifices, presbyteros et populos Poloniae oratio de legatis, ad concilium christianum mit-*

tendis". Еще въ 1543 году вышла сатира Рей „Rozmowa wojta z panem a plebanem“. По всей вѣроятности, въ теченіе этого же времени издалъ онъ свои, недошедшія до насъ протестантскія произведенія: „Nowy czyściec aby się ludzie ze starych błędów obacyli“, „O potopie Noego“ и „Katechizm wierszem, młodym ludziom potrzebny“. Кромѣ польскихъ религіозныхъ брошюръ, памфлетовъ и стихотвореній по Кракову должны были распространяться въ большомъ количествѣ иностранныя, преимущественно нѣмецкія книги полемического или сатирическаго направленія, проникнутыя реформаціоннымъ духомъ.

Еще въ 1536 году духовенство возбудило противъ типографа и издателя Віетора судебный процессъ, обвиняя его въ распространеніи оскорбительныхъ для церкви сочиненій. Даже въ костелахъ велась иногда съ церковной кафедры реформаціонная пропаганда. Духовенство не имѣло силы остановить это грозное для него и, вмѣстѣ съ тѣмъ, справедливое явленіе и даже само, созвавши Тридентскій соборъ, пошло навстрѣчу назрѣвшей потребности въ церковныхъ преобразованіяхъ. Сторонники новыхъ идей сначала не думали разрывать своей связи съ господствовавшей церковью, они пока ждали отъ нея необходимыхъ вызываемыхъ духомъ времени коренныхъ реформъ. Не желая посѣщать храмовъ, въ которыхъ шло богослуженіе по старому ритуалу, они собирались въ частныхъ домахъ, молились, разбирали священное Писаніе и пѣли псалмы и другіе религіозные гимны на родномъ языке. Въ составленіи этихъ гимновъ приняли большое участіе первые польскіе поэты того времени: Николай Рей изъ Нагловицъ, его біографъ Андрей Тшицѣскій, Бернардъ Ваповскій и другіе. О распространенности реформаціи свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что даже нѣкоторыя женщины, стоявшія обыкновенно въ сторонѣ отъ общественныхъ вопросовъ, сочувствовали ей и оказывали посильную поддержку¹⁾. Трудно предположить, чтобы молодой Янъ Кохановскій, который впослѣдствіи проявлялъ столько чуткости къ явленіямъ текущей жизни, остался совершенно въ сторонѣ отъ этого движенія. Реформація, какъ мы увидимъ ниже, нашла отзвукъ во многихъ его произведеніяхъ. Слѣдовательно, онъ, если и не раздѣлялъ вполнѣ протестантскихъ рели-

¹⁾ Сохранились, между прочимъ, стихотворенія Софіи Олесницкой изъ Песковой Скалы и Регины Филиповской. Тшицѣскій упоминаетъ также Регину Буженскую, которая благодарить Бога за то, что вступила въ Его церковь.

гіозныхъ убѣжденій, то всетаки сочувствовалъ нѣкоторымъ изъ нихъ и близко зналъ нѣкоторыхъ сторонниковъ новыхъ идей, о чёмъ свидѣтельствуютъ слѣдующія слова Рей:

Przypatrzcie się, co umie poczciwe ēwiczenie,
Gdy szlachetne przypadnie k niemu przyrodzenie,
Co rozeznasz z przypadków i postępków jego,
Tego Kochanowskiego, szlachcica polskiego,
Jak go przyrodzenie z ēwiczeniem sprawuje,
Co jego wiele pisma jaśnie okazuje,
Mogłci umieć Tybullus piórkiem przepierować,
Lecz nie wiem umiaли tak cnotą zafarbować.

Такъ выразился Рей въ «Звѣринцѣ», изданномъ въ 1562 году, слѣдовательно, когда Кохановскому было уже 30 лѣтъ. Слова «przygody i postępi» могли относиться къ предыдущей жизни поэта гуманиста, когда онъ былъ лично знакомъ съ Реемъ, и сталкивался съ нимъ. Выраженіе «wiele pisma» указываетъ, что кромѣ перевода «Феноменовъ», «Фрашекъ» и немногихъ пѣсень, которая можно отнести ко времени пребыванія Кохановскаго за границей и первыхъ лѣтъ его придворной жизни, онъ писалъ еще много другихъ неизвѣстныхъ намъ вещей, очень можетъ быть, религіознаго содержанія. Нельзя допустить, чтобы такая совершенная по формѣ и содержанію вещь, какъ его «Пѣснь о благодѣяніяхъ Божихъ» была первымъпольскимъ произведеніемъ Кохановскаго. Подобное предположеніе равносильно отрицанію закона послѣдовательности въ развитіи литературныхъ дарованій. У самыхъ талантливыхъ поэтовъ ихъ лучшимъ произведеніямъ всегда предшествуютъ болѣе слабыя по формѣ и по содержанію. Нѣть основанія предполагать, чтобы нашъ поэтъ представлялъ въ этомъ отношеніи какое-то счастливое исключение.

Поэтическое дарованіе должно было проявиться у Кохановскаго, по всей вѣроятности, въ очень раннемъ возрастѣ. Оно было въ семье ихъ какъ бы наследственнымъ. Одинъ изъ младшихъ его братьевъ, Андрей, оставилъ переводъ Энеиды, другой,—Николай, также занимался стихотворствомъ. Послѣ него сохранилась незначительная часть произведеній, извѣстныхъ подъ именемъ «Ротулъ». Одинъ изъ сыновей Николая, Петръ Кохановскій, перевелъ «Освобожденный Иерусалимъ» Тасса и «Неистового Орланда» Аристотеля, въ чемъ обнаружилъ свой недюжинный талантъ.

Во время пребыванія нашего поэта въ Krakовской Академіи въ обществѣ, въ особенности же въ протестантскихъ его кружкахъ, съ которыми, какъ намъ кажется, Кохановскій могъ имѣть какія-нибудь сношенія, широко распространялись первыя поэтическія произведенія Рея, Тшицѣскаго и другихъ, теперь уже, къ сожалѣнію, неизвѣстныхъ намъ авторовъ, писавшихъ гимны религіознаго содержанія. Уже одно то обстоятельство, что это были первыя поэтическія произведенія на польскомъ языке, должно было обратить на нихъ общее вниманіе. Въ особенности среди молодежи, падкой на всякаго рода новинки, эти стихотворенія, вѣроятно, переходили съ рукъ на руки, переписывались и даже, можетъ быть, выучивались наизусть. Въ 1545 году вышелъ въ свѣтъ «Żywot Józefów» Рея. Въ томъ же году были изданы высокоталантливыя, проникнутыя тихой грустью, латинскія элегіи Клеменса Яницкаго, незадолго до ихъ выхода преждевременно погибшаго въ самомъ расцвѣтѣ своего богатаго дарованія. Трудно допустить, чтобы эти произведенія, попадая въ руки молодого Яна, не производили на него сильнаго впечатлѣнія, не вызывали въ немъ охоты къ подражанію. Противъ этого говорять нѣкоторыя изъ его фрашеній, въ которыхъ можно замѣтить слѣды реминисценцій изъ Рея, какъ, напримѣръ, одиннадцатая и тридцать третья фрашка первой книги¹⁾. Едва-ли Кохановскій сталъ бы подражать Рею во время своего пребыванія за границей, когда у него были подъ рукою гораздо болѣе совершенные образцы въ лицѣ греческихъ, латинскихъ и итальянскихъ классиковъ, или, что намъ кажется еще болѣе невѣроятнымъ, уже по возвращеніи изъ за границы, когда его поэтическій талантъ уже настолько окрѣпъ, что онъ смѣло могъ отдаваться оригинальному творчеству. Слѣдовательно, фрашки эти нужно отнести еще къ тому времени, когда Кохановскій учился въ Krakовскомъ университѣтѣ. По всей вѣроятности, тогда же возникло одно изъ наиболѣе раннихъ его произведеній, а именно «Пѣснь о потопѣ»²⁾. Кромѣ текста, вошедшаго въ изданіе 1585 года, просмотрѣнное самимъ авторомъ, «пѣснь» эта выходила болѣе раннимъ отдѣльнымъ изданіемъ безъ даты, судя по виньеткѣ изъ типографіи Шарффенберга. Отсутствіе въ этомъ изданіи имени автора подало

¹⁾ См. W. P. II. 339 и 344 str.

²⁾ См. Wydanie Pomnikowe. Warszawa 1884. t. I str. 302. (Pieśni Jana Kochanowskiego ksiѣgi wtore, pieśń I).

поворь нѣкоторымъ историкамъ литературы высказывать о ней самыя противорѣчивыя мнѣнія. Одни считали ее подражаніемъ Кохановскому, другіе думали, что это и есть неизвѣстное произведеніе Николая Рея «О потопie Ноego», о которомъ упоминаетъ въ его біографіи Андрей Тшицкій. Однакоже достаточно ближе присмотрѣться къ художественнымъ красотамъ этой пѣсни и къ вольному подражанію въ нѣкоторыхъ мѣстахъ одамъ Горація, что составляетъ одну изъ отличительныхъ особенностей творчества Кохановскаго, чтобы окончательно убѣдиться въ принадлежности ея нашему поэту, а не кому-нибудь другому изъ числа современниковъ Яна. Художественные достоинства еще бы ничего не доказывали, такъ какъ и въ произведеніяхъ Николая Рея можно встрѣтить ихъ въ значительномъ количествѣ, но если соединить съ ними подражаніе Горацію, то предположеніе о принадлежности Рею «Пѣсни о потопѣ» рушится само собою, такъ какъ, насколько намъ извѣстно, отличительной чертой его творчества была полная самобытность и отсутствіе подражанія классическимъ авторамъ, которыхъ онъ не долюбливалъ, за исключеніемъ развѣ Виргилія, Платона, Аристотеля и очень немногихъ, а кромѣ Рея мы не знаемъ другихъ поэтовъ, которые могли бы создать такие художественные образы. Наконецъ, Кохановскій, который такъ выражается, принимая у себя гостей:

Muzyka bѣdzie, pieśni tež dostanie,
A k temu płacić nie potrzeba za nie,
Bo się tu ten żmij rodzi tak okwito,
Lepiěj daleko niż jęczmień, niż żyto¹⁾.

едва ли рѣшился бы присвоить себѣ чужую вещь, лично просматривая изданіе 1585 года. Слѣдовательно, авторомъ этой пѣсни въ первоначальной анонимной редакціи, насколько можно судить по нѣкоторымъ недостаткамъ, исправленнымъ въ полномъ собраніи произведеній Яна изъ Чернолѣса, былъ не кто иной, какъ самъ Кохановскій. Пшиборовскій держится того мнѣнія, что «пѣснь» эта первоначально распространялась въ рукописныхъ экземплярахъ, при чемъ текстъ ея подвергся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ порчи²⁾. Въ такомъ видѣ досталась она издателю, который напечаталъ ее, быть можетъ, не зная имени

¹⁾ См. Fraszka I. 10. W. P. II. 338 str.

²⁾ См. „Ateneum“ 1876 r. t. I str. 666. (Józef Przyborowski Jana Kochanowskiego „Pieśń o potopie“).

автора. По той же причинѣ онъ не обозначилъ своей фирмы, чѣго, навѣрное, не проминулъ бы сдѣлать, если бы самъ поэтъ уполномочилъ его издать «Пѣснь о потопѣ». Мнѣніе о распространенности этого произведенія въ рукописи кажется намъ новымъ доводомъ за то, что оно возникло въ очень раннемъ періодѣ творчества Кохановскаго, когда онъ, по всей вѣроятности, и не думалъ печатать плодовъ своей музы. Время написанія этой пѣсни, какъ намъ кажется, слѣдуетъ заключить въ предѣлахъ между 1544 и 1557 годами, т. е. въ періодѣ школьнай жизни нашего поэта, даже болѣе, нужно сузить этотъ промежутокъ, такъ какъ встрѣчающіяся въ ней упоминанія польскихъ рѣкъ, какъ, напримѣръ, въ первомъ изданіи—Висла, а въ полномъ Вильна, указываютъ на возникновеніе этой пѣсни еще на родинѣ, а не за границей, гдѣ новыя впечатлѣнія могли загладить воспоминанія о видѣнномъ и пережитомъ еще въ Краковѣ. Близайшимъ поводомъ написанія этого стихотворенія могло послужить для Яна дѣйствительное событие. Благодаря сильнымъ и продолжительнымъ дождямъ, разлилась Висла. Картина этого наводненія напомнила Кохановскому уже известное ему стихотвореніе Рея «О потопѣ Ноя», а также и 2-ую оду I книги Горация (*Jam satis terris . . .*). Подъ этимъ впечатлѣніемъ онъ, вѣроятно, и попытался самъ изобразить поразившую его картину. Сравнивая эту пѣснь съ одой Горациемъ, которой въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подражалъ Кохановскій, мы замѣчаемъ здѣсь большую свободу въ пользованіи источникомъ. У нашего поэта такъ же, какъ у Горациемъ, видъ разлившейся рѣки вызываетъ воспоминаніе о бывшемъ нѣкогда всемирномъ потопѣ, посланномъ въ наказаніе за грѣхи людей. Гораций отъ мысли о Девкаліоновомъ потопѣ переходить снова къ современному себѣ наводненію и проводить ту мысль, что бѣдствіе это послужило наказаніемъ за междуусобныя войны, о которыхъ будуть вспоминать потомки римлянъ. Въ отчаяніи восклицаетъ римскій поэтъ:

Какое божество молить и кто поможетъ
Народу изо всѣхъ въ превратностяхъ судьбы?
Какая пѣсня жрицъ заставить Весту можетъ
Дѣвичьи внять мольбы?

Гдѣ очиститель, намъ Юпитеромъ избранный?
Ты, наконецъ, приди, моленіемъ смягченъ,
Увивши рамена одеждю туманной,

Вѣщатель Аполлонъ!

Въ заключеніе Горацій обращается къ Меркурію съ мольбою сбросить крылья и, принявши образъ юноши Августа, отомстить за смерть Юлія Цезаря¹⁾. Кохановскій въ первой части своей пѣсни въ общей мысли сходится съ Гораціемъ. Дальнѣйшія подробности у него развиты совершенно иначе. Тогда какъ Горацій рисуетъ картину потопа уже въ полномъ его разгарѣ, нашъ поэтъ излагаетъ послѣдовательно ходъ его распространенія, согласно съ текстомъ Книги Бытія²⁾. Удивляется онъ нечестію того времени, въ которомъ одинъ только Ной за свою праведность заслуживалъ пощады, упоминаетъ о его плаваніи въ Ковчегѣ, затѣмъ описываетъ постепенное спаденіе водъ, радугу и Божіе обѣщаніе. Заканчиваетъ онъ свое стихотвореніе въ первомъ изданіи благодарностью Богу за Его благодѣянія, а во второмъ—благоговѣйнымъ смиреніемъ передъ величиемъ предмета, затронутаго его лютней, вмѣстѣ съ приглашеніемъ переждать невзгоду у теплого очага. Что касается частностей, то необходимо отмѣтить, какъ пользовался Кохановскій отдѣльными стихами и образами Горація для своего произведенія. Первая строфа пѣсни Кохановскаго имѣеть только очень незначительное сходство съ первой у Горація, который причиной наводненія выставляетъ градъ и снѣгъ. Конецъ первой строфы и первый стихъ второй у Горація вызвали у Кохановскаго во второй строфѣ сходный образъ, но гораздо болѣе сильный и выразительный. Третья строфа Горація, которая звучитъ такъ:

И рыба втерлась тамъ въ вязовыя вершины,
Гдѣ горлицѣ лѣсной была знакома сѣнь, И
И плаваль посреди нахлынувшей пучины
Испуганный олень³⁾.

У Кохановскаго передана слѣдующимъ образомъ:

Ryby po górách wysokich pływały,
Gdzie ledwe przed tym pióra donaszały
Męźnej orlice, gdy do miłych dzieci
Z obłowem leci⁴⁾.

¹⁾ См. К. Горацій Флаккъ. Въ переводѣ и съ объясненіями Фета. Москва 1883. Оды. кн. I. 2 ода къ Цезарю Августу. 6 стр.

²⁾ См. Бытія. Глава VII. ст. 17—19.

³⁾ См. К. Горацій Флаккъ, въ перев. Фета Москва 1883 г. 7 стр. 9—12 стиха.

⁴⁾ См. Wyd. Pomi. I т. 303 стр. 21—24 стихи.

Нельзя не согласиться, что образъ Кохановскаго, хотя и навѣянъ въ данномъ случаѣ Гораціемъ, однако предпочтеніе нужно отдать польскому поэту, а не его образцу, такъ какъ Кохановскій рисуетъ болѣе величественную картину, которая скорѣе подходитъ къ данному событию, чѣмъ идиллическое описание затопленныхъ верхушекъ деревьевъ, горлицъ и испуганнаго оленя. Очевидно, библейскій образъ по своей величественной простотѣ гораздо ближе нашему поэту, чѣмъ классическое описание Горація. То же самое мы замѣчаемъ и въ дальнѣйшемъ развитіи мысли Кохановскаго въ этомъ стихотвореніи. Тутъ онъ держится преимущественно трогательного разсказа Бытописателя Моисея, который передается имъ иногда почти слово въ слово. Вотъ напримѣръ 15 и 16 стихи 8 главы книги Бытія:

«И обратился Богъ къ Ною и сказалъ: выходи изъ ковчега ты и твоя жена и твои сыновья и жены твоихъ сыновей съ тобою».

У Кохановскаго 53—54 стихъ:

I rzekł (Bóg) Noemu: już teraz na ziemię
Występuj śmiele, i z tobą tue plemię.

Послѣднимъ словамъ 17 стиха 8 главы и первому стиху 9-ой книги Бытія соотвѣтствуютъ слѣдующія у Кохановскаго:

Mnoźcie się, niech świat spustoszały wszędzie
Znowu osiedzie.

Въ IX главѣ (13—16 стихи) Богъ говоритъ: «Мою радугу положиль Я на облакахъ, она должна быть знакомъ союза между Мною и между землею. И если случится, что Я наведу облака на землю, то слѣдуетъ увидѣть Мою радугу на облакахъ. Тогда Я вспомню о Моемъ союзѣ между Мною и вами, и всѣми живущими тварями, и всякой плотью въ томъ, что больше не придетъ потопъ за грѣхи, который истребитъ всякую плоть»¹⁾.

Мѣсто это переведено Кохановскимъ слѣдующимъ образомъ:

Włożę na niebo znakomitą prege,
Którą gdy ujrzę wspomnię na przysięgę,
Że mam hamować niezwyczajną wodę:
I nie zawiodę.

¹⁾ Тексты изъ Библии мы приводимъ въ дословномъ русскомъ перевѣде по немецкому переводу Мартина Лютера, который во всякомъ случаѣ ближе къ текстамъ знакомымъ Кохановскому, чѣмъ ц-славянскій и русскій.

Какъ видно изъ этихъ примѣровъ, во всемъ своемъ стихотвореніи Кохановскій былъ гораздо ближе къ Библіи, чѣмъ къ Горацио, изъ чего можно заключить, что произведеніе это было написано имъ не въ Италии, гдѣ, какъ извѣстно, онъ находился подъ сильнымъ вліяніемъ классиковъ, реминисценціи изъ которыхъ видны во всѣхъ его произведеніяхъ позднѣйшаго времени. Другимъ доводомъ раниаго происхожденія этой пѣсни служить наивность ея замысла въ цѣломъ ея построеніи и въ отдѣльныхъ выраженіяхъ, которая съ особенной яркостью выражается въ текстѣ перваго ея изданія. Въ то время, какъ у Горация современному событию отведено въ одѣ первенствующее значеніе, а потопъ Девкаліоновъ выступаетъ въ ней только какъ сильный и выразительный образъ для приданія пластичности цѣлому произведенію, у Кохановскаго видѣнное имъ явленіе служитъ только поводомъ для изображенія библейскаго потопа, а затѣмъ совершенно отстуپаетъ на задній планъ и лишь въ концѣ, по поводу обѣщанія Божьяго, поэтъ снова обращается къ современной ему дѣйствительности и заключаетъ стихотвореніе благодареніемъ Богу. Такая композиція сразу бросается въ глаза своей искусственностью и наивностью. Дѣйствительное событие не сливаются здѣсь въ одно стройное цѣлое съ воспоминаніемъ о потопѣ, картина здѣсь не заключена въ рамки, а выступаетъ изъ нихъ. Изъ данного произведенія выходитъ, что главной цѣлью автора было изображеніе всемирнаго потопа, а разливъ Вислы является только случайнымъ событиемъ совершенно искусственно связаннымъ съ основною мыслю стихотворенія. Настоящій опытный художникъ сумѣлъ бы слить эти два образа въ одно стройное цѣлое, чего не сдѣлалъ однако Кохановскій. Кромѣ того въ отдѣльныхъ мѣстахъ разбираемаго стихотворенія видна еще не совсѣмъ опытная рука, иѣкоторые образы не отличаются особенной изысканностью. Отъ нихъ такъ и вѣтъ чуть ли не дѣтской наивностью. Возьмемъ, напр., хоть бы слѣдующую строфу:

A trupy wszedzie straszliwe lezały,

Ludzie i bydło, wielki zwierz i mały

Pełne ich rzeki, pełne morza były,

Boga ruszyły.

Или, напримѣръ, риѳомовка въ родѣ Wisła—Wyszła, wszedzie—zaludni¹⁾

¹⁾ См. Wyd. Pomn. I t. 304 str. 31 примѣч.

и т. п.—не показывает ли еще не вполнѣ развившійся литературный талантъ, которому еще не достаетъ технической обработки? Къ числу такихъ же неудачныхъ мѣстъ нужно отнести послѣднюю строфу перваго изданія, въ которой, кромѣ неправильности въ построении стиха, заключается лишнее и довольно слабое повтореніе мысли, выраженной въ 16, 17, 18 и 19 строфахъ. Однако, не смотря на эти промахи въ «Пѣсни о потопѣ» уже видны проблески выдающагося поэтическаго дарованія. Кромѣ приведеннаго выше художественного образа залитыхъ водою горныхъ вершинъ, которыхъ прежде едва достигали крылья орлицы, мы имѣемъ еще много по истинѣ художественныхъ мѣстъ, какъ напримѣръ, слѣдующее:

Potym i zbytnie zawarły się zdroje,

A bystre rzeki wpadły w brzegi swoje:

Ziemia ku słońcu pełne cięzkiej rosy

Rozwiła włosy.

Трудно встрѣтить болѣе красивый образъ, чѣмъ это сравненіе земли съ женщиной, распустившей на солнцѣ свои пышные волосы, отяжелѣвшіе отъ росы. Этой одной черты достаточно, что бы угадать въ молодомъ поэтѣ будущаго великаго художника¹⁾. Несомнѣнно, что «Пѣснь о потопѣ» тотчасъ пошла по рукамъ и обратила общественное вниманіе на юнаго студента Krakowskoy Академіи. Въ тѣхъ самыхъ кружкахъ, гдѣ вращался въ то время Кохановскій, были, вѣроятно, и сыновья мало-польскихъ магнатовъ, которымъ уже черезъ нихъ сдѣлался извѣстнымъ молодой поэтъ, подававшій такія блестящія надежды. Старый обычай покровительствовать развивающимся талантамъ еще не вполнѣ прекратился среди богатыхъ и знатныхъ представителей польской шляхты. Одинъ изъ такихъ магнатовъ, должно быть, обратилъ свое благосклонное вниманіе на молодого Кохановскаго

¹⁾ Нѣкоторые критики говорятъ, что никакого наводненія за время пребыванія Кохановскаго въ Krakowskomъ университѣтѣ не было. Противъ этого свидѣтельствуетъ недавно найденное стихотвореніе Кшицкаго. „De Istulae inundatione“. (Rozprawy Akademii Umiejetnosci t. XVIII „Przyczynek do poezyi polsko łąciaskiej XVI wieku“. Napisal Marcin Sas. 315 str.). Приводимъ это стихотвореніе цѣликомъ:

De Istulae inundatione.

Sarmata, conquereris, quod damnum acceperis ingens

Istulae latae dum populantur aquae

Desin [e iam q] u [estus van] o [s] Quod fas fuit annos

Omnes cur uno non licuisset aquae.

и взялъ его подъ свое покровительство. Очень можетъ быть, что загадочные годы, проведенные имъ гдѣ-то, до поступленія въ 1552 году въ Падуанскую Академію, прожилъ онъ при дворѣ своего мецената, на счетъ котораго ему впослѣдствіи пришлось отправиться за границу. По мнѣнію Бронислава Хлѣбовскаго¹⁾, не обладая значительными материальными средствами для продолженія своего образованія за границей, Кохановскій долженъ былъ пройти по оставленіи Krakowskого университета тяжелую школу при дворѣ какого-нибудь магната, такъ какъ другого пути для приложенія своихъ знаній и способностей для него не было въ то время. Придворная служба была единственной карьерой небогатаго шляхтича, который видѣлъ въ ней переходную ступень къ достижению болѣе высокихъ государственныхъ должностей²⁾. Сопоставляя съ этимъ то обстоятельство, что съ XVI вѣка средоточіями умственной жизни въ Польшѣ были дворы мало-польскихъ пановъ, имѣнія которыхъ были разбросаны на пространствѣ между Вислой и Саномъ, у Карпатскаго предгорья, Брониславъ Хлѣбовскій полагаетъ³⁾, что Кохановскій, пользуясь покровительствомъ кого-нибудь изъ мало-польскихъ магнатовъ, попалъ на придворную службу въ эту именно мѣстность, такъ какъ возвращеніе подъ родительскую кровлю послѣ смерти отца едва ли было для нашего поэта необходимымъ⁴⁾. Его старшій братъ, Касперъ, вполнѣ замѣнилъ отца для осиротѣлой семьи. Другихъ основаній не было для жизни, только что оставившаго Krakowskій университетъ Яна въ глухи Сан-домирскаго повѣта. Образъ жизни сосѣдней шляхты, по свидѣтельству Рея, былъ лишенъ всякихъ умственныхъ интересовъ⁵⁾. Другимъ

¹⁾ См. Br. Chlebowski. Jan Kochanowski w świetle własnych utworów. Warszawa 1884 r.

²⁾ Прямыхъ указаній на зависимость нашего поэта отъ кого-либо изъ польскихъ меценатовъ того времени мы не имѣмъ. Въ латинскихъ элегіяхъ падуанскаго периода мы встрѣчаемъ нѣсколько разъ упоминаніе о гетманѣ Янѣ Тарновскомъ и его сынѣ Кшиштофѣ. Насколько можно судить по содержанію этихъ произведеній авторъ ихъ состоѣть въ какихъ то близкихъ отношеніяхъ къ обоимъ Тарновскимъ, знакомство съ которыми должно было состояться еще до его отѣзда за границу.

³⁾ См „Tygodnik Ilustrowany 1884 r. t. II. str. 117. „*nat zezisiby*.

⁴⁾ Ibid.

⁵⁾ Совсѣмъ не то было въ Малой Польшѣ, о жителяхъ которой вышеупомянутый писатель передаетъ слѣдующее:

I tak owi u dwora to nad tymi maja,

Iz jakié chce biesiady, takié uzywaja.

доводомъ въ пользу того, что Кохановскій находился подъ покровительствомъ Яна Тарновскаго, Брониславъ Хлѣбовскій считаетъ родственную связь между женой гетмана, урожденной Шидловецкой изъ герба Одровонжъ, и матерью поэта того же герба¹⁾. Помимо литературной известности это родство должно было приблизить нашего поэта къ Яну Тарновскому, который, по окончаніи имъ Краковскаго университета, увѣзъ поэта, подающаго такія блестящія надежды въ свои многочисленныя и обширныя имѣнія между Вислой и Саномъ. Тамъ, у предгорья Карпатовъ, при дворѣ старого гетмана, провелъ Кохановскій промежутокъ времени отъ 1549 по 1551 годъ, когда онъ выѣхалъ за границу. Къ этому году относится единственное его стихотвореніе, дата которого можетъ быть опредѣлена съ безусловной достовѣрностью. Мы говоримъ о латинскомъ четверостишии, написанномъ на экземплярѣ трагедіи Сенеки, хранящемся въ Ягеллонской библіотекѣ за № 1232. Надпись эта стоитъ на книжкѣ, подаренной нашимъ поэтомъ своему краковскому пріятелю Гжепскому и гласитъ слѣдующее:

Dum mihi tam magnus late peragrabitur orbis

Hoc tibi perpetui pignus amoris erit
Exigui fateor, sed tu charissime Grebsi
Quantulacumque animo dona metire meo.

— J. K.

На концѣ книги стоитъ слѣдующая надпись: Anno domini 1551 circiter Bartholomei ferias domo egressus sum.

Послѣднія слова, вѣроятно, показываютъ день выѣзда Кохановскаго за границу. Вотъ и всѣ точныя данныя, какія у насъ есть объ этомъ загадочномъ періодѣ жизни чернолѣцкаго поэта.

I jaki chce takie ma zawsydz towarzystwo,

A po myсли mu się zda, jako raczy wszystko.

Bo co jedno pomyslisz, najdziesz tam wnet wszystko.

Najdziesz uczonego najdziesz i rycerza,

Wiecz muzyka, doktora, lutnistę, szermierza.

Owo cobyś jedno chciał umieć poczciwego,

Najdziesz tam piękny warstat rzemiosła každego.

Такъ свидѣтельствуетъ Рей въ пользу нашего положенія о томъ, что ни одинъ изъ образованныхъ молодыхъ поляковъ средняго достатка не начиналъ своей карьеры помимо придворной службы у короля или магнатовъ.

¹⁾ Необходимо вспомнить, что въ тѣ времена происхожденіе изъ фамиліи одного и того же герба считалось родствомъ.

Не смотря на такую скучность биографическихъ материаловъ, Брониславъ Хлѣбовскій¹⁾ старается подтвердить свою гипотезу отдѣльными штрихами, которые разбросаны во многихъ стихотвореніяхъ Кохановскаго. Прежде всего Хлѣбовскій останавливается на картинахъ прикарпатской горной природы, которая, какъ мы увидимъ ниже, настолько хорошо и живо изображены нашимъ поэтомъ, что у насъ не остается сомнѣнія, въ его основательномъ знакомствѣ съ этимъ краемъ. Самъ поэтъ говоритъ въ 1 фразѣ III книги²⁾:

Wysokie gory i odziane lasy,

Jako rad na was patrzę i swe czasy

Młodsze wspominam, które tu zostały...

Вторымъ доводомъ въ пользу того, что молодые годы Кохановскаго прошли у предгорья Карпатовъ, на границахъ Червонной Руси, Брониславъ Хлѣбовскій выставляетъ множество малорусскихъ словъ въ нѣкоторыхъ раннихъ произведеніяхъ нашего поэта³⁾. Если мы вспомнимъ, что имѣнія Тарновскихъ находились чуть ли не въ русскихъ предѣлахъ и, слѣдовательно, при дворѣ гетмана зачастую должна была слышаться малорусская рѣчъ, если мы, наконецъ, сопоставимъ съ этимъ вышеупомянутыя латинскія элегіи нашего поэта къ Тарновскимъ и его родственную связь съ ними, то гипотеза Бронислава Хлѣбовскаго, подкрѣпляемая данными Станислава Виндакевича⁴⁾ о бѣдности семьи Кохановскихъ и также о распространенности придворной службы мелкой шляхты у знатныхъ вельможъ, становится въ высшей степени правдоподобной.

Тѣ возраженія, которыя дѣлаетъ противъ нея, въ погонѣ за точными свѣдѣніями, профессоръ Станиславъ Тарновскій, кажутся намъ не вполнѣ убѣдительными. Почтенный краковскій профессоръ не вполнѣ точно излагаетъ эту гипотезу. По его словамъ, Брониславъ Хлѣбовскій все свое доказательство основываетъ на томъ, что придворная служба была распространена среди польской шляхты, слѣдовательно, и Кохановскій долженъ былъ подражать примѣру другихъ⁵⁾. Изъ всего вышеска-

¹⁾ См. „Tyg. Jllustr.“ 1884 r. t. II str. 117.

²⁾ См. W. P. t. II. str. 400.

³⁾ Ibid.

⁴⁾ См. St. Windakiewicz. Życie dworskie Jana Kochanowskiego. Kraków 1886 r. и его же „Pobyt Kochanowskiego za granicą“. Kraków 1886 r.

⁵⁾ St. Tarnowski. Jan Kochanowski. 157 str.

занного ясно, что Хлѣбовскій совсѣмъ не въ этомъ полагаетъ центръ тяжести изложенной нами гипотезы, каждое доказательство которой въ отдельности не имѣть еще той убѣдительности и силы, какъ вся ихъ совокупность. Критическій пріемъ Станислава Тарновскаго, состоящей въ опроверженіи одного доказательства безъ всякаго разбора другихъ, не можетъ считаться строго научнымъ такъ же, какъ и его признаніе пѣсни „Czego chcesz od nas, Panie“, первымъ произведеніемъ польской музы Кохановскаго. На нашъ взглядъ, гипотеза Бронислава Хлѣбовскаго, если и не имѣть вида математически точнаго доказательства, тѣмъ не менѣе, по своей правдоподобности и сходству съ новѣйшими данными, добтыми Брикнеромъ, стоять ближе всего къ истинѣ и на этомъ основаніи должна быть принята нами до новаго, болѣе точнаго изслѣдованія этого загадочнаго періода въ жизни Кохановскаго.

Было бы ошибкой, если бы кто-либо изъ читателей могъ подумать, что въ настоящемъ изложеніи мы хотимъ доказать, что Кохановскому не было никакой возможности писать въ 1821 году. Такъ мнѣніе было бы ошибочно, ибо мы не хотимъ доказать, что Кохановскому не было никакой возможности писать въ 1821 году. Мы хотимъ доказать, что Кохановскому было возможно писать въ 1821 году.

Такъ мнѣніе было бы ошибочно, ибо мы не хотимъ доказать, что Кохановскому не было никакой возможности писать въ 1821 году.

Изъ этого мнѣнія мы хотимъ доказать, что Кохановскому было возможно писать въ 1821 году.

шою гідності європейської (л. 604 в.). Кінець десниці підтверджує це істоту згаданої «фетиції» аномальної ІІІ та її зв'язок з пізньою античною землею. Відповідно до Г.Х. Фінкельмана, це повідомлення є доказом виникнення аномальної ІІІ вже від часів ранньої античності, що відповідає даті 265 р. н. е. Існування аномальної ІІІ відомо з часів Птолемея, який відносить її до межі відомого світу від Африки до Індії, але її точне розташування відомо лише з античних географічних та астрономічних джерел.

ГЛАВА II.

Янъ Кохановскій за границей.

I.

Свидѣтельство Пападополи о пребываніи Кохановскаго въ Венеції. Выѣздъ въ Падую. Падуанскій университетъ въ половинѣ XVI вѣка. Профессора. Робортелль.

Товарищи Кохановскаго и его отношеніе къ нимъ.

Трудъ Пападополи, „Historia Gymnasi Patavinii“, является главнымъ источникомъ, изъ котораго мы можемъ имѣть свѣдѣнія о состояніи падуанскаго университета въ теченіе XVI и XVII столѣтій и о поступленіи туда Кохановскаго. „Eius nomine,“ говоритъ Пападополи о нашемъ поэты¹⁾, inscriptum est albis polonicis (ad ann. 1552) palamque est, ipsum fuisse discipulum Robortelli, postquam operam dedit Venetiis institutioni Manutii“. Если бы свидѣтельство это мы и признали безусловно достовѣрнымъ, всетаки нельзя не согласиться съ тѣмъ, что пребываніе Кохановскаго въ Венеціи не было продолжительнымъ, такъ какъ въ произведеніяхъ его объ этомъ не имѣется никакихъ данныхъ, кроме двухъ эпиграммъ. Оно имѣло для нашего поэта лишь второстепенное подготовительное значеніе передъ поступленіемъ въ падуанскій университетъ, который привлекъ его, твердо установившегося, научной репутацией.

Въ половинѣ XVI вѣка, триста слишкомъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Падуя приобрѣла себѣ почетную извѣстность, въ качествѣ сокровищницы европейской образованности и просвѣщенія. Слава этого города особенно увеличилась съ начала XV вѣка, послѣ

1) См. Histor. Gimn. Patav. II. t. 267 р. Уважаемые читатели! Помогите нам! Мы ищем книгу Г. Х. Финкельмана "Аномалии в античной географии".

присоединенія его къ Венеції (въ 1405 г.). Благодаря заботамъ этой богатой и просвѣщенной республики, а также замѣщенію нѣкоторыхъ каѳедръ въ Падуанскомъ университетѣ греками, прибывшими сюда во второй половинѣ XV вѣка, слава этого ученаго учрежденія разнеслась по всей Европѣ, привлекая въ его стѣны учащуюся молодежь со всѣхъ концовъ міра. Блескъ этотъ къ половинѣ XVI вѣка достигъ наибольшей степени. Въ 1552 году была закончена реставрація университетскаго зданія, принявшаго тотъ видъ, который оно имѣть и въ наши дни.

Въ то время учебный годъ въ Падуанскомъ университетѣ начинался 3 ноября и заканчивался 12 июня. Эти дни были, однако, только официальными предѣлами, на самомъ же дѣлѣ цѣлый май былъ свободенъ отъ лекцій. Кромѣ столь продолжительныхъ лѣтнихъ вакацій чтились праздники Рождества Христова, Карнавала, Пасхи и патроновъ университета: Божьей Матери и св. Мартина. Чтобы судить, какъ мало времени было посвящено университетскимъ занятіямъ, нужно еще принять во вниманіе, что профессора нерѣдко пропускали свои лекціи.

Во главѣ университета стояли два ректора, одинъ управляль юридическимъ отдѣломъ, другой артистическимъ. Въ годъ поступленія Кохановскаго первымъ завѣдывалъ Ioannes Maria Labellus (Foro juliensis); а послѣднимъ — римлянинъ Vincentius de Menichellis. Профессорскія каѳедры распадались на три категоріи: *lectio prima, secunda* и *tertia*, а иногда *ordinaria* и *extraordinaria*, нѣчто въ родѣ современнаго распределенія профессоровъ на ординарныхъ, экстраординарныхъ и доцентовъ, которые назывались тогда „*tertiarii*“. Въ то время, когда учился здѣсь Кохановскій, мы уже встрѣчаемся иногда съ именами трехъ профессоровъ по одной и той же каѳедрѣ. Даже съ XV вѣка метафизику читаютъ два профессора, одинъ — доминиканецъ — по св. Фомѣ, другой — францисканецъ — по Скоту Эригенѣ. Во время Кохановскаго доминиканскимъ метафизикомъ былъ Fr. Hieronymus Vielmius, венеціанецъ, пользовавшійся большой извѣстностью и впослѣдствіи удостоенный кардинальской шапки. Получалъ онъ 70 флориновъ вознагражденія. Въ первомъ часу утра (по нынѣшнему въ шестомъ) и францисканецъ и доминиканецъ одновременно читали лекціи по Священному Писанию, а въ третьемъ часу (восьмомъ) богословіе. По логикѣ было три профессора; отъ 1543 до 1563 года ординарнымъ профессоромъ былъ по

этой кафедрѣ Bernardinus Tomitanus, родомъ падуанецъ. Онъ пользовался также большой популярностью и получалъ сначала 80 флориновъ, а черезъ одиннадцать лѣтъ—триста. Вторую (экстраординарную) кафедру логики занималъ съ 1553 года Petrus Maria Aquanus, родомъ изъ Бриксенъ, а третью—Marcus de Oddis. По кафедрѣ философіи было два профессора. Первымъ былъ съ 1533 года Marcus Antonius Passera, по прозвищу Genova. Онъ пользовался широкой известностью, какъ профессоръ. На лекціи его собирались до трехсотъ человѣкъ слушателей. Сначала онъ получалъ 300 флориновъ содержанія, затѣмъ 500 и, наконецъ, 800. Венецианская республика дала въ приданое за его дочерью 600 флориновъ и пожаловала ему въ 1545 году за ученыя заслуги титулъ *professoris supraordinarii*. Онъ оставался въ своей должности до 1563 года. Другимъ ординарнымъ профессоромъ по той же кафедрѣ былъ Abbraccius изъ Апуліи, получалъ онъ 130, а затѣмъ 300 флориновъ. Онъ занималъ кафедру съ 1543 по 1564 годъ. Онъ читалъ Аристотеля *Libros de generatione, de Corruptione, de Coelo*, изъ его „физики“ первую, вторую и восьмую книги, а также сочиненіе Альберта Великаго „De anima“. Экстраординарныхъ профессоровъ философіи при Кохановскомъ было двое: Gabriel Albertus, Pedemontanus; Ioannes Paverius, Calaber. Кромѣ того былъ еще доцентъ—tertianus Marcus de Oddis. Они читали тоже самое, что и ординарные, съ прибавленіемъ еще этики. Софистику читали два профессора. Первую кафедру занималъ въ 1548 году какой-то Станиславъ, по всей вѣроятности, полякъ. Однако Кохановскій его не слушалъ, такъ какъ съ 1552 года эту кафедру занималъ Camillus Venturonus, потомъ Baptistes Rota и другіе. Вторымъ профессоромъ софистики въ 1552 году былъ Jacobus Birettus, въ 1553 году Bernardinus Grippa, а въ 1554—Petrus Gonesius, polonus, который, пробывши нѣсколько мѣсяцевъ, „onus depositus“. Это былъ, по всей вѣроятности, знаменитый впослѣдствіи польскій еретикъ, Петръ изъ Гоніондза. Кромѣ того существовала еще кафедра нравственной философіи, очень интересовавшая учащуюся молодежь того времени. Однако съ 1552 по 1557 годъ изъ числа профессоровъ по этой кафедрѣ нѣть ни одного, который бы хоть чѣмъ нибудь известенъ. Любопытно, что на эту кафедру въ 1554 году былъ избранъ Stanislaus Versarius, polonus, который, однако, по какимъ-то причинамъ лекцій не читалъ.

Изъ этихъ профессоровъ по философскимъ предметамъ Кохановскій слушалъ лекціи знаменитаго Геновы во всякомъ случаѣ, что бы онъ ни читалъ. Вѣроятно, онъ слушалъ также и логику, чего требовало тогдашнее понятіе о научномъ образованіи. Сверхъ того онъ слушалъ, должно быть, и нравственную философию. Едва-ли можно предположить, чтобы онъ занимался астрономіей, математикой, оптикой, перспективой и географіей, такъ какъ его гораздо больше интересовали древніе языки, риторика и поэзія. По словамъ Нападополи, *Eloquentiae magister* читаетъ во второмъ часу утра, или поэтику Аристотеля и ея сущность, или, чаще всего, объясняетъ трагедіи, или говоритъ объ искусствѣ исторіографіи и комментируетъ Ливія, или учитъ о сатирѣ, избирая ея образцомъ Ювенала. Неизвѣстно, таковъ ли былъ предметъ риторики во время Кохановскаго, однако каѳедра эта, наиболѣе подходящая къ современной каѳедрѣ литературы и эстетики, въ то время имѣла знаменитыхъ профессоровъ, ревностнымъ слушателемъ которыхъ, безъ всякаго сомнѣнія, былъ и нашъ поэтъ. Въ 1552 году умеръ Bonamicus, занимавшій эту каѳедру, и вмѣсто него выступилъ Франческо Робортелло, извѣстный своей громадной эрудиціей и множествомъ произведеній въ области древнихъ литературъ. Достаточно вспомнить, напримѣръ, его „*De vita et victu populi Romani*“, „*De provinciis Romanorum*“, „*Convenientia suppeditationis Liviana cum marmoribus, quae sunt Romae in Capitolio*“, „*De Rhetorica facultate*“, „*Explicationes de Satyra, Epigrammate, Comœdia, Elegia etc.*“ и „*Explicationes in librum Aristotelis de Poëtica*“, чтобы понять, насколько велика была его ученая извѣстность которая должна была привлекать въ его аудиторію множество слушателей. Вліяніе лекцій Робортелла отразилось на произведеніяхъ Кохановскаго. По эстетическимъ теоріямъ своего учителя созданы имъ латинскія элегіи, „*Foricoenia*“, „*Пѣсни*“, „*Фрашки*“, „*Сатиръ*“, „*Odrogawa posłów greckich*“ и др. Кромѣ вышеуказанныхъ произведеній Робортелла на нашего поэта могли вліять его комментаріи на трагедіи Эсхила, на Гораций, Тибулла, Катулла и Проперція, въ особенности комментарій на Эпітalamій Тибулла, который до нашихъ дней извѣстенъ, какъ первая попытка научной критики текста. Какъ извѣстно, въ своихъ латинскихъ стихотвореніяхъ и даже въ польскихъ Кохановскій подражаетъ преимущественно этимъ поэтамъ. Очевидно, будучи въ Падуѣ, онъ прекрасно ознакомился съ ними по лекціямъ Робортелла, рядъ комментаріевъ и произведеній кото-

раго почти совпадаетъ съ подражаніями Кохановскаго тѣмъ же поэтамъ. Предметомъ лекцій этого профессора были, по всей вѣроятности, тѣ самые вопросы, которыхъ касался онъ въ своихъ сочиненіяхъ. Послѣднія являлись если не плодомъ лекцій, то во всякомъ случаѣ были въ достаточной степени извѣстны его слушателямъ. Успѣху его въ значительной мѣрѣ способствовало краснорѣчіе, съ которымъ онъ излагалъ свой предметъ. Аудиторія его не вмѣщала всѣхъ, желавшихъ слушать его лекціи. Позже уже послѣ 1560 года онъ сильно пошатнулся свой авторитетъ непомѣрно горячей полемикой съ другимъ профессоромъ, Сигониемъ, по поводу какого-то научнаго вопроса. Въ 1556 году Робортелль на годъ выѣхалъ изъ Падуи. По возвращеніи онъ засталъ въ числѣ профессоровъ Сигонія. Тогда между ними возникла вышеупомянутая полемика. Будучи человѣкомъ горячаго темперамента, рѣзкимъ и невоздержаннымъ на языкѣ, жаднымъ къ славѣ и ревнивымъ по отношенію къ соперникамъ, Робортелль готовъ былъ бороться съ каждымъ, кого только считалъ способнымъ набросить хоть тѣнь сомнѣнія на его умственное превосходство. Сигоній и въ мысляхъ не имѣлъ ничего подобнаго, однако поневолѣ долженъ былъ вступить въ эту несчастную полемику. Тогда вся университетская молодежь раздѣлилась на два враждебныхъ лагеря, взаимная ненависть дошла, наконецъ, до такихъ предѣловъ, что власти принуждены были вмѣшаться въ эти ученыя неурядицы. Во время Кохановскаго этотъ антагонизмъ только начинался и Робортелль еще пользовался прекрасной репутацией. Таковы были профессора Кохановскаго.

Остается теперь сказать о его сверстникахъ и товарищахъ. Вмѣстѣ съ нимъ въ падуанскомъ университетѣ учился Андрей Патрицій Нидецкій, ученый издаатель „Фрагментовъ“ Цицерона, впослѣдствіи королевскій секретарь и, наконецъ, епископъ Инфлянтскій¹⁾. Объ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ Янъ Янушовскій свидѣтельствуетъ въ слѣдующихъ словахъ: „We wloszech jak brat z bratem doma żyjąc, wszystkie sekreta ingenii z sobą komunikowali... Nie mieli ani mieć

¹⁾ Обладая рѣдкими рукописями рѣчей Цицерона, Нидецкій думалъ издать ихъ съ критическимъ комментаріемъ. Въ видѣ опыта онъ напечаталъ нѣсколько отрывковъ своего труда, которые снискали ему почетную и вполнѣ заслуженную извѣстность. Его филологическія изысканія въ наше время имѣютъ больше научной цѣнности, чѣмъ подобные же работы современныхъ ему итальянскихъ и французскихъ филологовъ.

chcieli cenzora rzeczy swych wierniejszego i przedniejszego¹⁾. Слѣдовательно, дружба ихъ отличалась самымъ тѣснымъ и задушевнымъ характеромъ. Станиславъ Тарновскій полагаетъ²⁾, что имъ пришлось пробыть вмѣстѣ очень короткое время, такъ какъ, прїехавши въ Падую только въ 1555 году, Нидецкій попалъ туда въ самыя послѣдніе мѣсяцы пребыванія тамъ нашего поэта. Теперь оказывается, что они не разставались вплоть до 1557 года³⁾. Другимъ его товарищемъ былъ Станиславъ Фогельведеръ, впослѣдствіи Краковскій каноникъ и королевскій секретарь, а третьимъ Янъ Янушовскій⁴⁾, сынъ Лазаря Андрысовича, краковскаго типографа и книгоиздателя, тотъ самый, который свидѣтельствуетъ о дружбѣ чернолѣсскаго поэта съ Андреемъ

¹⁾ См. предисловіе къ отдельному изданію Jana Kochanowskiego Historyi o Czechu i Lechu 1589 года.

²⁾ См. Op. cit. p. 53.

³⁾ См. Ateneum 1891 г. t. II, str. 1.

⁴⁾ Богатый отецъ отправилъ его за границу, ко двору германского императора Максимилиана, для пріобрѣтенія виѣшняго свѣтскаго лоска и для изученія европейскихъ политическихъ дѣлъ. Отсюда онъ попалъ въ Падую, гдѣ учился вмѣстѣ съ нашимъ поэтомъ. По возвращеніи изъ-за границы, Янушовскій поступилъ ко двору воеводы, Николая Фирлея. Тамъ познакомились съ нимъ Самуѣль Мацѣвскій, бывшій въ то время Луцкимъ епископомъ, и Андрей Миншекъ, воевода Сандомирскаго, которые рекомендовали его королю Сигизмунду Августу. Сначала Янушовскій поступилъ въ королевскую канцелярію, а затѣмъ уже получилъ отъ короля званіе кабинетнаго писара (личнаго письмоводителя короля). Послѣ кончины Сигизмунда Августа Янушовскій оставилъ службу въ королевской канцеляріи и отправился снова въ Италию. Вернувшись оттуда, онъ до 1577 года несъ при королѣ Стефанѣ Баторії ту же службу, что при послѣднемъ Ягеллонѣ. Неизвѣстно, отчего онъ въ 1577 году снова оставилъ дворъ. Король, однако, всячески старался опять привлечь его къ оставленной должности и даже „далъ ему незначительный подарокъ“ (вероятно, какое-нибудь помѣстье). Послѣ смерти Стефана Баторія карьера его кончилась, даже пожалованный ему королевскій подарокъ былъ у него отнятъ. Вслѣдствіе своихъ постоянныхъ путешествій и придворной службы, онъ довѣль свою типографію до такого состоянія упадка, что не получалъ отъ нея никакихъ доходовъ. Это заставило его снова искать милости пановъ, изъ числа которыхъ обратили на него свою благосклонность кардиналь Радзивиллъ, епископъ Краковскій, и Еронимъ изъ Роздражева, епископъ Куявскій. При помощи ихъ протекціи онъ получилъ въ 1587 году отъ короля Сигизмунда III шляхетское достоинство, чѣмъ и объясняется перемѣна имъ отцовской фамиліи на новую. Овдовѣвшіи, онъ былъ рукоположенъ въ санъ Архидіакона Сандецкаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, получилъ Солецкій приходъ въ 1588 году. По словамъ Бандткѣонъ умеръ въ 1603, а по свидѣтельству Сячинскаго въ 1613. Особенно прославился онъ изданиемъ свода польскихъ правъ и привилегій, а также работою надъ установленіемъ польской орѣографіи—„Nowy karakter polski“. Кроме того Янушовскій писаль не мало оригинальныхъ сочиненій, изъ которыхъ особенно интересно:

Патриціємъ Нидецкимъ. Кромѣ этихъ товарищей Станиславъ Виндаекевичъ¹⁾ нашелъ въ падуанскихъ актахъ нѣсколько другихъ польскихъ фамилій, которыя много разъ встрѣчаются въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Кохановскаго. Кромѣ нихъ, между 1553 и 1556 годами, учились въ Падуѣ: Павель Стемповскій, Францискъ Масловскій, Андрей Бажій (Barzy) и другіе, которыхъ нашъ поэтъ, навѣрное, долженъ былъ знать, хотя и не видно ихъ именъ въ его стихотвореніяхъ. Къ числу итальянцевъ, съ которыми Кохановскій былъ въ то время знакомъ, ио всей вѣроятности, нужно отнести Павла Мануція, если даже и не считать относящимся къ нашему поэту мѣста въ письмѣ этого ученаго къ Андрею Нидецкому, въ которомъ передается привѣтъ товарищу его, „человѣку необыкновенныхъ способностей“. Станиславъ Виндаекевичъ²⁾ предполагаетъ, что Ligurinus, котораго не разъ упоминаетъ Кохановскій въ своихъ произведеніяхъ, былъ однимъ изъ самыхъ близкихъ его знакомыхъ въ Падуѣ. По догадкѣ Виндаекевича, этотъ Лигуринъ не кто иной, какъ швейцарецъ Георгъ Келлеръ (Cellarius), упоминаемый въ падуанскихъ актахъ, по прозвищу Ligurinus. Въ то же время началъ учиться въ Падуѣ двѣнадцатилѣтній Торквато Тассо, съ которымъ если и встрѣчался Кохановскій, то во всякомъ случаѣ не обращалъ особенного вниманія на будущаго творца „Освобожденного Иерусалима“. Другимъ товарищемъ нашего поэта по падуанскому университету называетъ Пападополи Стефана Баторія, впослѣдствіи ставшаго польскимъ королемъ. По словамъ Пападополи: „extra dubitationis aleam est Stephanum Bathoreum Poloniae regem aliquamdiu fuisse Pataviis, bonaque partem adolescentiae, aliquam etiam juventutis, hic bonis artibus impendiisse, praeceptoribus Robortello et Sigonio“³⁾). Точной даты пребыванія Баторія въ падуанскомъ университѣтѣ Пападополи не указывается, онъ только ссылается на „Alba Hungarorum“ и прибавляетъ, что будущій король учился тамъ въ возрастѣ отъ 18 до 25 лѣтъ.

„Censor obyczajów niektórych potocznych, do naprawy potrzebnych, w Krakowie 1607“. Въ сочиненіи этомъ авторъ, разсматривая въ отдѣльности каждую часть моральной науки, къ примѣрамъ изъ классическихъ произведеній прибавляетъ случаи изъ польской жизни, очевидцемъ которыхъ или ему самому приходилось быть, или о которыхъ доходили до него слухи.

¹⁾ См. St. Wind. Pobyt K. za granicą

²⁾ См. Op. cit. p. 27.

³⁾ См. Papad. II. 87 стр. И <http://rcin.org.pl>

Баторію 18 лѣтъ было въ 1550 году, слѣдовательно, если это правда, онъ долженъ быть встрѣчаться съ Кохановскимъ даже въ одной аудиторіи и даже на лекціяхъ Робортелла имъ, можетъ быть, приходилось сидѣть на одной скамейкѣ. Противъ этого факта свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что Кохановскій нигдѣ не упоминаетъ о совмѣстномъ посѣщеніи лекцій въ Падуѣ съ будущимъ королемъ. Въ тѣ годы онъ, можетъ быть, и не обратилъ особенного вниманія на молодого венгерца, но когда послѣдній сдѣлался польскимъ королемъ, едва ли не вспомнилъ бы Кохановскій о ихъ падуанскомъ товариществѣ. Съ одной стороны, нельзя допустить, чтобы Пападопполи измыслилъ весь этотъ фактъ, съ другой, невозможно предположить, чтобы Кохановскій въ теченіе послѣднихъ лѣтъ своей жизни совершенно забылъ объ этомъ. Венгерскіе источники ничего не говорятъ объ учебныхъ занятіяхъ Баторія въ Падуї. Извѣстно, что учился тамъ племянникъ его, по имени также Стефанъ, что, по всей вѣроятности, и вызвало ошибку Пападопполи.

Въ кругу своихъ товарищѣй Янъ Кохановскій пользовался извѣстностью и уваженіемъ, какъ можно судить на основаніи открытій Станислава Виндакевича¹⁾. Чужеземцы въ Падуї соединялись въ землячества, называвшіяся „націями“. На ряду съ другими народностями и Польша образовывала свою „націю“, въ администраціи которой нашъ поэтъ занималъ не послѣднее мѣсто, будучи совѣтникомъ (*consiliarius*). Въ качествѣ такового онъ заключалъ отъ имени своей „націи“ съ пѣмѣцкою договоръ о совмѣстномъ голосованіи при выборѣ ректора артистического отдѣленія. Однако, пѣмцы измѣнническимъ образомъ вотировали не за того кандидата, о которомъ условились съ поляками, а за другого и, пользуясь большинствомъ голосовъ, поставили на своеимъ. Въ слѣдующемъ же году они потерпѣли пораженіе, такъ какъ поляки уже не примкнули къ нимъ и они очутились въ меньшинствѣ. Нельзя не упомянуть также о томъ, что падуанскіе студенты иногда устраивали театральныя представленія, что, можетъ быть, имѣло нѣкоторое вліяніе на будущаго автора „*Odrogawy poslów*“.

Разрѣшая вопросъ, какое впечатлѣніе произвела Италія на юнаго Кохановскаго, мы встрѣчаемся здѣсь съ нѣсколько страннымъ фак-

¹⁾ См. Pobyt. Kochanowskiego za granicą. Rocznik Filarecki 1886 г. 500 str.

томъ. Казалось-бы, восхищению его при видѣ всѣхъ чудесъ и красотъ Италіи мѣры не будетъ. Однако, все, что Кохановскій говоритъ объ Италіи, отличается холдностью и прозаичностью по сравненію съ тѣмъ, какъ восторженно отзывается о томъ же Клеменсъ Яницкій. Объяснить это можно было бы развѣ только тѣмъ, что Кохановскій еще не былъ въ достаточной степени развитъ, хотя ему уже исполнилось 22 года. Такое предположеніе высказываетъ Тарновскій¹⁾. Это мнѣніе едва-ли можно признать справедливымъ. Нужно обладать не малымъ умственнымъ развитіемъ, для того, чтобы создать цѣлый рядъ такихъ художественныхъ произведеній, какъ латинскія элегіи Кохановскаго къ Лидіи и соотвѣтствующія имъ польскія стихотворенія, въ которыхъ уже видны болѣе или менѣе сложившіяся убѣжденія и глубокое знаніе человѣческаго сердца. По нашему мнѣнію, такая кажущаяся холдность и прозаичность Кохановскаго, при передачѣ имъ впечатлѣній Италіи, объясняется свойствомъ его таланта. Лирика Кохановскаго почти не касается природы и вѣнчанаго міра, ея задача—изображеніе сокровенныхъ движений человѣческаго сердца, въ особенности, когда его волнуетъ пламенная любовь къ женщинѣ. Въ этомъ итальянскомъ періодѣ своей жизни Кохановскій является ревностнымъ подражателемъ литературного направленія, созданного Петраркой. Слишкомъ пылко было сердце нашего поэта, чтобы онъ могъ разбираться въ какихъ-либо вѣнчаныхъ впечатлѣніяхъ. Какъ истинный поэтъ, онъ долженъ былъ отражать въ своихъ произведеніяхъ только то, что действительно волнуетъ его, что озаряетъ тепломъ и свѣтомъ завѣтные тайники его души.

¹⁾ Op. cit. 56 р.

II.

Общий характер латинскихъ произведений Кохановского, написанныхъ за границей. Отсутствие въ нихъ определено выраженныхъ индивидуальныхъ черть. Мнѣніе нѣкоторыхъ критиковъ о школьномъ характерѣ этихъ стихотвореній. Трудность ихъ распределенія въ хронологическомъ порядке. Попытка Лѣвенфельда ихъ раздѣленія на двѣ группы: падуанскую и парижскую. Значеніе этой группировки послѣ открытия Брикнера. Эротическая элегія Кохановского и различная фазы любви поэта I. 9, I. 3, I. 2, III. 6, III. 8 и 14, II. 3 и 10, II. 4 элегіи. Стихотворенія къ Патрицію и къ Торквату II. 2. VII ода. Настроенія и чувства, выраженные въ вышеупомянутыхъ элегіяхъ. Значеніе этихъ стихотвореній въ исторіи польской литературы. Вліяніе итальянского гуманизма какъ причина слабаго выраженія индивидуальности въ раннихъ латинскихъ произведеніяхъ Кохановского.

Предположение о томъ, какимъ могъ быть нашъ поэтъ въ это время.

Не внѣшнія события, не впечатлѣнія отъ созерцанія художественныхъ красотъ были содержаніемъ латинскихъ элегій Кохановского, написанныхъ во время его пребыванія въ Падуѣ. Значительная часть ихъ посвящена тому, что больше всего волновало тогда впечатлительную натуру молодого поэта, а именно чувству любви.

Въ виду недостатка біографическихъ свѣдѣній, казалось бы, эти, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова, субъективныя стихотворенія должны иролить хоть какой-нибудь свѣтъ на жизнь поэта въ данную эпоху. Однако, при ближайшемъ разсмотрѣніи, всѣ эти элегіи такъ похожи одна на другую, такъ поверхностны, такъ мало въ нихъ на первый взглядъ черть изъ дѣйствительной жизни, такъ слабо выражена индивидуальность поэта, что извлечь изъ нихъ какіе-нибудь факты, относящіеся къ біографіи Кохановского, представляется дѣломъ въ высшей степени труднымъ. Это обстоятельство вызвало у нѣкоторыхъ изслѣдователей Кохановского, ¹⁾ крайне скептический взглядъ, будто всѣ эти элегіи являются выраженіемъ не дѣйствительныхъ чувствъ поэта, а только воображаемыхъ. Написаны онъ, или для упражненія въ стилистикѣ, или, можетъ быть, изъ честолюбивыхъ авторскихъ стремленій, чѣмъ и объясняется ихъ школьный холодный характеръ. Выраженные въ нихъ образы и положенія представляютъ не что иное, какъ подражанія и реминисценціи изъ классиковъ, такъ свойственныя гуманистическому направленію, господствовавшему въ то время въ падуанскомъ университѣтѣ. Даже имена возлюбленныхъ, о которыхъ тамъ

¹⁾ См. Stanisław Tarnowski. Studia do historyi literatury polskiej. Wiek XVI. Jan Kochanowski. Kraków 1888 r. str. 58.

идеть рѣчь, представляютъ ни больше, ни менѣе, какъ заимствованія у Горация, Проперція и Тибулла.

Не вдаваясь въ подробную оцѣнку этого мнѣнія, мы скажемъ только, что, на ряду съ такими школьнми произведеніями въ падуанскомъ періодѣ жизни нашего поэта должны были существовать и навѣянныя дѣйствительностью, такъ какъ трудно предположить, чтобы двадцатидвухлѣтній молодой человѣкъ, обладающій чуткой, впечатлительной натурой, подъ южнымъ небомъ Италии, при свободѣ отношеній, которая господствовала въ обществѣ того времени, могъ совершенно уберечься отъ чувства любви. Слѣдовательно, и въ этихъ элегіяхъ несомнѣнно должны заключаться хоть какія нибудь автобіографическія черты. Первая попытка разобраться въ трудностяхъ хронологического распределенія латинскихъ элегій принадлежитъ Рафаилу Лёвенфельду¹⁾, выводы котораго, правда, не могутъ похвалиться безусловной вѣрностью. Однако, ему удалось въ нѣкоторыхъ элегіяхъ найти признаки, по которымъ можно установить болѣе или менѣе вѣрную дату ихъ происхожденія, таковы, напримѣръ, упоминанія о нѣкоторыхъ событияхъ, или известныхъ лицахъ. Къ сожалѣнію, элегіи послѣдней категоріи относятся, большою частью къ позднѣйшему времени и написаны Кохановскимъ уже по возвращеніи на родину. Элегіи же эротического содержанія только въ очень рѣдкихъ случаяхъ носятъ указанія на мѣсто и время своего происхожденія. При такихъ условіяхъ трудно искать въ нихъ слѣдовъ постепенной смѣны чувствъ поэта и ясной картины его внутренняго міра. Разбирая эти элегіи, Лёвенфельдъ самъ сознается, что вѣрныхъ дать ихъ происхожденія онъ не въ состояніи вывести, что его положенія носятъ только приблизительный, гипотетическій характеръ, нисколько не претендуя на безусловную вѣрность. По его мнѣнію, всѣ элегіи Кохановскаго распадаются на двѣ группы, одну, относящуюся къ болѣе поздней эпохѣ его жизни въ Польшѣ, и другую, болѣе раннюю, написанную еще за границей. Даты элегій первой группы могутъ быть опредѣлены безъ особенной трудности. Вторую группу, болѣе загадочную въ хронологическомъ отношеніи, онъ разбиваетъ опять таки на два подраздѣленія: элегіи итальянскаго, или падуанскаго періода и элегіи парижскаго періода. Моти-

¹⁾ См. Raphael Löwenfeld. Johann Kochanowski und seine lateinische Dichtungen. Posen 1878, стр. 96.

вируетъ онъ свою группировку удачными указаниями на форму, тонъ и способъ выраженія чувствъ у поэта. Между ними встрѣчаются, во-первыхъ, такія, въ содержаніи и формѣ которыхъ еще совершенно не отразилась индивидуальность Кохановскаго. Эти стихотворенія, большею частью, вызванныя реминисценціями изъ классиковъ, относятся, по мнѣнію Лѣвенфельда, къ самому раннему періоду его творчества, когда онъ не испытывалъ еще тѣхъ чувствъ, о которыхъ говорить въ этихъ элегіяхъ. Тѣмъ временемъ подошелъ полный расцвѣтъ его юношескихъ силъ и стремленій, когда любовь, долго дремавшая въ завѣтныхъ тайникахъ его души и находившая себѣ выраженіе въ образахъ, создаваемыхъ одной только фантазіей, вспыхнула, наконецъ, яркимъ и жгучимъ пламенемъ въ дѣственной натурѣ Кохановскаго. Охваченный могучими порывами впервые извѣданной страсти, поэтъ не довольствовался уже для ея выраженія туманными и фантастическими образами своихъ прежнихъ элегій, ему нужны были живая краски, почерпнутыя прямо изъ дѣйствительности, ему нужно было изобразить свое чувство во всѣхъ его оттѣнкахъ, такъ именно, какъ онъ его переживалъ. Тогда-то явились тѣ элегіи, въ которыхъ уже безъ особенного труда отыскиваются черты его индивидуальности. Однако и здѣсь онъ не могъ совершенно отрѣшиваться отъ подражанія классикамъ, у которыхъ онъ продолжаетъ еще заимствовать формы, строфы, мысли, а иногда даже цѣлые тирады. Это подражаніе не лишаетъ разсматриваемыхъ нами элегій яркаго пятна оригинальности, которое присуще имъ, благодаря ясно выраженому въ нихъ самосознанію поэта и искренности тона въ описаніяхъ чувствъ. Здѣсь онъ выражаетъ свои собственные чувства и стремленія, а не навѣянныя Тибулломъ и Проперціемъ. Онъ любить сильно и горячо, жалуется съ глубокимъ и искреннимъ горемъ на измѣнчивость своей возлюбленной, въ порывѣ бѣшенаго негодованія посылаетъ на ея голову самая страшная проклятія и для всего этого онъ находитъ правдивое выраженіе, вполнѣ соотвѣтствующее силѣ и искренности его чувствъ. Такой именно характеръ носятъ его элегіи, посвященные Лидіи. Въ нихъ уже сквозитъ зрѣлая мысль и чувства, свойственные болѣе позднему возрасту, чѣмъ первые годы его падуанской жизни. Главнымъ образомъ, на этомъ основаніи строить Рафаиль Лѣвенфельдъ свою гипотезу о происхожденіи этихъ элегій въ эпоху парижской жизни на-

шего поэта¹⁾). Однако съ послѣднимъ мнѣніемъ трудно намъ согласиться, въ виду недавно сдѣланного профессоромъ А. Брикнеромъ открытія рукописи латинскихъ элегій Кохановскаго,²⁾ которыхъ записаны раньше первого ихъ изданія въ 1585 году, исправленнаго самимъ авторомъ. Слѣдовательно, онѣ представляютъ если не первую редакцію, то, во всякомъ случаѣ, самую раннюю изъ дошедшихъ до насъ. Въ этихъ именно рукописныхъ элегіяхъ, о которыхъ подробнѣе будетъ у насъ рѣчь ниже, мы находимъ ясныя указанія на то, что элегіи, относящіяся къ Лидіи, написаны не въ Парижѣ, а въ Падуѣ. Слѣдовательно, подраздѣленіе Лёвенфельда мы должны принять условно и руководиться предлагаемой имъ системой, какъ наиболѣе удобной для оцѣнки и разбора латинскихъ элегій Яна Кохановскаго, при чемъ повторяемъ, что точныхъ дать ихъ возникновенія мы не можемъ установить, также какъ и выяснить, кому именно посвящались эти элегіи, потому что, насколько можно судить по разнообразію содержанія и по множеству упомянутыхъ тамъ именъ, онѣ относились не къ одной только Лидіи, но и къ другимъ возлюбленнымъ нашего поэта:

Обращаясь къ самимъ элегіямъ, мы замѣчаемъ, что въ первой изъ нихъ Кохановскій слѣдующимъ образомъ объясняетъ происхожденіе и развитіе своего поэтическаго таланта.

Non me, si modo sum, Musae fecere poëtam¹⁾

Nec memini Aeoniae rupis adiisse specus:

Solus amor docuit blandos me fingere versus.

Слѣдовательно, предметомъ и побудительнымъ мотивомъ своихъ первыхъ произведеній Кохановскій считаетъ любовь.

Стараясь хоть приблизительно опредѣлить порядокъ возникновенія этихъ эротическихъ элегій, Станиславъ Тарновскій приводить правдоподобную догадку, что выраженія счастливаго, до наивности довѣрчиваго, чувства должны предшествовать горькимъ жалобамъ на женское коварство, возможность котораго и не предполагалась раньше²⁾. Порядокъ этотъ не могъ измѣниться даже въ томъ случаѣ, если

¹⁾ Ibid.

²⁾ См. Nowe przyczynki do dzieł Jana Kochanowskiego. Przez A. Brücknera. Ateneum 1891 r., t. II, str. I.

¹⁾ См. W. P. III 4.

²⁾ Op. c. 63 p.

вмѣсто старого являлся новый предметъ любви. Внѣшнимъ признакомъ такихъ произведеній нужно считать пространное изложеніе, такъ какъ начинаящему поэту, талантъ котораго еще не развился вполнѣ, гораздо труднѣе написать коротеньку и, вмѣстѣ съ тѣмъ, мѣткую эпиграмму, чѣмъ длинное стихотвореніе, со множествомъ подробностей, не идущихъ иногда къ дѣлу и портящихъ рельефное изображеніе мысли. Так же было и съ Кохановскимъ, хотя у него въ „Фориценіяхъ“ встрѣчается довольно удачное исключеніе, въ видѣ эпиграммы, относящейся къ венеціанскимъ дѣвушкамъ¹⁾. По времени своего написанія она должна быть причислена къ самымъ раннимъ произведеніямъ латинской музы нашего поэта, въ теченіе итальянскаго періода его жизни, такъ какъ въ ней встрѣчаются ясныя указанія на пребываніе Кохановскаго въ Венеціи, которое, по нашему мнѣнію, должно было предшествовать 1552 году. Это коротенькое стихотвореніе состоить изъ десяти строкъ, написанныхъ тѣмъ же размѣромъ, что и элегіи нашего поэта. Содержаніемъ его служить сравненіе венеціанскихъ дѣвушекъ по ихъ привлекательности съ нерейдами, Сиреной и Цирцеей. И по формѣ, и по содержанію, оно насквозь проникнуто реминисценціями изъ классиковъ и лишено совершенно самостоятельныхъ образовъ. Особенныхъ красотъ оно не представляетъ, хотя легкость стиха, близость содержанія и формы къ античнымъ образцамъ, съ точки зрѣнія того времени, не оставляли желать ничего лучшаго. Не нужно забывать, что въ эпоху полнаго расцвѣта поздняго итальянскаго гуманизма, ясно выраженное подражаніе, реминисценція и даже заимствованіе у классиковъ считались главными достоинствами литературныхъ произведеній. Нѣть сомнѣнія, что комплиментъ этотъ долженъ былъ понравиться венеціанскимъ дѣвушкамъ, если только онѣ читали его. Тарновскій строитъ предположеніе²⁾, что Кохановскій выставляетъ здѣсь самого себя, боящимся искушеній со стороны красивыхъ венеціанокъ, нѣкоторыя изъ которыхъ упомянуты здѣсь подъ именемъ Цирцеи и Сирены. Можетъ быть, авторъ читалъ эту вещицу на какомъ-нибудь веселомъ собраниіи, а послѣднее предостереженіе Улиссу относится къ самому автору, который уже чувствовалъ себя обреченнымъ на гибель, у ногъ какой-нибудь изъ этихъ сиренъ. Къ числу такихъ же раннихъ произве-

¹⁾ См. W. R. III. 186.

²⁾ Ор. с. 63 р.

деній должна быть отнесена девятая элегія первой книги¹⁾, какъ образецъ робкаго признанія въ любви молодого человѣка, смотрящаго съ наивной покорностью на владычицу своего сердца. Онъ обращается къ вѣтеркамъ съ просьбой, чтобы они отнесли къ ней его вздохи. Онъ клянется, что безъ Филлиды несчастный Ликотъ дни и ночи проводить въ слезахъ. Тоска Ликота и его равнодушіе ко всему, даже къ любимому стаду, наконецъ, самый буколический характеръ этой элегіи, котораго мы не видимъ въ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Кохановскаго, доказываетъ, что она написана молодымъ и довѣрчивымъ человѣкомъ, который еще не извѣдалъ разочарованія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, еще такъ неопытенъ въ выраженіи своихъ чувствъ, что прибегаетъ для этого къ чужимъ уже готовымъ образцамъ. Вздохи и томленія любви, равнодушіе ко всему, кроме ея предмета, и этотъ самый женственный характеръ чувства напоминаетъ нѣсколько сонеты Петrarки и пѣсни провансальскихъ трубадуровъ. Послѣ этого признанія Ликотъ говоритъ, что ему ни свирѣль, ни муга, съ которой онъ близко знакомъ, какъ видно изъ выраженія „sua musa“, не приносятъ никакого утѣшенія. Если любовь сразить его, кто будетъ воспѣвать прелести Филлиды? Уже давно повѣсила онъ свою свирѣль, а на корѣ твердаго ясеня вырѣзала слѣдующее:

Fistula amata mihi es, dum te quoque Phillis amaret.

Hac tristi neque tu nec mihi vita placet.

Быть можетъ, парки прядутъ въ послѣдній разъ нить его жизни. Тогда поздно уже будетъ Филлидѣ оплакивать его, уносимаго волнами Леты.

Въ рукописи Осмульскаго, открытой Брикнеромъ, эта элегія числится въ первой книжѣ подъ седьмымъ номеромъ²⁾. Текстъ ея очень мало разнится отъ печатнаго, преимущественно,—въ стилистическомъ отношеніи, такъ, напримѣръ, въ рукописи нѣтъ рѣчи о надписи на корѣ ясеня: „я любилъ свирѣль, пока меня любила Филлида“ такъ же, какъ и десяти стиховъ, гдѣ изображаются поиски возлюбленной въ лѣсахъ. Вмѣсто идиллическаго стиха: „его не тѣшитъ свирѣль, его не тѣшитъ муга“ мы читаемъ въ рукописи болѣе прозаической: „слабѣющіхъ членовъ онъ не укрѣпляетъ пріемомъ пищи“.

¹⁾ W. P. III, 28.

²⁾ См. Ateneum 1891 г. т. II, str. 8.

Въ этой элегии мы встречаемся съ любопытнымъ указаніемъ, что Кохановскій еще до ея написанія бесѣдовалъ съ Музой. Ея наивный и сентиментальный характеръ свидѣтельствуетъ въ пользу раннаго ея происхожденія, что подтверждается также условнымъ тономъ и образами, заимствованными у классическихъ писателей. Въ этомъ отношеніи она напоминаетъ нѣсколько десятую элегію первой книги Тибулла. Такимъ же сентиментальнымъ характеромъ отличается небольшое стихотвореніе къ Петракѣ¹⁾. „Если по смерти въ душѣ сохраняется самосознаніе, то, прославленный Петрака, и въ посмертномъ прахѣ живеть неугасимая любовь“, такими словами начинается это стихотвореніе. Потомъ поэтъ выражаетъ мысль, что Петраку сразила скорбь не столько о потерянной Лаурѣ, сколько о безвременной гибели ея красоты. Но утѣшеніе, наконецъ, является къ нему, когда, проходя вмѣстѣ съ Лаурой по берегамъ Леты, онъ встрѣчаетъ общее вниманіе со стороны многочисленныхъ обитателей Елисейскихъ полей.

*Felices animae, quarum dissolvere foedus
Mors quoque et extremi non potuere rogi!*

Такимъ восклицаніемъ заканчиваетъ Кохановскій свое стихотвореніе. Въ другомъ двустишии къ нему же²⁾, нашъ поэтъ выражаетъ ту мысль, что Петрака, оплакивая преждевременную смерть Лауры, обезсмертилъ своими пѣснями ея имя и свою славу. Проникнутыя воспоминаніями о Петракѣ, оба эти стихотворенія написаны въ Надувѣ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ посѣщенія его гробницы, или дома, гдѣ онъ жилъ. Оба они отличаются сентиментальностью и мечтательнымъ характеромъ. На ряду съ ними есть такія элегіи, въ которыхъ нашъ поэтъ выступаетъ уже не въ роли робкаго влюбленнаго юноши, а является настоящимъ покорителемъ сердецъ. Трудно сказать, действительно ли Кохановскій успѣлъ уже такъ сильно испортиться, или онъ только бравировалъ своими мнимыми любовными побѣдами, что свойственно иногда молодымъ людямъ, окруженнымъ развращенной средою, отстать отъ которой мѣшаетъ имъ ложное самолюбіе. Какъ бы то ни было, лучшимъ произведеніемъ нашего

¹⁾ См. Wyd. Pomn. t. III, 187 str. Foricoenia 6

²⁾ См. W. P. III. 188.

поэта въ этомъ родѣ должна считаться третья элегія первой книги¹⁾. Въ ней поражаетъ смѣлая искренность, съ которой поэтъ признается въ своемъ непониманіи, такъ называемой педантами, духовной любви, когда „id quod amas tangere nulla via est.“ Далѣе поэтъ просить у этихъ мудрецовъ, чтобы они не отнимали у года цвѣтущей весны, не мѣшили молодымъ росткамъ на зеленой нивѣ обращать къ солнцу свои пѣжные листья. Не видя въ любви никакого грѣха, онъ охотно вступаетъ въ боевую рать Купидона. Если бы пришлось ему даже сдѣлаться дружиинникомъ Марса, то онъ, хотя бы и неохотно, вырвался изъ объятій возлюбленной, всетаки пошелъ бы на поле битвы, лишь бы въ тотъ мигъ она смотрѣла на него. Тогда никто не обратился бы въ бѣгство, и Гекторъ не сражался бы съ такой отвагой, если бы Андромаха не смотрѣла на него со стѣнъ Трои. Нѣть выше счастья, какъ умереть на глазахъ своей милой, и себѣ поэтъ не желалъ бы лучшей смерти. Эта элегія проникнута чувствами счастливаго влюбленнаго, одержавшаго, можетъ быть, первую побѣду, потому что отъ каждого слова вѣетьтъ такой свѣжей, живой и искренней радостью, какъ будто самъ поэтъ не смѣетьтъ вѣрить и удивляется своей побѣдѣ. Сама возлюбленная здѣсь отходитъ на задній планъ, почти совершенно исчезаетъ, заслоненная восторгомъ впервые извѣданнаго счастья. Поэтъ больше занятъ своими собственными стремленіями, волненіями и чувствами, чѣмъ личностью своей возлюбленной, въ немъ больше желаній и первыхъ очарованій молодости, чѣмъ самой любви. Станиславъ Тарновскій полагаетъ, что въ этой элегіи нѣть ничего заимствованнаго²⁾. Едва ли съ этимъ можно согласиться. Стоить только сопоставить стихъ:

” . . . ille quadrigis

Dici in Olympiaco pulvere victor amat“

со слѣдующимъ мѣстомъ Гораций въ одѣ къ Меценату:

Sunt quibus curriculo pulverem Olympicum

Collegisse iurat . . .

чтобы убѣдиться въ недостаточной вѣрности этого мнѣнія.

Въ томъ же тонѣ, хотя и не такъ удачно, написана вторая элегія первой книги³⁾. Въ ней выступаетъ поэтъ въ нѣсколько комичномъ

¹⁾ См. W. P. III. 11.

²⁾ Op. cit. 66 p.

³⁾ См. W. P. III. 6.

свѣтъ. Здѣсь онъ напускаетъ на себя видъ человѣка опытнаго въ любовныхъ похожденіяхъ и менторскимъ тономъ наставляетъ какого то менѣе смѣлаго товарища не выпускать счастья, которое само дается ему въ руки. Въ этой элегіи Кохановскій скорѣе старается импонировать передъ товарищемъ своей испорченностью, чѣмъ въ дѣйствительности является такимъ. Стихотвореніе вышло не совсѣмъ удачнымъ, однако въ немъ встрѣчаются и хорошія мѣста, какъ, напримѣръ, описание рѣшимости Федры признаться пасынку въ своемъ преступномъ чувствѣ.

Въ рукописи Осмурльскаго эта элегія значится также второй и посвящена падуанскому товарищу Кохановскаго Андрею Бажему (Andrzejowi Barzem) ¹⁾. Между обѣими редакціями существуетъ значительная стилистическая разница. Начало и въ рукописи и въ печати одинаково. Выраженіе «этотъ отвѣтъ даетъ тебѣ Аполлонъ изъ Кларійской пещеры» въ печати звучитъ болѣе удачно: «тебѣ говорять голуби Додоны». Въ рукописи, переходя къ повѣствованію, поэтъ спрашиваетъ: «кто рассказалъ тебѣ о любви Федры и о судьбѣ несчастнаго Ипполита?», а въ печатномъ восклицаетъ: «кто-жъ не слыхалъ о любви Федры, кто-жъ не оплакалъ судьбы несчастнаго Ипполита?» Печатный текстъ подробнѣе описываетъ состояніе души Федры, терзаемой муками тайной любви, даетъ ему лучшее освѣщеніе и объясняетъ въ четверостишіи, отчего Федра, не прибѣгая къ посреднику, сама рѣшается признаться. Ея смѣлый шагъ изложенъ здѣсь опять подробнѣе, чѣмъ въ рукописи, подчеркнута блѣдность ея лица, упомянуты слезы, приведенъ отвѣтъ Ипполита и впечатлѣніе, вынесенное изъ него Федрой, прибавлено сравненіе съ Менадой, боязнь ея передъ обвиненіемъ и гнѣвомъ мужа и т. д. Словомъ печатный текстъ отличается лучшей обработкой.

Въ этой элегіи есть нѣсколько стиховъ, заимствованныхъ изъ Тибулла, I книги, четвертой элегіи, отъ 85—90 стиха и шестой—84 стихъ. Но содержаніе, мысль и вся композиція отличается совершенно инымъ характеромъ и, слѣдовательно, элегія можетъ быть названа почти совершенно самостоятельной.

Однако опытность и успѣхъ не всегда приносятъ счастье и гордому покорителю сердецъ приходится иногда смиренno склонять свою

¹⁾ См. Ateneum 1891 r. t II, str. 5.

голову подъ ударами капризной судьбы. Шестая элегія III книги¹⁾ является первымъ произведеніемъ, въ которомъ отразилось несчастье поэта. Возлюбленная дурно къ нему относится и онъ не знаетъ, чѣмъ это объяснить. Онъ полагаетъ, что причиной является клевета въ невѣрности, пущенная о немъ какимъ-нибудь злымъ товарищемъ. Онъ удивляется, какъ могла его милая повѣрить всѣмъ этимъ выдумкамъ, какъ она могла допустить въ немъ такую порочность и неблагодарность, послѣ того какъ она предпочла его богачамъ. Въ послѣднихъ словахъ заключается доказательство того, что эта любовь по своему началу была счастливой. Можетъ быть, несчастье послѣдовало за тѣмъ триумфомъ, который описываетъ поэтъ въ разобраныхъ уже нами элегіяхъ.

Однако бѣдному юношѣ пришлось таки, наконецъ, убѣдиться, что клевета тутъ не при чѣмъ, что причина измѣнчивости его возлюбленной заключается въ недостаткѣ денегъ въ его кошелькѣ. Убѣдившись въ этой горькой правдѣ, онъ въ восьмой элегіи жалуется, что хотя и ничѣмъ онъ не боленъ, кромѣ любви, всетаки его убиваетъ коварная дѣвшушка. Напрасно онъ умоляетъ и заклинаетъ ее. Прежде пѣсни имѣли свою цѣну и Орфей своей лирой смягчалъ скалы, а сердце измѣнницы тверже этихъ скалъ, и двери ея открыты только тому, у кого кошелекъ полонъ золотомъ. Привратникъ гонитъ неимущаго любовника, даже собака и та старается укусить его. Ясно сознавая глубокую испорченность своей возлюбленной, онъ всетаки не теряетъ надежды подействовать на нее инымъ способомъ. Онъ говоритъ ей, что красота не можетъ вѣчно оставаться неизмѣнной, съ годами и она проходитъ, нужно пользоваться ею, пока мы молоды и выбирать себѣ спутникомъ жизни только того, кто умѣеть быть постояннымъ, кто ничего больше не будетъ желать, какъ только умереть въ объятіяхъ своей возлюбленной. Всѣ эти просьбы и жалобы показываютъ, что дѣла поэта находятся въ плохомъ, но не въ безнадежномъ состояніи. Стихи отъ 19—28 съ незначительными измѣненіями заимствованы изъ четвертой элегіи второй книги Тибулла. Окончаніе почти дословно взято оттуда-же.

Еще болѣе безнадежнымъ характеромъ проникнута четырнадцатая элегія²⁾. Здѣсь онъ хвалить своего друга за то, что онъ скрываетъ свою

¹⁾ См. W. R. III. 109.

²⁾ См. W. R. III. 133.

любовь, свободенъ отъ зависти, избѣгаетъ злыхъ языковъ и самъ заботится о своемъ добромъ имени. О себѣ говоритъ поэтъ, что коварный Купидонъ такъ глубоко поразилъ его своей стрѣлою, что онъ не въ силахъ скрыть своихъ страданій. Если бы даже поэтъ и не говорилъ объ этомъ, если бы и не жаловался, его выдадутъ невольные вздохи, блѣдное лицо, на которомъ всякий можетъ прочесть: «этотъ бѣдняга влюблена». Еще такъ недавно онъ наслаждался полнымъ счастьемъ, а теперь, одинокій и грустный, стоить у дверей, за которыми счастливый соперникъ проводитъ блаженные часы съ его прежней возлюбленной. Причина заключается не въ женскомъ непостоянствѣ, а въ томъ, что у соперника больше золота въ кошелькѣ.

*Aurum quisquis habes nihil est quod caetera poscas
Auro nil fingi mente potest melius.*

Далѣе слѣдуютъ вздохи по томъ золотомъ вѣкѣ, когда денегъ еще не было, когда люди, не зная пагубной роскоши, наслаждались полнымъ счастьемъ на благодатномъ лонѣ матери природы. Тогда не нужно было платить за любовь дорогими подарками. Проклятіе тому, кто первый заплатилъ за нее и внесъ въ міръ величайшее зло. Но и счастливому сопернику не слѣдуетъ гордиться своею побѣдою, такъ какъ колесо Фортуны находится въ непрестанномъ движении. То, что сегодня принадлежитъ мнѣ, на другой день можетъ стать твоимъ. Возлюбленная не должна бы забывать, что время идетъ, а съ нимъ уходить и красота, унося съ собою прежнихъ поклонниковъ. Не слѣдуетъ довѣрять богатымъ, счастливымъ и знатнымъ людямъ, только онъ, поэтъ, никогда не изменитъ. Ни время, ни удары судьбы не заставятъ его забыть свою милую и какъ теперь она дорога ему, пока онъ живъ, такой же милой останется и для его праха.

Вся эта элегія показываетъ, что Кохановскій былъ счастливымъ избранникомъ какой-то падуанской женщины не совсѣмъ строгаго нрава, которая предпочла ему болѣе богатаго соперника.

Послѣдній мотивъ много разъ повторяется въ стихотвореніяхъ Кохановскаго, изъ чего можно вывести новое доказательство справедливости мнѣнія Бронислава Хлѣбовскаго и Станислава Виндаевича объ ограниченныхъ средствахъ нашего поэта и о воспитаніи его на счетъ какого то мецената.

Поэтъ очень хорошо видѣлъ недостатки своей возлюбленной, не смотря на это, онъ жалѣлъ ее и тосковалъ по ней съ гораздо большей силой, чѣмъ она была того достойна. Эту психологическую

черту можно извлечь изъ разобранной нами элегіи, которая стоитъ ниже третьей по своимъ достоинствамъ и имѣть слѣдующіе заимствованные стихи: 15, 16, 19, 20, 25, 26, 30 у Тибулла: 1, 5, 69, 70; I, 1, 47; I. 8, 30, II. 3, 59, 60.

Третья элегія второй книги¹⁾ представляетъ выраженіе постыдной слабости поэта въ попыткахъ преодолѣть свою страсть. Прощаясь съ дорогими товарищами, онъ уходитъ въ широкій свѣтъ, въ темные лѣса. Онъ надѣется тамъ при пѣніи пташекъ и благоуханіи полевыхъ цвѣтовъ разсѣять свою тяжелую тоску. Но попытки его тщетны, слишкомъ глубоко запала ему въ душу несчастная любовь, чтобы такъ легко можно было раздѣлаться съ нею. Онъ опять стремится въ городъ, который для него потерялъ уже всякую прелестъ. Даже жизнь не имѣеть для него никакой цѣны, если Купидонъ не станетъ къ нему благосклоннымъ.

Всѣ эти черты: выѣздъ въ деревню, желаніе развлечься созерцаніемъ природы, или охотой, наконецъ, это грустное возвращеніе въ городъ, носятъ характеръ дѣйствительности и воспоминанія въ самомъ дѣлѣ пережитаго поэтомъ случая. Подражанія въ этой элегіи мало, если не считать двухъ стиховъ 31 и 32 изъ третьей элегіи первой книги Тибулла. На этомъ основаніи Тарновскій склоненъ считать эту элегію самымъ сильнымъ выраженіемъ страсти въ данную эпоху жизни Кохаповскаго²⁾. Ниже мы увидимъ, справедливо ли это мнѣніе.

Другой элегіей въ томъ же родѣ онъ считаетъ десятую второй книги³⁾. Въ ней поэтъ говорить, что безъ надежды не стоить жить. Онъ самъ себѣ удивляется, почему онъ въ минуту отчаянія не утопился. Напрасно поэтъ перенесъ все, что только въ силахъ вытерпѣть человѣкъ, ему остается только умереть. Даѣе онъ говоритъ измѣнициѣ, что послѣ смерти онъ будетъ являться къ ней страшнымъ привидѣніемъ. Никакія мольбы не спасутъ ея отъ этой вполнѣ заслуженной кары. Даже тамъ, послѣ смерти, она будетъ терпѣть муки Сизифа Иксиона, вступивши въ число грѣшныхъ душъ, въ то время какъ обманутый ею цевинный поэтъ будетъ въ Елісейскихъ поляхъ наслаждаться пѣснями Сафы и Орфея, будетъ вести бесѣды съ Лукре-

¹⁾ См. W. P. III. 59.

²⁾ Op. cit. 67 p.

³⁾ См. W. P. III. 77.

ціемъ въ общество тѣхъ, которые сами сократили свою невыносимую жизнь. Таково представлѣніе поэта о вѣчности и обѣ ожидающей его за гробомъ судьбѣ. Онъ не вѣритъ, чтобы душа человѣка мучилась вмѣстѣ съ тѣломъ, чтобы на небесахъ сидѣли равнодушные къ людскому горю боги, чтобы человѣческими дѣлами и судьбой людей управлялъ случай, а не разумъ. Трудно предположить, чтобы Кохановскій въ самомъ дѣлѣ думалъ о самоубійствѣ. Одно только достовѣрно, что онъ былъ проникнутъ глубокимъ негодованіемъ къ измѣнившей ему женщінѣ. Любопытно въ этой элегіи упоминаніе о Луккреціи и протестъ противъ его взгляда на бессмертіе души. Кохановскій признаетъ его, правда, въ нѣсколько своеобразномъ видѣ. Семь стиховъ въ этой элегіи: 41, 42, 49, 50, 53, 54, 60 заимствованы изъ третьей и пятой элегіи первой книги Тибулла.

Рядомъ съ третьей элегіей, можетъ быть, случайно, стоитъ четвертая¹⁾, въ которой выражено успокоеніе послѣ выше приведенного страстнаго порыва отчаянія. Спящему поэту является во снѣ Венера во всемъ блескѣ своей красоты и, заботясь о его судьбѣ, говоритъ, что онъ самъ во всемъ виноватъ, такъ какъ поступалъ слишкомъ безразсудно и опрометчиво. Онъ успѣлъ уже наскучить своими жалобами и людямъ, и богамъ, на которыхъ онъ осмѣливался даже изрекать нечестивыя кощунства, не зная того, что благопріятный вѣтеръ можетъ измѣниться въ противную сторону. Нѣть такого счастья въ любви, которое не оставляло бы мѣста для слезъ. Мудрый терпѣливо сноситъ все, что по силамъ человѣку. Та, на которую поэтъ такъ несправедливо жалуется, любить его больше, чѣмъ онъ этого заслужилъ, при этомъ она красива и обладаетъ добрымъ сердцемъ. Не будучи его женою, онаничѣмъ ему не обязана. Все, что имѣеть отъ нея онъ, достается ему по ея доброй волѣ. За это нужно благодарить и не желать большаго. Сравнительно съ тѣми, которые лишили себя жизни отъ любви, судьба его гораздо болѣе благопріятна. Ничто его не можетъ удовлетворить, даже идеальность—Пенелопа и та ему показалась бы измѣнницей. Возлюбленная его, которой онъ не вѣритъ, сама страдаетъ отъ любви къ нему. Сказавши это, Венера унеслась на лебединыхъ крыльяхъ, и поэтъ проснулся утѣшеннымъ.

¹⁾ См. W. P. III 62.

Эта элегія въ рукописи Осмульского стоитъ девятой во второй книгѣ¹⁾. Стилистическая разница между обоими текстами весьма значительны. Въ рукописи болѣе вычурное описание блестящаго наряда Венеры и болѣе прозаической конецъ: «... она тебя отъ души любить, въ чёмъ такъ часто признается; я знаю, что она охотно удѣляетъ тебѣ то, въ чёмъ она не отказывала бы и тому, кого она любила бы больше своей жизни». Сонъ и нѣкоторые отдѣльные стихи взяты изъ Тибулла четвертой элегіи III книги. Разница состоитъ только въ томъ, что у Тибулла является во снѣ Аполлонъ, которому болѣе свойственно покровительствовать поэтамъ, чѣмъ Венерѣ, являющейся Кохановскому. Интересно ея утѣшеніе, которое представляетъ собою философскую резигнацію. Основаніемъ ея служитъ не легкомысленный взглядъ на возлюбленную, а сознательная снисходительность и благодарность ей за то, что и она сумѣла быть доброй по отношенію къ поэту. Обстоятельство это нужно рассматривать, какъ сознаніе поэтомъ невозможности достиженія идеального счастья и необходимости довольствоваться взамѣнъ его малымъ. Можетъ быть, съ этой элегіи начинаетъ Кохановскій смотрѣть болѣе благоразумно и спокойно на измѣны своихъ возлюбленныхъ.

Такимъ образомъ совѣты Венеры испортили его, приблизили его чувства къ землѣ. Не смотря на это, прежняя жалобы продолжаютъ еще не разъ встрѣчаться въ его произведеніяхъ. Вотъ, напримѣръ, его хорошенъкое стихотвореніце къ Андрею Нидецкому, о дружбѣ съ которымъ нашего Яна мы уже упоминали выше. Поэтъ говоритъ, что Венера смиливалась надъ его горемъ и строго приказала Амуру не трогать его. Однако Купидонъ не слушался своей матери и, сидя на морскомъ берегу, грозилъ поэту отточенными стрѣлами. Тогда Венера схватила его и, связавши, отдала поэту въ неволю. Однако послѣдствія этого были еще хуже для поэта, такъ какъ Амуръ сумѣлъ смягчить его своими просыбами, вызвать къ себѣ сожалѣніе и, наконецъ, окончательно поработить своего господина. Въ виду того, что это стихотвореніе было написано къ Андрею Нидецкому, повѣренному сердечныхъ тайнъ Кохановскаго, Тарновскій полагаетъ, что подробности, въ родѣ упоминанія морского берега, и другія, даютъ указаніе на зарожденіе въ душѣ поэта новой страсти

²⁾ См. Ateneum 1891 г. т. II. str. 18.

гдѣ нибудь около Венеци, или въ самомъ этомъ городѣ¹⁾). Въ этомъ періодѣ жизни поэта одна страсть непосредственно смѣняетъ другую. Очень характернымъ оправданіемъ такой морали служить одно стихотвореніе въ «Фориценіяхъ» къ Торквату²⁾). Видя его влюбленнымъ и грустнымъ, благодаря неудачамъ въ этомъ отношеніи, поэтъ даетъ ему слѣдующій простой совѣтъ:

Aut nunquam incipere, aut desistere nunquam
Est mel cum incipimus: fel ubi desinimus.

По всей вѣроятности, Кохановскій до своей женитьбы самъ придерживался этого правила, хотя не разъ, забывая о непріятныхъ послѣствіяхъ, всетаки рѣшался испытать новое чувство. Нельзя сказать, чтобы элегический тонъ, проникнутый нѣжностью, совершенно отсутствовалъ въ теченіе этого періода въ его произведеніяхъ. Однако въ нѣкоторыхъ изъ нихъ мы замѣчаемъ вмѣсто него, или ироническое и легкомысленное отношеніе къ женщинамъ, или веселый взглядъ на жизнь, охоту къ кутежамъ и развлеченіямъ съ хорошими товарищами.

Къ числу элегій, осмѣивающихъ женскіе недостатки, относится—восьмая второй книги³⁾), гдѣ поэтъ спрашиваетъ, для чего женщины прибегаютъ къ разнаго рода краскамъ и косметикамъ, которые не придаютъ имъ никакой красоты и никого къ нимъ не привлекаютъ. Эта элегія цѣликомъ взята изъ второй элегіи первой книги Проперція.

Образцомъ элегій, воспѣвающихъ разгульную жизнь, можетъ служить—вторая II книги⁴⁾), гимнъ въ честь Вакха, полный юмора и фантазіи, сквозь которые пробиваются еще остатки былой печали. Поэтъ надѣется, что Вакхъ его утѣшить: Вакхъ придаетъ отвагу робкимъ, разгоняетъ тоску, приноситъ забвеніе. Для него все равны: и богачъ, и бѣднякъ.

Vina mihi et nexas fraganti flore corollas,
Ah pereat, si quem sobria vita juvat!

¹⁾ Op. cit. 72 р.

²⁾ См. W. P. III, 72.

³⁾ См. W. P. III. 226.

⁴⁾ См. W. P. III, 56.

Такъ восклицаетъ поэтъ. Онъ проситъ увѣнчать его цвѣтами и налить ему полный кубокъ вина, пока поэтъ еще живъ. Этимъ короткимъ мгновеніемъ необходимо пользоваться и взять у него все, что только возможно.

Dura puella vale, te nec mea flectere Musa
Nec potuit vel amor, vel mea rara fides.

Forsitan inveniam, quae pluris me aestimet, at tu
Sero, sed agnosces damna aliquando tua.

Здѣсь измѣняется тонъ, является скорбь о прежнемъ счастьѣ, воспоминаніе о хорошихъ минутахъ, которое, однако, быстро проходитъ, какъ мимолетный вздохъ, и заканчивается элегія требованіемъ вина, которымъ не брезгалъ и самъ Катонъ.

Въ рукописной редакціи этой элегіи¹⁾ (у Осмульскаго—шестая второй книги) не было лишняго дидактическаго эпизода о краткости человѣческой жизни (отъ 17 по 24 стихъ). Въ печати суровой дѣвушки не могли побѣдить: «ни музы, ни любовь, ни рѣдкая вѣрность». Въ рукописи это мѣсто передается слѣдующимъ образомъ: «тебя совершило не тронули ни мои пѣсни, ни подарки, ни просьбы». Стихи отъ 19 до 23 взяты изъ четвертой элегіи первой книги Тибулла, а 24—изъ III книги четвертой элегіи его-же.

Къ этому же падуанскому періоду относить Лѣвенфельдъ²⁾ VII оду «Ad Lycean»³⁾, которая скорѣе представляетъ злую эпиграмму, чѣмъ оду. По своимъ литературнымъ достоинствамъ она могла бы быть отнесеной къ позднѣйшему времени творчества Кохановскаго. Даже и въ этомъ случаѣ, по мнѣнию Тарновскаго⁴⁾, ничто не мѣшаетъ ей служить прекраснымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, очень забавнымъ эпилогомъ падуапскаго романа нашего поэта. Ликея, имя которой въ элегіяхъ не упоминалось, постарѣла и подурнѣла. Пока она была молода, она не обращала на поэта никакого вниманія, когда онъ мерзъ на дворѣ, или мокнулъ подъ дождемъ. Богатый Демохаръ (Demochares) пользовался ея милостями. Настало время, когда Венера и Купидонъ покинули ее. Съ каждымъ днемъ

¹⁾ См. Ateneum 1891 г. t. II, srt. 17.

²⁾ Op. cit. p. 130.

³⁾ См. W. P. III, 271.

⁴⁾ Op. cit. p. 74.

на лицѣ ея появляется все больше и больше морщинъ, и Демохаръ, наконецъ, покидаетъ ее. Тогда Ликея стала звать своего прежняго нѣкогда отвергнутаго поклонника, который не былъ настолько глупъ, чтобы послѣ того, какъ другой сѣлъ мясо, довольствоваться «reliquis ossium».

Всѣ эти латинскія произведенія Кохановскаго, какъ мы выше упомянули, даютъ слишкомъ мало точныхъ біографическихъ чертъ изъ жизни поэта. Можно сказать, что онъ былъ влюблѣнъ, а сколько разъ переживалось это чувство и повторялось ли оно, неизвѣстно. Есть основаніе предположить, что онъ попалъ въ общество разгульныхъ товарищѣй и не вполнѣ добродѣтельныхъ женщинъ, что были, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ счастливъ въ любви и даже предпочтенья болѣе богатымъ соперникамъ, но не надолго. Результатомъ этой неудачи была глубокая скорбь, которой едва ли была достойна его продажная возлюбленная. Съ цѣлью разсѣяться, онъ уѣзжалъ, или, можетъ быть, только собирался ѿхать въ деревню, но ожидаемаго утѣшенія ему не удалось получить.

При выдающихся умственныхъ способностяхъ Кохановскій обладалъ своенравнымъ характеромъ и съ любопытствомъ искалъ любовныхъ приключеній. Испытавши ихъ, онъ гордился своей зрѣлостью и, напуская на себя тонъ Донъ Жуана, училъ другихъ, болѣе робкихъ и неопытныхъ товарищѣй, какъ имъ поступать въ подобныхъ случаяхъ. При этомъ въ его словахъ замѣтно много наивности и сентиментальности. Хорошо зная, что за женщина его возлюбленная, онъ вѣритъ въ ея постоянство, удивляется ея измѣнѣ. Какъ въ высшей степени нѣжная натура, онъ слишкомъ горячо принимаетъ къ сердцу весьма естественную невѣрность своей возлюбленной. Его жалобы, проклятия и даже угрозы самоубійствомъ, въ особенности послѣднія, не должны быть понимаемы въ буквальномъ смыслѣ, это скорѣе дань господствовавшимъ тогда литературнымъ формамъ итальянскихъ и античныхъ поэтовъ. Подражая имъ, онъ во многихъ случаяхъ преувеличивалъ свои собственные страданія. Кромѣ того, необходимо вспомнить, что многія подобныя мѣста цѣликомъ почти взяты имъ изъ классиковъ. Пережитая поэтомъ любовная неудача научила его болѣе трезво и холодно смотрѣть на подобныя вещи. Идеальная любовь, о которой грезилъ онъ, была низведена, благодаря непріглядной дѣйствительности, съ небеснаго пьедестала, воздвигнутаго

творческой фантазией, и лишена поэтического ореола. Она приняла въ его глазахъ земной чувственный характеръ и только изрѣдка придавалъ ей поэтъ черты прежняго очарованія. Паѳосъ и восхищеніе, которые не разъ проглядываютъ въ его элегіяхъ, посвященныхъ такимъ недостойнымъ женщинамъ, о которыхъ самъ поэтъ знаетъ, что онѣ за деньги будутъ ласковы ко всѣмъ, объясняются, съ одной стороны, искренней любовью поэта, съ другой—духомъ времени, который имѣлъ свои оригинальныя особенности. XVI вѣкъ, проникнутый горячимъ стремленіемъ къ идеаламъ античнаго міра, жадный къ роскоши и наслажденіямъ, имѣлъ на этотъ счетъ свою особенную, удивительную для насъ, точку зрѣнія. «Не вслѣдствіе недостатка нравственного чувства, говоритъ Тарновскій, не вслѣдствіе сильной страсти и слабости, даже не благодаря свойственной молодымъ людямъ наивности, но посредствомъ вліянія вѣка могъ знать Кохановскій самое худшее о своихъ возлюбленныхъ и, всетаки, сохранять къ нимъ какое-то уваженіе и грезить о томъ, чтобы умереть на ихъ груди»¹⁾.

Литературное значеніе этихъ элегій цѣнится учеными знатоками гуманизма не особенно высоко. По ихъ словамъ, Кохановскій жилъ и воспитывался уже во время начавшагося упадка этого культурнаго теченія. Латинскій языкъ нашего поэта хорошъ, но отличается школьнымъ, черезчуръ правильнымъ и мягкимъ характеромъ. Въ немъ чувствуется послѣдняя попытка спасти его отъ неминуемой гибели, которая грозить ему со стороны все болѣе и болѣе развивающихся новыхъ языковъ. Предшественники Кохановскаго, Кшицкій и Данышекъ, не обладая его талантомъ и изяществомъ слога, писали болѣе живымъ и выразительнымъ языккомъ. Въ защиту нашего поэта Тарновскій говоритъ, что если бы его элегіи и не имѣли даже особыхъ литературныхъ достоинствъ, то, всетаки, въ польской поэзіи за ними нужно признать большое значеніе, такъ какъ онѣ являются здѣсь первой поэзіей любви въ настоящемъ значеніи этого слова²⁾.

Сравнивая ихъ съ произведеніями Кшицкаго и Данышка, мы замѣчаемъ между ними такую же разницу, какъ между польскими стихотвореніями Рея и плодами польской Музы нашего поэта. Правда, въ этомъ отношеніи изъ представителей польско-латин-

¹⁾ Op. cit. p. 77

²⁾ Op. cit. p. 78.

ской поэзии выдается также Яницкий, который въ нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ блещетъ большимъ талантомъ и лучшей выработкой стиха, чѣмъ Кохановскій. Всетаки за послѣднимъ, какъ за поэтомъ любви, нужно признать превосходство. Яницкий, болѣзnenный отъ природы, слишкомъ занятый заботами о своемъ здоровье, черезчуръ сильно отражаетъ это въ своихъ произведеніяхъ, которыя, благодаря этому, имѣютъ иногда слишкомъ тоскливыи, поющій характеръ. Дантышекъ и Кшицкий изображаютъ чувство въ крайне условныхъ формахъ, и «ихъ любовь, по мѣткому опредѣленію Тарновскаго, выражается съ грамматикой и словаремъ въ рукахъ³⁾. Она гордится, если ей удается написать какой-нибудь стихъ безошибочно».

Если даже допустимъ, что Кохановскій писалъ свои элегіи только ради славы, или для упражненія въ техникѣ стиха, какъ это часто бывало въ его время, тѣмъ не менѣе, далеко не всѣ стихотворенія написаны имъ въ такомъ духѣ; онъ, всетаки, иногда выражалъ тѣ именно чувства и мысли, которыя ему въ самомъ дѣлѣ приходилось переживать и всегда въ такихъ случаяхъ свое сильное чувство онъ выражалъ смѣло, свободно и очень красиво. Благодаря этому, даже латинскій языкъ не лишаетъ ихъ того значенія, которое должно принадлежать имъ въ польской эротической поэзіи. Въ этихъ стихотвореніяхъ очень много холоднаго разсудочнаго элемента, въ чеяль откровенно признается самъ Кохановскій. Этотъ элементъ связывается иногда съ самыми возвышенными и благородными чувствами, не исчезаетъ въ немъ, но только прикрывается имъ. Въ такихъ случаяхъ преобладаетъ обыкновенно сентиментальность и грустный оттѣнокъ, а выраженіе этихъ чувствъ условно, какъ и у всѣхъ поэтовъ того времени. Отсутствіе индивидуальныхъ чертъ въ его поэзіи вовсе не доказываетъ, что онъ не могъ ихъ выразить. Объясняется это тѣмъ, что не въ духѣ того времени было обнаруживать ихъ слишкомъ ясно. Провансальские трубадуры и итальянскіе канцонисты и сонетисты считали для себя заслугой затереть въ своихъ пѣсняхъ всякия черты изъ дѣйствительной жизни и проявленія своей индивидуальности. Они старались какъ можно глубже скрыть личность свою и своей возлюбленной и оставляли какъ можно больше мѣста для нѣжныхъ и утонченныхъ, возвышенныхъ и грустныхъ чувствъ, восхищенія, слезъ,

¹⁾ Ibid.

вздоховъ и томности. Такое поэтическое выражение любви господствовало въ теченіе цѣлаго XVI столѣтія.

Первыми гуманистами были итальянцы и французы, а нѣмцы и поляки только ихъ подражателями. Итальянецъ XV вѣка, хотя и писалъ по латыни, всетаки не могъ освободиться отъ вліянія Петрарки, по образцамъ котораго онъ выражалъ свою любовь. Онъ говорилъ только о прелестяхъ, восторгахъ, страданіяхъ и смерти отъ любви всегда одно и то же и въ одной и той же формѣ. Въ своихъ произведеніяхъ онъ не выражалъ своей индивидуальности и своихъ собственныхъ чувствъ. Ни у Петрарки, ни у другихъ сонетистовъ, также какъ и у гуманистовъ, которые имъ подражали, не видно никакихъ указаній на личности ихъ возлюбленныхъ, даже ихъ виѣшніе признаки не выражены тамъ съ достаточнou ясностью.

Кромѣ того, не послѣднюю роль въ этомъ отношеніи играло то обстоятельство, что трубадуры и сонетисты слагали свои пѣсни въ честь возлюбленной, состязаясь между собою. Благодаря этому, необходиимо являлись преувеличенія, которыя должны были складывать черты изъ дѣйствительности. Другой причиной даннаго явленія было то, что гуманисты подражали классическимъ поэтамъ, у которыхъ также нѣтъ никакихъ указаній на личность ихъ возлюбленныхъ. По сонетамъ Петрарки нельзѧ себѣ составить никакого понятія, кто такая была Лаура, также и изъ элегій Тибулла ничего неизвѣстно о личности Деліи. По своимъ характерамъ и темпераментамъ эти поэты рѣзко отличались другъ отъ друга, однако чувствительная и нѣжная любовь, надежда, счастье, или скорбь постоянно выражаются у нихъ однимъ и тѣмъ же стереотипнымъ способомъ. Словомъ, эротическая поэзія того времени, подобно французской ложно-классической трагедіи, создавалась по заранѣе выработаннымъ античнымъ формуламъ. У этихъ именно гуманистовъ учился Кохановскій своимъ первымъ стихотворнымъ выраженіямъ любви. Иныхъ образцовъ онъ и не зналъ, такъ какъ вся поэзія этого рода въ XV и XVI столѣтіяхъ приняла такой условный и искусственный характеръ. На такихъ примѣрахъ и воспитывался Кохановскій, и нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ не писалъ иначе. Слѣдовательно, причины отсутствія въ его элегіяхъ біографическихъ чертъ и индивидуальности нужно искать не въ немъ самомъ, а въ окружающихъ его жизненныхъ условіяхъ, въ

образцахъ, которыми онъ пользовался, въ современной ему европейской литературѣ.

Въ виду того, что поэзія падуанскаго періода жизни Кохановскаго носила, по преимуществу, эротическій характеръ, трудно сказать, какимъ онъ былъ въ другихъ отношеніяхъ, что онъ думалъ и чувствовалъ. Въ элегіяхъ этихъ нѣтъ рѣчи о внѣшнихъ обстоятельствахъ его жизни, такъ же, какъ о природѣ и обѣ искусствахъ. О родинѣ онъ вспоминаетъ только мимоходомъ. Убѣжденія свои исповѣдуетъ только въ нѣкоторыхъ элегіяхъ, о которыхъ у насъ будетъ рѣчь ниже. Однако читая между строкъ его элегіи и принимая во вниманіе, что онъ занять былъ тогда исключительно древнимъ міромъ, а также непринужденность, съ которой онъ отдается своимъ любовнымъ приключеніямъ, можно прійти къ заключенію, что вліяніе вѣка, итальянцевъ и древнихъ авторовъ отразилось не только на его поступкахъ, но даже и на понятіяхъ.

Кохановскій хорошо зналъ философовъ того времени, какъ видно изъ семнадцатой элегіи III книги¹⁾. Онъ колебался въ выборѣ тѣхъ, или другихъ философскихъ ученій, въ чемъ походилъ на большинство своихъ современниковъ. Онъ былъ тогда молодымъ гуманистомъ, горячо преданнымъ той поэзіи, которую понималъ и которой сочувствовалъ. Въ мысляхъ его отражались понятія современныхъ и древнихъ мыслителей. Благодаря ихъ вліянію, его нравъ нѣсколько испортился, вѣра поколебалась, вслѣдствіе различныхъ вопросовъ и сомнѣній, которые ему со всѣхъ сторонъ приходилось слышать. Все это онъ схватывалъ своимъ быстрымъ умомъ, съ легкостью, присущей молодому человѣку, одаренному впечатлительной натурой, свойственной истому поляку и славянину. Посвящая свои стихотворенія воспѣванію любви, онъ гордится своимъ дарованіемъ и, можетъ быть, возлагаетъ на него надежды въ смыслѣ пріобрѣтенія извѣстности и славы. Во всемъ этомъ онъ походилъ на всякаго гуманиста того времени, обладающаго поэтическимъ даромъ. Такова была первая ступень въ его духовномъ развитіи.

¹⁾ См. W. R. III. 145.

III.

Элегіі послѣднихъ лѣтъ падуанской жизни Кохановскаго. XXXV эпиграмма въ „Фориценіяхъ“. Лидія и ея характеристика. Элегіі къ ней. Двѣнадцатая элегія первой книги. Шестая той же книги. Однинадцатая I книги и соотвѣтствующая ей въ рукописи Осмульского шестая I книги. Пятая I кн., существующая только въ рукописи. Четвертая элегія первой книги и соотвѣтствующая ей третья I кн. въ рукописи. Десятая I кн. Тринадцатая I кн. и третья второй книги Осмульского. Вторая элегія III книги и восьмая I книги рукописи. Первая элегія второй книги. Пятая той же книги и седьмая второй книги Осмульского. Шестая элегія второй книги и восьмая II рукописи. Семнадцатая элегія третьей книги. Однинадцатая второй книги и одиннадцатая той же книги Осмульского, какъ выраженіе очарованія Кохановскаго личностью императора Карла V. Эпилогъ романа съ Лидіей—седьмая элегія третьей книги. Элегіі къ Мѣлецкому и Тарновскому. Седьмая элегія первой книги и пятая той же книги рукописи. Пятая элегія первой книги и четвертая Осмульского. Первая первой книги печатнаго и рукописнаго текста. Девятая и десятая рукописныя элегіі первой книги, какъ выраженіе религіозныхъ убѣждений Кохановскаго. Литературное значеніе всѣхъ этихъ элегіі. Хронологическая ихъ дата, какъ подтвержденіе реальности романа съ Лидіей и ея значеніе для біографіи поэта.

На смѣну первымъ, еще не опредѣлившимся проявленіямъ юношеской страсти, которая отразилась въ стихотвореніяхъ нашего поэта, безъ яснаго выраженія автобіографическихъ и индивидуальныхъ чертъ, выступило новое чувство, вызвавшее цѣлый рядъ элегіі, съ болѣе яркой личной окраской. Предметомъ этой любви была Лидія.

Новая страсть поэта должна была обладать значительной силой, если много лѣтъ спустя, уже въ Польшѣ, смотря на свой портретъ, снятый съ него еще въ Падуѣ, Кохановскій говорить:

Talis eram, cum me lento torqueret amore¹⁾

Decantata meis Lydia carminibus.

Pictorem metui, cum vultum pingere vellet,

Ne gemitus una pingeret ille meos.

Въ такихъ словахъ онъ вспоминаетъ о своемъ уже давно переболѣвшемъ чувствѣ, которое живо сохранилось въ его памяти.

Стихотворенія, непосредственно относящіяся къ Лидіи, показываютъ, что онъ глубоко и страстно любилъ эту женщину. Не возвращаясь къ сдѣланной уже нами оцѣнкѣ мнѣнія нѣкоторыхъ критиковъ о томъ, что никакой Лидіи не существовало, мы постараемся охарактеризовать ее по тѣмъ даннымъ, которыхъ у насъ имѣются.

¹⁾ См. Foricoenia XXXV. In imaginem suam. W. P. t. III, str. 202.

На основаніи посвященныхъ ей элегій можно полагать, что она была женщиной съ измѣнчивымъ сердцемъ и не отличалась безупречной нравственностью, была расчетлива, жадно стремилась къ материальнымъ выгодамъ и не пренебрегала деньгами. Принимая подарки, она предпочитала богатыхъ поклонниковъ бѣднымъ. Вотъ что до сихъ поръ было известно о ней изъ латинскихъ стихотвореній Кохановскаго.

И въ этой любви пережилъ онъ тѣ-же стадіи, какъ и въ предыдущей, начиная отъ сладостныхъ надеждъ и упоенія полнымъ счастьемъ и кончая первыми признаками нерасположенія и, наконецъ, измѣной со стороны коварной подруги. Тогда послѣдовали тѣ-же самыя жалобы и проклятія, какія мы видѣли въ выше разобранныхъ нами элегіяхъ. Выраженіемъ начала любви къ Лидіи можно считать двѣнадцатую элегію первой книги¹⁾, которая отличается сентиментальнымъ, робкимъ, нѣсколько условнымъ характеромъ и въ этомъ отношеніи близко примыкаетъ къ предыдущимъ. Друзья предостерегаютъ поэта отъ увлеченія любовью. Онъ, конечно, не слушается ихъ. Любовь дѣлаетъ его, суроваго сѣверянина—сармата, склоннаго къ тревогамъ военной жизни, сторонникомъ мирныхъ искусствъ и, прежде всего, сладостныхъ пѣсенъ. Благодаря этому чувству, сарматская страна когда-нибудь назоветъ его своимъ поэтомъ. Теперь онъ заботится только о томъ, чтобы пѣсни его отворили ему двери къ возлюбленной и смягчили ея непреклонное сердце.

Si non invito spectas me, Lydia, vultu.

Nulla mihi est victis gloria tanta Scythis.

Nulla nec antiqui regnum florens Halyattis,

Quasque Asiae jactat frugifer orbis opes.

Заканчивается стихотвореніе довольно холодной моралью о бренности этого міра, о Крезѣ, о печальной смерти Гектора. Нѣсколько стиховъ (25—30) соответствуютъ 67—72 стихамъ второй элегіи первой книги Тибулла.

Шестая элегія первой книги²⁾ является выражениемъ дальнѣйшаго развитія этой любви. Трудно сказать, до какой ли степени полонъ поэтъ надежды, что не сомнѣвается въ своемъ успѣхѣ, или онъ достигъ уже исполненія своихъ грезъ. Если это только надежда, то, во всякомъ случаѣ, весьма близкая къ осуществленію, если

¹⁾ См. W. R. III 36.

²⁾ См. W. R. III. 18. W. zaws. podajem. w. XXX. bibliotekie w. 100.

дѣйствительность, то еще совершенно свѣжая. Признаніе отличается здѣсь очень красивой формой. По своей прелести, говоритъ поэтъ, Лидія не уступить богинямъ и возлюбленнымъ Олимпійскихъ божествъ.

Omnibus iis forma conferri Lydia digna est

Et potius vincat, quam superata cadat.

О ея наружности поэтъ сообщаетъ слѣдующее:

Ora nivem referunt, aurum coma, lumina stellas,

Ipsa ingens priscas aequat honore deas,

Et sive incessit, risitve, loquutave quidquam est

Praecinctam balteo Cypridis esse putes.

Отсюда мы узнаемъ одну интересную черту, которая не встречается у итальянскихъ и классическихъ поэтовъ, избѣгавшихъ обозначать примѣты своихъ возлюбленныхъ, а именно: Кохановскій сообщаетъ намъ, что Лидія была блондинкой—*aurum coma refert*. При всѣхъ своихъ виѣнскихъ достоинствахъ она была образованной женщиной и свѣдущей во многомъ. Сама Паллада учила ее женскимъ рукодѣліямъ. Лидія любила внимать музамъ и, подобно Сиренѣ, пѣть подъ аккомпаниментъ лютни. Ея красота изгладила въ памяти поэта всѣ прелести, которыхъ ему когда либо приходилось видѣть. Далѣе слѣдуетъ очень любопытное указаніе на славянскія (польскія) произведенія нашего поэта, написанныя для ея прославленія.

Omnes ex animo penitus jam deleo formas,

Diversis memini quas stupuisse locis

Huic, si quid blandum spirant mea carmina, debent,

Huic Latia atque recens slavica Musa canit.

Въ ея объятіяхъ онъ чувствуетъ себя самымъ счастливымъ изъ смертныхъ. Однако и это счастье омрачается иногда ея гнѣвомъ.

Sit satis irata modice illacrimare puella,

Sit satis ingenita de levitate queri

Ingratas pulsare fores, aditumque negari

Illa mihi mortis suspicio instar erit.

Omnia perpetiar: modo spes, o Lydia, nobis

Omnis placandae ne sit adempta tui.

Такъ заканчиваетъ Кохановскій эту элегію. Трудно сказать, о какомъ именно подозрѣніи здѣсь идетъ рѣчь. Одно только несомнѣнно, что въ этомъ стихотвореніи прекрасно выражена первая стадія сча-

стливой любви. Начало его цѣликомъ взято изъ второй элегіи первой книги Проперція. Описаніе Лидіи также заимствовано у него Кохановскимъ изъ первой элегіи второй книги, пренебреженіе къ богатствамъ, упоминаніе о Пактолѣ у него же изъ четырнадцатой элегіи первой книги, а послѣдніе стихи изъ десятой элегіи первой книги Тибулла. Однако это подражаніе не носитъ рабскаго характера, а отличается значительной долей самостоятельности. Цѣликомъ заимствованы только два стиха:

Avecta externis Hippodameia rotis (Propertii I. 2) и
Quidquid fecit, sive est quidcumque locuta (Pr. II. 1).

Выраженіемъ полнаго счастья поэта служить одиннадцатая элегія первой книги¹⁾.

Влюбленный юноша клянется въ томъ, что ему не нужно ни награды въ Елисейскихъ поляхъ, ни капитолійскаго вѣнка: вѣдь Уліссъ предпочелъ Пенелопу безсмертію, которое ему предлагала Цирцея. Также и поэтъ предпочитаетъ всему свою возлюбленную и одного только хотеть—умереть на ея груди. Пусть его тогда не хоронять съ торжествомъ и не ставятъ ему роскошнаго памятника. Для него достаточно, если тѣло его ляжетъ въ сторонѣ отъ дороги, гдѣ не ходятъ и не ъздятъ люди. Пусть надъ нимъ поставятъ скромную колонну съ надписью:

Hic situs est Mopsus, quem flamma ustura suprema
Accendit nigram mors ab amore facem.

Если когда-нибудь его могилу посѣтить возлюбленная и оросить ее слезами, а въ годовщину смерти принесетъ цвѣты, большаго ему не нужно, хотя онъ уже не будетъ этого чувствовать.

Послѣдніе четыре стиха этой элегіи напоминаютъ 31—34 стихи шестой элегіи второй книги Тибулла, а цѣликомъ она похожа на шестнадцатую элегію четвертой книги Проперція.

Въ рукописи Осмурльского эта элегія значится шестою первой книги. Здѣсь она прямо озаглавлена „Ad Lydiam“²⁾. Изъ содержанія ея видно, что какой то пріятель Кохановскаго (какъ мы ниже увидимъ, Андрей Патрицій Нидецкій), собираясь во Францію, уговаривалъ поэта ъхать съ нимъ вмѣстѣ, на что онъ не соглашается, удерживаемый слезами Лидіи. Слѣдующіе стихи печатнаго текста:

1) См. W. R. III. 34.

2) См. Ateneum 1891 г. т. II, str. 8.

„Ne me quaeso tuis occidas, vita, querelis

Itala non tanti est regna videre mihi,

Ut tua ab assiduo tabescant lumina fletu“.

имѣютъ во второй строкѣ варіантъ:

„Gallica non tanti est regna videre mihi“

разсѣивающій всякия сомнѣнія относительно написанія этой элегіи въ Падуѣ. Сверхъ того въ рукописи нѣтъ вышеприведенной эпитафіи, за то здѣсь прибавлены слѣдующіе два стиха: „пусть на тебя, моя Лидія, я буду смотрѣть, умирая, слабѣющими очами, пусть уста плачущей въ послѣдний разъ призываютъ меня“. (Это мѣсто очень напоминаетъ слѣдующія строки въ восьмой элегіи первой книги Кохановскаго: „когда мы съ твердѣющихъ усть получаемъ послѣдніе поцѣлуи и отъ самыхъ водъ Стика нась зовутъ по имени“).

Къ тому же событию, т. е. къ отѣзду пріятеля во Францію, относится, сохранившаяся только въ рукописи Осмульскаго, пятая элегія второй книги¹⁾. Отсюда мы узнаемъ, что другъ поэта, названный здѣсь подъ псевдонимомъ Торквата, имѣеть возлюбленную, по имени Ликориду. Онъ оставляетъ Италію и черезъ Альпы спѣшитъ во Францію, которая ведетъ теперь войну съ Испаніей. Отряды высланы уже въ Италію къ Пьемонту. (Это было въ началѣ зимы 1556 года). Томимая горечью разлуки, Ликорида напоминаетъ Торквату его клятвы, старается остановить его, рисуя всевозможныя опасности дороги, занятой войсками, говорить о суровости альпійскаго климата и, наконецъ, угрожаетъ Торквату мщеніемъ Венеры: сама она не умѣеть гнѣваться на него: чѣмъ менѣе проявляетъ Торкватъ заботливости о ней, тѣмъ больше любить его Ликорида. Одна только надежда на его любовь удерживаетъ ее отъ смерти. Она не требуетъ, чтобы Торкватъ обручилъ съ нею, она не хочетъ отнимать его у родины. Для нея достаточно, если онъ хоть разъ еще посѣтить ее. Тогда пусть Парки оборвутъ нить ея жизни.

Эта элегія интересна, какъ единственная, написанная Кохановскимъ отъ лица женщины, и представляющая объективную передачу чужого чувства; другихъ литературныхъ достоинствъ она не имѣеть, что, можетъ быть, и послужило причиной ея исключенія Кохановскимъ изъ числа своихъ печатныхъ элегій.

¹⁾ Ibid. p. 16.

Та же тема затронута въ четвертой элегіи первой книги¹⁾.

Нѣкій пріятель поэта, Андрей, собирается въ путь и покидаетъ свою возлюбленную. Кохановскій говоритъ, что никогда не сдѣлалъ бы этого. Когда Лидія съ нимъ, для него цѣлый міръ ничего не значить. Изъ его словъ видно, что оба они, т. е. и Андрей, и поэтъ, пользовались взаимностью своихъ возлюбленныхъ и оба знали всѣ подробности о жизни другъ друга. Здѣсь пять стиховъ взято изъ первой элегіи первой книги и третьей элегіи третьей книги Тибулла. Въ рукописи Осмульского эта элегія значится третьей первой книги²⁾. Въ печатномъ текстѣ старательно сглажены упоминанія объ Италіи, въ родѣ слѣдующаго: „окинувши грустнымъ взоромъ Альпы, черезъ которыя ты перѣхаль, скажешь ты: дорогая Италія, увы! какъ ты далека!“ и т. п. Заключительный эпизодъ рукописи, въ которомъ поэтъ противопоставляя себя и Лидію Андрею и Докалику (въ печати Менофилѣ), соглашается вести скромную пастушескую жизнь, лишь бы Венера благопріятствовала ему, совершенно отсутствуетъ въ печатномъ текстѣ, который, вообще, отличается гораздо большей краткостью. Послѣдній мотивъ о пастушеской идилліи повторяется много разъ въ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Кохановскаго. По содержанію къ этой элегіи приближается десятая первой книги³⁾.

По словамъ поэта, все его счастье зависитъ отъ любви къ нему Лидіи. Въ этой элегіи впервые замѣчаются слѣды ревности, или подозрѣнія, которые выражены здѣсь въ довольно сильной и рѣзкой формѣ. Лидіей назначено поэту свиданіе, по всей вѣроятности, уже не первое. Она не приходитъ.

Quae tibi causa morae, quis te casusve deusve

Detinet, inque meos non sinit ire sinus?

спрашиваетъ огорченный и нетерпѣливый поэтъ, который говорить, что ему не нужно ея дорогихъ нарядовъ, лишь бы только скорѣе пришла она. Нетерпѣніе его ростетъ съ каждымъ мгновеніемъ. По словамъ поэта, она приходила на прежнія свиданія въ костюмѣ юноши, что даетъ основаніе предполагать въ ней нѣкоторую боязнь за свою репутацію. Можетъ быть, общественное положеніе, родители, или мужъ, препятствовали ей свободно отдаваться своему чувству. Эта

¹⁾ См. W. P. III. 14.

²⁾ См. Ateneum 1891 r. t. II, str. 6.

³⁾ См. W. P. III. 30.

обстановка тайны, переодѣваніе должны были очень сильно дѣйствовать на влюбленнаго. Очень красиво дважды повторенное въ этой элегіи обращеніе къ звѣздамъ съ мольбой, чтобы онъ не спѣшили совершать свой бѣгъ:

Ne mihi, ne tantum septem properate triones,

Lentius o gygo, Maenali, curre tuo.

Поэтъ умоляетъ Лидію не мѣшкать, такъ какъ ночь уже проходитъ. Далѣе слѣдуетъ прекрасный образъ Эндиміона, къ которому Діана спѣшила съ небесъ и, прішедши къ нему, она клала его голову на свою божественную грудь.

..... tu Lydia cessas,

Meque sinis viduo dura jacere toro.

Однако Лидія не пришла. Звѣзды погасли, запѣль пѣтухъ, а поэтъ тѣмъ временемъ томится мрачными подозрѣніями объ истинной причинѣ ея отсутствія:

Infelix, facilem qui vobis praebuit aurem,

Verbaque vestra aliquod pondus habere putat,

Scintillas in aquis, et rorem quaerit in igne,

Femineo quisquis quaerit in ore fidem.

Такими словами, полными желчнаго негодованія противъ женщинъ, заканчивается эта элегія. Изъ второй и третьей элегій первой книги Тибулла заимствована просьба къ Лидіи, чтобы она не медлила и пришла хоть босикомъ.

Тринадцатая элегія первой книги¹⁾ посвящается также Лидіи, однако по содержанію она не соотвѣтствуетъ предыдущимъ. Начинается она упоминаніемъ объ отъѣздѣ Лидіи въ деревню. Сопутствуетъ ей и нашъ поэтъ. Съ первого взгляда можетъ показаться, что это происходитъ вслѣдствіе ихъ сильной любви другъ къ другу, которая жаждетъ уединиться отъ людей и всецѣло предаться своему чувству. Однако стоитъ только лучше вчитаться въ элегію, чтобы убѣдиться въ томъ, что здѣсь описывается только болѣе продолжительное и свободное свиданіе. Кохановскій говоритъ о деревнѣ, какъ о своемъ постоянномъ мѣстопребываніи, куда онъ приглашаетъ свою возлюбленную раздѣлить съ нимъ его земледѣльческие труды и поддержать его

¹⁾ См. W. P. III. 39.

на этомъ поприщѣ. На ея глазахъ онъ вынесетъ всѣ трудности, она лишаетъ его силъ, она же и даетъ ихъ ему. Онъ совѣтуетъ Лидіи не бояться скучи деревенской жизни, въ которой есть не мало своихъ удовольствій, какъ, напримѣръ, созерцаніе стада, пасущагося на зеленомъ лугу, звонкій лай охотничихъ собакъ, напавшихъ на слѣдъ звѣра, когда

Astra ferit clamor densaque silva tremit.

Эти слова обнаруживаются въ Кохановскомъ страстнаго любителя охоты.

Всѣмъ этимъ радостямъ сельской жизни поэтъ рѣшился охотно предаться въ томъ только случаѣ, если Лидія будетъ съ нимъ. При взаимной любви онъ не хотѣлъ бы никакихъ другихъ богатствъ, которыхъ не даютъ истиннаго счастья. Онъ богатъ надеждой на любовь Лидіи.

Hac redigi in cineres mortuus opto face.

Нѣть основанія относить эту элегію по ея содержанію къ тому періоду жизни Кохановскаго, когда онъ приглашалъ свою невѣstu въ Чернолѣсъ, такъ какъ, во первыхъ, имя Лидіи, во вторыхъ, возможность вліянія Тибулла и въ третьихъ, существованіе этой элегіи въ самомъ раннемъ изъ дошедшихъ до насъ рукописныхъ сборниковъ его латинскихъ элегій говорить противъ этого. Мало ли какія мысли могли прійти въ голову влюбленному юношѣ? Сюжетъ, подобный этому, встрѣчается и у другихъ поэтовъ, какъ, напримѣръ, у Тибулла въ 47—52 стихахъ третьей элегіи второй книги. У Осмульскаго этой элегіи соотвѣтствуетъ третья второй книги¹⁾, которая сильно отличается отъ печатнаго текста.

Поэтъ прощается съ ненавистнымъ городомъ и направляется въ широкія поля, куда удалилась Лидія. Въ ея присутствіи онъ хочетъ, при помощи Амура, отдаваться земледѣльческимъ трудамъ, пахать землю тяжелымъ плугомъ, разбрасывать по взрытымъ бороздамъ хлѣбныя сѣмена, проводить изъ сосѣдней рѣки ручеекъ для орошенія поля, когда его станетъ палить лѣтніе солнце, въ свое время срѣзывать серпомъ „желтые волосы земли“. За все это охотно берется влюбленный поэтъ, лишь бы Лидія была съ нимъ. Для нея онъ станетъ отыскивать въ густыхъ лѣсахъ новые дары: землянику, пурпурную ма-

¹⁾ См., Ateneum 1891 г. т. II, str. 14

лину, голубиныхъ гнѣзда и молодыхъ зайцевъ, ноги которыхъ еще недостаточно окрѣпли. Ей будеть принадлежать все, что даютъ виноградники и отижелѣвшія вѣтви садовыхъ деревьевъ. Тутъ поэтъ начинаетъ сомнѣваться, будутъ ли пріятны Лидіи такие дары, не станетъ ли она смѣяться надъ ними. Въ старину такъ любили, что даже цветы дикой розы считались значительнымъ подаркомъ, а теперь цѣнится одно только золото. Его долженъ имѣть при себѣ всякий, кто хочетъ любить. Теперь женщина утопаетъ въ сказочной роскоши, украшенной Сидонскимъ пурпуромъ и жемчугомъ далекаго востока. Отъ нея вѣтъ волшебными ароматами Аравіи. Никто не осмѣлится подойти къ ней съ пустыми руками, такъ какъ здѣсь нѣтъ мѣста для бѣдности. Самъ отецъ боговъ осыпалъ Данаю золотомъ и съ тѣхъ поръ девушки стали заботиться о выгодѣ и рѣдкую изъ нихъ можно побѣдить инымъ способомъ. Теперь не имѣютъ никакого значенія ни благородство, ни древняя слава предковъ, ни добродѣтель, ни умственная дарованія. Кто можетъ платить, тотъ сравняется съ великимъ Ахиллесомъ и побѣдить даже стихи Гомера. Убогаго станутъ подвергать всевозможнымъ насмѣшкамъ, ему придется терпѣть морозъ и ночную непогоду, въ то время, когда другой будетъ пользоваться милостью его возлюбленной. Не желая подвергаться такому униженію, поэтъ готовъ отдать свое послѣднее платье и даже не пощадить дома своихъ дѣдовъ. Тогда уже, въ самомъ дѣлѣ, ему придется за кирку взяться, т. е. сдѣлаться простымъ землепашцемъ, или работникомъ.

Въ послѣднихъ строкахъ латинскаго текста въ выраженіи: „mihi res ad rastros redit“ заключается игра словъ. Оно можетъ значить: „дѣло у меня до кирки доходитъ“ въ буквальномъ смыслѣ и въ переносномъ: „я останусь ни съ чѣмъ“.

Въ печати, какъ мы выше видѣли, описаніе полевыхъ работъ замѣнено изображеніемъ охотничихъ удовольствій. Рукописная элегія отличается менѣе возвышеннымъ, но за то болѣе жизненнымъ характеромъ. Личность Лидіи впервые получаетъ здѣсь не совсѣмъ выгодную для нея окраску. Она оказывается такой же жадной къ деньгамъ и продажной, какъ и прежнія симпатіи нашего поэта. Вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь еще рельефнѣе выступаетъ бѣдность Кохановскаго, которому было не подъ силу вести такую жизнь, какъ вели его сверстники.

Какъ-бы продолженiemъ этой элегіи служить вторая третьей книги¹⁾, которую до сихъ поръ считали написанной въ Польшѣ, когда поэтъ, уже женатый на Доротѣ, приглашалъ къ себѣ Мышковскаго и предлагалъ ему развлечься охотой. Восьмая элегія первой книги въ рукописи Осмурльскаго²⁾ вполнѣ соответствуетъ вышеупомянутому стихотворенію съ тою только разницей, что вместо стоящихъ въ печати словъ: „*Pasiphile in totum*“ и т. д. здѣсь мы читаемъ „*Lydia et in totum*“ и т. д. Слѣдовательно, здѣсь рѣчь идетъ о падуанской возлюбленной Кохановскаго, которая ожидала его у себя въ деревнѣ, куда, какъ мы видѣли изъ тринадцатой элегіи первой книги, она уѣхала. Съ послѣдней элегіей рукописный текстъ сходится даже въ отдельныхъ выраженіяхъ, какъ напримѣръ *molliti sulci, Icarius canis, aestivus canis* и т. п. Конецъ элегіи, посвященный описанію золотого вѣка и заразы отъ золота, напоминаетъ извѣстное мѣсто въ первой книгѣ Метаморфозъ Овидія: „*Aurea prima sata est aetas*“ и т. д. Мысль о безопасности бѣдняка среди разбойниковъ взята изъ стиха Ювенала: „*Cantavit vacuus soram latrone viator*“. Въ заключеніи поэтъ развиваетъ мотивъ, начатый въ тринадцатой элегіи первой книги.

Недолго пришлось влюбленному поэту наслаждаться своимъ счастьемъ. Лидія, такъ же какъ и его первыя симпатіи, не осталась вѣрной ему до конца. Предчувствіе измѣны съ ея стороны не обмануло его.

Первая элегія второй книги³⁾ уже носить слѣды разочарованія поэта въ Лидіи. Грустная истина уже давно извѣстна ему и повергла его въ глубокое отчаяніе. При всей своей добротѣ онъ не можетъ забыть ея несправедливости и коварной измѣны, которая должны послужить для нея стыдомъ и позоромъ. Она давно уже хотѣла избавиться отъ поэта, давно обнаружила свою скрытность и дурныя качества, давно кокетничала съ другими, но все это услаждалось для него ея любовью и не возбуждало горькаго чувства. Теперь, напротивъ, онъ просить боговъ, чтобы они повергли на его голову всяческія кары; при звукахъ грома, ему казалось, что его постигаетъ гневъ Юпитера, онъ думалъ, что за недостойную Лидію ему при-

¹⁾ См. W. R. III. 90.

²⁾ См. Ateneum 1891 г. т. II, str. 8.

³⁾ См. W. R. III. 53.

дется плыть по страшнымъ Стигийскимъ волнамъ. Онъ боялся этихъ небесныхъ карь, едва ли потому, что совѣсть его мучила за первое совращеніе Лидіи съ пути добродѣтели. Однако же трудно решить этотъ вопросъ положительно въ ту, или другую сторону. Извѣстно только одно, что Лидія ни въ чемъ себя не упрекаетъ и только подыскиваетъ новыхъ избранниковъ своего сердца; ни доброта поэта, ни его постоянство, не въ состояніи вернуть ее на хорошую дорогу.

At te nec pietas mea nec constantia flexit,
In rectam ut velles versa redire viam.

Отсюда есть нѣкоторое основаніе предположить, что у Кохановскаго было, навѣянное страстью любовью, романтическое стремленіе спасти заблудшую овцу, которое, по всей вѣроятности, не было чуждо гуманистамъ и классикамъ, если только имъ удавалось подниматься до настоящей любви, обнимающей собою не только тѣло, но и душу горячо любимаго существа.

Но Лидія не раздѣляетъ его благородныхъ стремленій; они для нея непонятны. Она, не задумываясь, смѣло и весело идетъ дальше по своей дорогѣ къ пороку. Поэтъ говоритъ ей, что такая жизнь можетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока она молода, пока поклонники не покидаютъ ея. Одинъ только онъ оставался бы вѣрнымъ ей до самой своей смерти. Это первое проявленіе отчаянія отъ измѣны Лидіи отличается рѣдкой энергией и красотой и, кромѣ того, повидимому, вполнѣ оригинально.

Между тѣмъ его горе все увеличивается:

Non ita solliciti sulcant Neptunia nautae

Aequora, cum caeca sidera nocte latent,

Nec fugiente die tanto maerore viator

Errans in silva carpitur Hercynia,

Quantis nostra solent tabescere pectora curis,

Cum fugis ex oculis, Lydia dura, meis.

Такими грустными словами начинаетъ поэтъ пятую элегію второй книги¹⁾. Безъ Лидіи даже Аполлонъ своей лирой не въ состояніи развеселить поэта. Все вызываетъ въ немъ однѣ только слезы. На голову своего счастливаго соперника онъ посыпаетъ всякия бѣды и проклятия. Теперь счастливецъ въ отсутствіи, онъ блуждаетъ гдѣ-то

¹⁾ См. W. R. III. 65.

по морямъ. Поэтъ просить Нептуна, чтобы онъ направилъ его корабль на рифы или подводные мели. Послѣ такого злого желанія наступаетъ раскаяніе. Припоминая наставленія Венеры, онъ терпѣливо сносить всѣ невзгоды, вызываемыя любовью: ожиданіе у закрытыхъ дверей подъ дождемъ, одинокія ночи и притворное веселье при за-таенномъ въ глубинѣ души горѣ; поэтъ обращается къ измѣнницѣ:

Lydia, te propter nihil est, quod ferre recusem,

Seu faveas, seu tu sis inimica mihi,

En agedum, saevo mea pectora divide ferro,

Si merui et si te vulnera nostra juvant.

Si neque ego merui nec tu quoque sanguine gaudes,

Quid me sollicitum lenta perire sinis?

Упоминаніе объ унизительномъ ожиданіи милостей отъ отвергнувшей его возлюбленной встрѣчалось памъ уже выше. Только здѣсь доходитъ онъ въ этомъ отношеніи до крайности. Онъ жертвуетъ своимъ самолюбіемъ, чтобы только избѣгнуть полнаго разрыва съ Лидіей. Въ рукописи Осмульского эта элегія значится седьмою второй книги¹⁾. За исключеніемъ одного холоднаго двустишія, пропущеннаго въ печати, разница между обоими текстами нѣтъ. Два стиха 23—24 взяты Кохановскимъ изъ первой элегіи первой книги Тибулла.

Въ слѣдующей элегіи (6, II)²⁾ нашъ поэтъ проявляетъ гораздо больше чувства собственного достоинства. Эта элегія дышитъ гнѣвомъ и искреннимъ негодованіемъ. Здѣсь нѣтъ уже прежняго униженного, молящаго тона. Высоко поднявши голову, онъ смѣло проклинаетъ тотъ часъ, когда впервые встрѣтилъ свою недостойную возлюбленную и не заглянулъ въ ея душу. Теперь только онъ узналъ ее и, вмѣстѣ съ тѣмъ, овладѣлъ собою. Если-бы она даже умоляла его и плакала, онъ не вернется, уѣдетъ отъ нея далеко за море. Онъ пойдетъ, куда глаза глядятъ, куда понесутъ его вѣтры, лишь бы только не видѣть этихъ ненавистныхъ холмовъ. Морскимъ пучинамъ и скаламъ онъ будетъ жаловаться на свое горе. Ихъ можно бѣдеть легче смягчить, чѣмъ жестокое сердце Лидіи. А если-бы захотѣлъ онъ только вернуться къ ней, то пусть вѣтры потопятъ его тогда въ морской глубинѣ. Въ этой элегіи нѣтъ слѣдовъ заимствованія.

отдалъ авторъ анонимному изъ Геневы

¹⁾ См. Ateneum 1891 г. т. II, str. 18.

²⁾ См. W. P. III. 67.

Въ рукописи ей соответствуетъ восьмая второй книги¹⁾. Разница между обоими текстами весьма незначительна. Громадный интересъ представляеть слѣдующій варіантъ: вмѣсто стоящаго въ печати: „*invisos.... colles*“ здѣсь мы видимъ: „*euganeos.... colles*“, т. е. падуанскихъ холмовъ, по способу выраженія римскихъ поэтовъ. Слѣдовательно, эта элегія написана въ Падуѣ, а не въ Парижѣ, какъ старается доказать Лёвенфельдъ, а за нимъ и Станиславъ Тарновскій²⁾. Кромѣ вышеуказанного варіанта мы имѣемъ въ ея заключеніи слѣдующую разницу: живое и правдивое выраженіе печатнаго текста: „утопите меня, вѣтры, если-бы я имѣлъ намѣреніе вернуться“ здѣсь отличается романтическимъ преувеличеніемъ: „не ждите, моряки, никакихъ вѣтровъ и не утруждайте рукъ вашихъ веслами—мои вздохи подвинутъ корабль, если-бы онъ даже и не хотѣлъ, до послѣднихъ береговъ моря и до антиподовъ“.

Семнадцатая элегія третьей книги³⁾, хотя тамъ и не упоминается имени Лидіи, всетаки должна быть отнесена къ ней, такъ какъ это произведеніе проникнуто такимъ сильнымъ гнѣвомъ и негодованіемъ, которые предполагаютъ не менѣе сильную любовь къ той, на кого теперь негодуетъ поэтъ, а такое чувство, какъ намъ известно, онъ питалъ въ Падуѣ только къ Лидіи. Въ этой элегіи онъ вспоминаетъ о прежней наукѣ у бородатаго магистра, который проповѣдывалъ, что не въ деньгахъ счастье. Повѣривши его словамъ, поэтъ никогда не стремился къ ихъ пріобрѣтенію. Жадная возлюбленная научила его иному. Свою любовь цѣнила она за деньги. Тяжело уступать въ любви болѣе богатому, но другого исхода нѣть, такъ какъ подарковъ ничто не превозможетъ: въ желѣзной клѣткѣ была заперта Даная, но и тамъ нашелъ ее золотой дождь. Далѣе идутъ продолжительныя и общераспространенныя жалобы на золото, причину этихъ несчастій. Оканчиваются онѣ мольбой къ Амуру, чтобы онъ не позволялъ профанировать себя деньгами и жестоко каралъ всякую женщину, любящую ради однѣхъ только выгодъ. Такой женщины поэтъ желаетъ всякихъ несчастій: чтобы она, состарившись, продолжала молодиться, возбуждая этимъ насмѣшки надъ собою; когда дверь ея будетъ застрахована отъ стука влюбленной молодежи

¹⁾ См. Ateneum 1891 r. t. II, str. 18.

²⁾ Op. cit. 102 p.

³⁾ См. W. P. III. 145.

и перестанетъ украшаться цвѣтами, пусть она примется за хорошо ей извѣстное ремесло старухъ—своращать невинность. Затѣмъ пусть дождется она нищенской жизни и тѣхъ болѣзней, которыя вызваны ея постыдной молодостью, а послѣ смерти ей будетъ мстить Церберъ и, въ наказаніе за свою ненасытность, пусть ей придется наполнять бездонную бочку Данайдъ. Но всѣ эти проклятія посылаетъ Кохановскій не по адресу своей возлюбленной:

Ast a te, o mea lux, sint ea fata procul,

Sint procul: idque adeo, si in me nil tu quoque peccas,

Sive etiam peccas, sit tibi mitis amor.

Этотъ прекрасный и нѣжный конецъ показываетъ, что поэтъ забылъ уже тѣ обвиненія въ склонности къ деньгамъ, которыми онъ осыпалъ свою возлюбленную въ началѣ элегіи, какъ видно изъ намека, что его иному, чѣмъ бородатый магистръ, учила „domina avara“. Отсюда слѣдуетъ, что поэтъ хотя и сильно негодовалъ на нее, но все еще не переставалъ любить и надѣяться, что его подруга вернется на хорошую дорогу. Нѣсколько начальныхъ стиховъ проклятій взято имъ у Тибулла изъ четвертой элегіи второй книги.

Странно, что ни одинъ изъ критиковъ, разбирающихъ латинскія элегіи Кохановскаго, ни разу не указываетъ въ нихъ реминисценцій изъ Горация, которыя, между тѣмъ, встречаются, хотя и въ ограниченномъ количествѣ. Напримѣръ, въ вышеприведенной элегіи стихъ:

Infinita agri jugera bobus aret

соответствуетъ Горациевскому:

Paterna rura bobus exercet suis

Въ одиннадцатой элегіи второй книги¹⁾ поэтъ уже съ насмѣшкой говоритъ о своей любви. Успокоеніе ему опять приносить сонъ и, явившееся во снѣ, какое то божество. Это повтореніе того же самаго сюжета показываетъ, что Кохановскій въ данномъ случаѣ слѣдовалъ традиціонному приему и не гнался за новыми формами для изображенія своихъ мыслей. Однако между этими двумя элегіями лежитъ большая разница въ самомъ способѣ утѣшенія. Тамъ Венера учитъ его философскому взгляду на вещи: „разъ тебѣ выпало на долю пользоваться ласками возлюбленной, говорить она, что тебѣ до того, если

¹⁾ См. W. P. III. 81.

и другому досталось то же¹. Такъ было при менѣе сильномъ и глубокомъ чувствѣ, а теперь утѣшеніе принимаетъ нѣсколько иной видъ. Какое то невѣдомое божество является поэту во снѣ и спрашиваетъ, хотеть ли онъ навсегда оставаться подъ своимъ любовнымъ яромъ, или стремиться къ освобожденію отъ него. Постѣ этого оно уносить поэта на скалу Левкату¹) и говорить ему, что стоитъ только броситься отсюда въ море и послѣдуетъ немедленное исцѣленіе отъ любви. Однако здѣсь рѣчь идетъ не о самоубійствѣ. Бросившись въ море, поэтъ вынырнулъ оттуда вполнѣ здоровымъ и свободнымъ отъ своей любви.

Неизвѣстно, служить ли это мѣсто простой риторической фigu-
рой, или здѣсь описывается дѣйствительное событие, или успокоеніе
явилось благодаря чрезмѣрному отчаянію, или, можетъ быть, мысль
о смерти Сафо была высшей точкой страданія, послѣ которой насту-
пило облегченіе?

Затѣмъ поэтъ снова обращается къ Венерѣ съ усиленной прось-
бой оставить его въ покоѣ. Пусть она собираетъ себѣ рать изъ бо-
лѣе молодыхъ, чѣмъ онъ, и учить ихъ своей службѣ. Въ нихъ не
будетъ недостатка. Ему же, старому ветерану на этомъ поприщѣ,
пора бы уже отдохнуть и повѣсить свое оружіе у алтаря Ларовъ.
Вѣдь и самъ императоръ²), утомившись, передалъ власть своему брату.
Не возвращаясь больше къ своему горю, поэтъ заканчиваетъ элегію
прекрасными строками обѣ этомъ отреченіи. Нѣсколько начальныхъ
стиховъ напоминаютъ четвертую элегію третьей книги Тибулла. Въ
рукописи Осмульского эта элегія, также одиннадцатая второй книги³),
представляетъ весьма значительную разницу. Прежде всего, здѣсь
нѣть романтическаго сна, во время которого поэту является какое
то божество и приноситъ ему облегченіе. Начинается элегія обраще-
ніемъ къ Венерѣ, въ которомъ поэтъ отказывается имѣть съ нею ка-
кое-нибудь дѣло, отдаетъ ей свои одежды и ночные свѣтильники.
Ему не хочется больше испытывать постоянныхъ перемѣнъ въ на-
строеніи духа, онъ собирается проводить ночи дома и въполномъ
одиночествѣ. Далѣе поэтъ совѣтуетъ Лидіи видѣть спокойные сны и
не волновать себя никакими надеждами и опасеніями. Поэтъ гово-

¹⁾ Левката классическая скала, съ которой Сафо бросилась въ воду.

²⁾ Карлъ V.

³⁾ См. Ateneum 1891 г. str. 19.

ритъ ей, что онъ уже не заставитъ ее плакать надъ разбитыми дверьми и выслушивать отъ него угрозы, смѣшанныя съ просьбами. Ея пороги не будутъ больше украшаться зеленѣющими вѣнками и передъ дверьми не станетъ вздыхать хриплая флейта. „Довольно уже видѣлъ я измѣны, съ горечью продолжаетъ поэтъ, достаточно узналь вашу порочность и, кажется мнѣ, заслужилъ уже право на отдыхъ“. Самъ императоръ, удрученный старостью, сложилъ теперь скипетръ и передалъ бразды правленія своему брату. Такъ поступаетъ конь, когда, чувствуя упадокъ своихъ прежнихъ силъ, послѣ многолѣтнихъ трудовъ, уходитъ въ закрытое стойло, чтобы не лишиться пріобрѣтенней славы и лавровъ, которые онъ стяжалъ себѣ нѣкогда на Олимпійскомъ полѣ. Обращаясь къ императору, съ восторгомъ восклицаетъ поэтъ: „о, отецъ, о, высокая поддержка падающихъ государствъ, о, рука, никогда не слабѣющая въ защитѣ, собственно въ этомъ вѣкѣ слѣдовала бы тебѣ родиться, если-бы боги хотѣли благопріятствовать миру“. Ибо никогда не было большихъ раздоровъ и земля не напивалась кровью до такой степени. Мы видѣли, какъ враждебные предзнаменованія губили королей, какъ рабы возставали противъ своихъ повелителей. Мы были свидѣтелями религіозныхъ возмущений, когда за новую вѣру поднималось нечестивое оружіе. Даже алтари боговъ разрушило дикое поколѣніе, а святыни сравняло съ землей. Зачѣмъ вспоминать въ пѣсни тѣ пораженія, которыя нанесъ Гета многочисленнымъ городамъ? Одинъ только императоръ являлся среди этихъ возмущеній, какъ божество, горячо призываемое во время бури на морѣ. Только онъ могъ соединить въ союзы несогласныхъ между собою гражданъ, отомстить за поруганіе древней религіи. При видѣ его турки обратились въ позорное бѣгство. Онъ посыпалъ за моря могучія флотиліи и водрузилъ славные трофеи на Африканской землѣ. Непобѣдимый на войнѣ, онъ былъ ласковъ со своими непріятелями, чего не станутъ отрицать ни французы, ни дикий саксонецъ. „Теперь, заканчиваетъ поэтъ свое обращеніе къ императору, пресытившись жизнью и славой, ты ожидаешь съ душевнымъ спокойствіемъ послѣдней судьбы и твоего дня, который, не вопреки твоей волѣ, избавитъ тебя отъ этихъ смертныхъ узъ и поставитъ въ блестящихъ чертогахъ высочайшаго неба, гдѣ великий Алкидъ, Либеръ и самъ Квиринъ царятъ вмѣстѣ съ необъятнымъ Юпитеромъ. Но мы не станемъ оплакивать ни твоей старости, ни твоего праха, ибо своими заслугами ты будешь жить во всѣ времена“.

Изъ этой элегии видно, какое очарование производила на Кохановского личность Карла V въ той именно Италии, где было столько живыхъ воспоминаний о побѣдахъ его въ Павии, Римѣ, Тунисѣ и далекомъ Алжирѣ. Много лѣтъ спустя, когда нашъ поэтъ у себя на родинѣ уже успѣлъ забыть о томъ обаяніи, которое нѣкогда производила на него личность императора, такой восторженный отзывъ показался ему не вполнѣ умѣстнымъ и онъ, приготовляя свои стихотворенія къ печати, сократилъ заключеніе этой элегии.

Эпилогомъ любви къ Лидіи нужно считать элегію къ Оссолинскому (7, III¹), котораго поэтъ благодаритъ за оказанную ему материальную и нравственную помощь въ исцѣленіи его отъ любви, которую Кохановскій называетъ здѣсь глупостью (*stultitia*). Однако достичь этого было не легко. Поэтъ перечисляетъ различныхъ божествъ и героевъ, сходившихъ съ ума отъ этого чувства. Тѣмъ болѣе тяжело было бороться съ любовью ему, такъ какъ голову его украшаетъ не стальной шлемъ, а мягкие листья плюща. Отсюда изъ выраженія *flava soma* мы узнаемъ, что поэтъ былъ блондиномъ. (19—26—Tib. III. 3).

Не одна только любовь къ Лидіи занимала нашего поэта въ теченіе послѣднихъ лѣтъ его жизни въ Падуѣ. Дружескія отношенія, которыя связывали Кохановскаго съ нѣкоторыми изъ его земляковъ, также находили выраженіе въ произведеніяхъ нашего поэта. Такова, напримѣръ, седьмая элегія первой книги²), въ которой поэтъ приглашаетъ Мѣлецкаго снять оружіе и воспользоваться благами мирной жизни. Самъ Марсъ оставлялъ иногда свои доспѣхи, и Геркулесъ снималъ львиную шкуру и клалъ въ сторону свою палицу. Не стыдно послѣдовать ихъ примѣру и насладиться мирными днями. Два стиха заимствованы изъ второй элегіи первой книги Проперція. Ясное упоминаніе взятія Сіены заставляетъ отнести эту элегію къ 1555 году. Въ рукописи Осмульскаго ей соотвѣтствуетъ пятая первой книги³). Печатный текстъ значительно расширенъ. Вместо послѣдняго четверостишия мы читаемъ слѣдующій варіантъ: „тогда, Мѣлецкій, пусть сохранять тебя вездѣ невредимымъ твоя храбрость, счастье и Богъ, чтобы я видѣлъ, какъ ты будешь возвращаться побѣдителемъ съ величайшей славой и исполнишь обѣты, данные великимъ

¹) См. W. P. III. 112.

²) См. W. P. III. 21.

³) См. Ateneum 1891 г. t. II, str. 7.

богамъ. Будучи неспособнымъ къ борьбѣ и непривычнымъ владѣть храбрымъ оружіемъ, я долженъ постоянно любить, чтобы не находиться въ праздности“.

Будучи въ зависимости отъ гетмана Яна Тарновскаго, поэтъ долженъ былъ давать ему отчетъ о своихъ падуанскихъ занятіяхъ. Въ пятой элегіи первой книги¹⁾, обращаясь къ нему, Кохановскій говоритъ: „не стыдись, если свое имя найдешь въ моихъ стихахъ. Я не Пиндарь и не Гомеръ, но Фебъ не запрещаетъ мнѣ входа въ Касталійскій гротъ. Если благосклоннымъ взоромъ ты взглянешь на мои стихи, то я не теряю надежды вывести древнихъ героевъ на битвы и воспѣть твои побѣды. Только теперь позволь мнѣ ити своей дорогой и, пока первый огонь горитъ въ костяхъ, продолжать то, что я началъ вдали отъ лагеря и трубного звука, получать пьяные знакиочныхъ прогулокъ. Пусть тѣмъ временемъ растутъ Фебовы лавры, на сегодня довольно съ меня увѣнчать мою голову миртомъ“. Въ рукописи Осмульскаго эта элегія значится четвертой первой книги²⁾. Заключеніе ея находится въ очень слабой связи съ цѣлымъ. „Божественная Эрато, говоритъ поэтъ, такъ какъ твое имя противорѣчить тому, чтобы у тебя было суровое сердце, будь снисходительна къ моему творчеству. Для стиховъ на долгое время прибавляй мнѣ силы, для стиховъ, которые бы хвалила Киприда, которые хвалила бы сама любовь. Пусть другіе ставятъ пирамиды и колоссы, пусть выбиваются имена на твердомъ мраморѣ, въ теченіе лѣтъ упадутъ скалы, время уничтожить мраморъ, одна только слава музъ не знаетъ смерти“. (Послѣднее четверостишіе заканчиваетъ элегію къ Оссолинскому 7. III). Въ рукописи поэтъ говоритъ, что въ Касталійскомъ гротѣ ему будетъ принадлежать лучшее мѣсто послѣ древнихъ Галловъ (рѣчь идетъ о римскомъ лирикѣ Корнеліи Галлѣ) и Тибулловъ. Въ печатномъ текстѣ онъ выражается о себѣ скромнѣе. Кромѣ того въ рукописи Осмульскаго Кохановскій говоритъ, что теперь хочетъ быть твердымъ въ эротической поэзіи, но впослѣдствіи надѣется совладать и съ эпосомъ, чего, какъ намъ известно, ему не удалось осуществить. Въ рукописи вмѣсто словъ: „пьяныхъ знаковъ ночной прогулки“ мы читаемъ: „позоволь мнѣ следовать дорогой, по которой шелъ Мимнермъ“ (поэтъ).

¹⁾ См. W. P. III. 16.

²⁾ См. Ateneum 1891 r. t. II, str. 7.

Къ сыну Яна Тарновского, Кшиштофу, относится первая элегия первой книги¹⁾ и въ печатномъ текстѣ, и въ рукописи²⁾. Въ обѣихъ редакціяхъ Кохановскій говоритъ, что любовь его сдѣлала поэтомъ, при чёмъ въ печатной онъ поддается рефлексіи своихъ товарищей, а въ рукописи, обращаясь къ Кшиштофу, останавливается на высшей цѣли поэта.

Еще одинъ вопросъ затронуть Кохановскимъ въ рукописныхъ элегіяхъ Осмульского девятой и десятой первой книги³⁾, которая посвящены религіознымъ убѣжденіямъ нашего поэта. Въ девятой онъ, прежде всего, благодарить Лидію за участіе, которое она оказалася ему въ его мнимомъ несчастыи: пронесся ложный слухъ, что поэтъ внезапно исчезъ. Многіе склонны видѣть въ этомъ дурное предзнаменованіе, но поэтъ не боится его, такъ какъ онъ готовъ охотно лишиться жизни, если только этого захочетъ судьба. Теперь же онъ желаетъ веселиться вмѣстѣ съ Лидіей и наслаждаться взаимной любовью. Настанетъ время, когда придется измѣнить образъ жизни. Поэту предоставленъ выборъ между званіями юриста, философа и священника. Послѣднее званіе наводитъ его на вопросы о церкви, о спасеніи, о чистилищѣ, посты, безбрачіе духовенства и Антихристѣ. Заканчивается элегія насмѣшкой поэта надъ своей влюблчивостью.

Вопросъ о мѣсто пребываніи церкви рѣшается поэтомъ согласно католическимъ догматомъ. Зависитъ ли спасеніе отъ милости Божьей, или отъ нашихъ заслугъ, Кохановскій не рѣшилъ. Протестантскимъ характеромъ отличается его невѣдріе въ силу постовъ, чистилище и безбрачіе духовенства. За то въ вопросѣ обѣ отнесеніи Антихриста и признаковъ его пришествія къ современной католической церкви онъ скорѣе примыкаетъ къ противникамъ протестантизма. Въ этой элегіи онъ занимаетъ колеблющееся положеніе, какъ большинство образованныхъ поляковъ того времени до Тридентскаго собора, въ особенности же мало-польскіе магнаты: Тарновскіе, Тенчинскіе и др.

Эти взгляды пріобрѣлъ Кохановскій еще на родинѣ, живя при дворѣ Тарновскаго, такъ какъ въ Италии жизненные условия не благопріятствовали распространенію реформаціонныхъ идей, которыя,

¹⁾ См. W. P. III 4.

²⁾ См. Ateneum 1891 г. т. II, str. 5.

³⁾ Ibid. p. 9.

ко времени прибытия нашего поэта въ Падую, окончательно успѣли заглохнуть.

Слѣдующая десятая элегія рукописи¹⁾ касается также религіозныхъ вопросовъ.

По словамъ поэта, израильскій народъ подъ предводительствомъ Божімъ перешелъ Чернное море, пилъ воду изъ скалъ и получалъ пищу изъ воздуха. Безразсудно отвернувшись отъ своего Бога, Израиль не дошелъ до обѣтованной земли и только просьбы его пастыря сохранили народъ отъ болѣе сuroвой кары. Въ настоящее время случилось совершенно обратное явленіе: народъ терпитъ гнѣвъ Божій за вины своихъ пастырей. Прежде всего поэтъ отмѣчаетъ симонію, торговлю таинствами и бенефиціями, затѣмъ безпросыпное пьянство священниковъ, которое не даетъ имъ выслушать горестныхъ жалобъ бѣдности. Не меньшимъ зломъ является безбрачіе духовенства и жадность къ деньгамъ, за которыхъ прощается даже богохульство. Таково низшее духовенство. Самъ глава церкви, Павель IV, не лучше ихъ. Будучи не-примирамъ врагомъ Габсбурговъ и испанцевъ, онъ сбѣтъ въ Италии всевозможныя смуты, ссоритъ Генриха II и Филиппа, словомъ, прѣбываетъ ко всякимъ средствамъ, лишь бы только добиться верховныхъ правъ Рима надъ Неаполемъ, резиденцией герцога Альбы. Христосъ запретилъ апостолу Петру браться за мечъ даже въ защиту своего Господа, а Его намѣстникъ обагренной кровью десницей сражается ради временныхъ благъ. Борьба, о которой говоритъ поэтъ, тянулась отъ осени 1556 до лѣта 1557 года. Къ этому времени и должна быть отнесена вышеупомянутая элегія.

Если до конца падуанской жизни не заглохли въ Кохановскомъ пріобрѣтенный имъ на родинѣ религіозныя воззрѣнія, значить, они пустили въ его душѣ глубокіе корни, что еще больше подтверждается раньше высказанное нами мнѣніе о вліяніи на Кохановскаго реформаціонного движенія, а также и гипотезу о жизни его при дворахъ мало-польскихъ пановъ, которые придерживались въ религіозныхъ вопросахъ такихъ же взглядовъ, какъ нашъ поэтъ.

Однако, Кохановскій не примкнулъ всецѣло къ протестантамъ. Онъ согласился съ ними только въ вопросѣ о безбрачіи духовенства, симоніи, свѣтской власти папъ, постахъ и чистилищѣ, въ остальныхъ

¹⁾ Ibid. p. 11.

же докладахъ онъ остался вѣренъ католической церкви, такъ какъ, въ качествѣ гуманиста, и не старался глубже вникнуть въ ихъ сущность.

Во время написанія этихъ элегій Кохановскій, можетъ быть, надѣялся на примиреніе враждующихъ партій, но, спустя двадцать съ лишнимъ лѣтъ, онъ увидѣлъ на родинѣ, съ одной стороны тающія горсточки протестантовъ, съ другой—католическое большинство народа. Тогда онъ, глубоко затаивши свои убѣжденія, примкнулъ къ послѣднему, которому въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и самъ сочувствовалъ. Послѣ этого онъ не счелъ для себя удобнымъ печатать эти элегіи, чѣмъ и объясняется ихъ присутствіе только въ рукописи Осмульскаго.

Всѣ только что разсмотрѣнныя нами элегіи тѣмъ отличаются отъ болѣе раннихъ, что въ первыхъ индивидуальность поэта выступаетъ ярче, онъ не стыдится отступать иногда отъ гуманистической условности даже въ описаніяхъ внешности своей возлюбленной, а, что еще важнѣе, онъ прямо и опредѣленно высказываетъ свои мысли, чувства и даже убѣжденія. Вмѣстѣ съ болѣе совершенной литературной формой только что указанныя нами черты ставятъ эти элегіи на значительную высоту, по сравненію даже съ образцами, у которыхъ учился Кохановскій.

Кромѣ того, рукопись Осмульскаго съ точностью позволяетъ установить хронологическую дату романа съ Лидіей (1556 г.), что окончательно лишаетъ данный фактъ фантастического характера, присвоенного ему нѣкоторыми критиками. Вмѣстѣ съ тѣмъ, личность Лидіи получаетъ новое освѣщеніе. Не смотря на всѣ ея нравственные недостатки, она оказывается настолько умной женщиной, что поэтъ не колеблется повѣдать ей свои религіозныя убѣжденія и совѣтуется съ ней о выборѣ для себя карьеры. Словомъ, въ эту эпоху жизни нашего поэта, Лидія имѣла для него громадное значеніе и даже вызвала къ жизни его польскую музу.

IV.

Польскія стихотворенія, посвященные Лидіи. Фрашка 77 второй книги. Фрашка 91 той же книги. 77 фрашка первой книги. X пѣснь Фрагментовъ. 88 фрашка второй книги. 28 третьей книги. VII пѣснь Фрагментовъ. Пѣснь IV первой книги. VII пѣснь первой книги. VIII той же книги. 70 фрашка второй книги. 19 фрашка третьей книги. 75 фрашка второй книги. 26 фрашка третьей книги. XII пѣснь первой книги. XV пѣснь той же книги. XXI той же книги. XXV той же книги. 39 фрашка первой книги. XI пѣснь Фрагментовъ. 51 фрашка второй книги. 59 фрашка той же книги. XXIII пѣснь первой книги. 73 фрашка первой книги. XXII пѣснь первой книги. 69 фрашка II кн.

Не одни только латинскія стихотворенія писалъ Кохановскій въ честь своей возлюбленной. По собственнымъ словамъ поэта, его „новая славянская муз“ также принесла Лидіи свою дань. Однако нѣть возможности съ безусловной достовѣрностью опредѣлить, какія именно изъ дошедшихъ до насъ его польскихъ произведеній написаны въ этомъ періодѣ. Здѣсь опять, какъ и почти во всемъ, что касается жизни и литературной дѣятельности нашего поэта, намъ представляется широкій просторъ для всевозможныхъ предположеній и догадокъ. Постараемся же пролить хоть какой-нибудь свѣтъ на этотъ темный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, глубоко интересный вопросъ.

Для построенія нашей гипотезы, прежде всего, мы пользуемся словами самого поэта:

Omnes ex animo penitus jam deleo formas,
Diversis memini quas stupuisse locis,
Huic, si quid blandum spirant mea carmina, debent,
Huic Latia atque *recens slavica Musa canit.*

(VI эл. I кн.)¹⁾.

Изъ этого же источника мы знаемъ, что тѣ польскія стихотворенія, о которыхъ говорить Кохановскій, были написаны имъ къ Лидіи. Слѣдовательно, по своему содержанію они должны близко стоять къ посвященнымъ ей элегіямъ. Общей темой для тѣхъ и другихъ должно быть описание различныхъ стадій любви. Внѣшнимъ ихъ признакомъ нужно считать, сравнительно слабое, выраженіе въ нихъ индивидуальности поэта и склонность къ подражанію классическимъ и итальянскимъ авторамъ.

¹⁾ См. W. R. III t 19 str.

Руководствуясь такими соображениями, прежде всего, мы старались найти въ польской лирикѣ Кохановскаго стихотворенія эротического содержанія, изъ которыхъ мы выбрали наиболѣе близкия къ его латинскимъ элегіямъ. Въ томъ же порядкѣ, какъ Лѣвенфельдъ и Тарновскій расположили латинскія элегіи къ Лидіи, и мы распредѣляемъ польскія стихотворенія, при чмъ необходимо замѣтить, что здѣсь мы ни разу не встрѣтили имени Лидіи, вмѣсто котораго стоять различныя имена.

Не смотря на это, мы, всетаки, относимъ ихъ къ одному лицу, такъ какъ самое имя Лидіи въ латинскихъ элегіяхъ могло быть ни больше ни меныше, какъ псевдонимомъ. Если такъ, то ничто не мѣшало поэту и въ его польскихъ стихотвореніяхъ употреблять нѣсколько псевдонимовъ для обозначенія одного имени своей возлюбленной, которая, по всей вѣроятности, будучи иностранкой, даже никогда не читала этихъ произведеній. Они, вѣроятно, распространялись только въ кружкѣ самыхъ интимныхъ друзей поэта. Его романъ описанъ здѣсь почти такъ же, какъ и въ латинскихъ элегіяхъ.

Только что избавившись отъ несчастной любви, поэтъ снова въ 77 фразкѣ II кн. „Do Boginie“¹⁾ обращается къ богинѣ, которая по своему произволу, при помощи любви, играетъ людскими сердцами, съ мольбою, чтобы она не возвращала его къ первоначальной свободѣ, такъ какъ онъ не можетъ жить безъ любви. Поэтъ даетъ обѣщаніе, если онъ избѣгнетъ и этого новаго тяжкаго ярма, поставить въ храмъ Венеры золотую пальму съ надписью:

Tobie o možna Wenus jestem dana,

Żeś zbydż pomogła niewdzięcznego rana.

Эта фразка написана одиннадцатисложнымъ стихомъ.

Въ 91 фразкѣ II кн. „O miłości“²⁾ поэтъ выражаетъ удивленіе тому, кто первый началъ изображать любовь въ видѣ ребенка — Амура. Онъ, видно, хорошо зналъ, что благодаря этому чувству люди теряютъ умъ, становятся какъ дѣти и дѣлаютъ такія же глупости, какъ и послѣднія. Не даромъ придалъ онъ крылья Купидону, какъ знакъ его быстрой измѣнчивости, и стрѣлы, которыя указываютъ на его способность причинять глубокія и неисцѣлимые раны. Поэтъ говоритъ,

¹⁾ См. W. P. II. 388.

²⁾ См. W. P. II. 392.

что и въ немъ поселился этотъ божокъ, только крылья, вѣроятно, отпали у него, такъ какъ онъ никуда не хочетъ улетать. Обращаясь къ Амуру, поэтъ удивляется, какое удовольствіе доставляетъ ему сидѣть въ его сухихъ костяхъ и не поражать другихъ своими стрѣлами, такъ какъ отъ поэта давно уже осталась одна только тѣнь; если и она погибнетъ, кто будетъ тогда такими красивыми стихами воспѣвать любовь? Подобный же мотивъ затронутъ въ 9 элегіи I книги. Эта фразка является подражаніемъ Проперцію (Lib. III carm. 12) и написана тринадцатисложнымъ стихомъ.

Оправдывая свою влюблчивость молодостью, поэтъ въ 77 фразкѣ первой книги „На мѣдош“¹⁾ говоритъ:

Jakoby tež rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą żeby młodzi nie szaleli.

Ту же мысль мы встрѣчали въ третьей элегіи первой книги.

Въ X пѣсни фрагментовъ²⁾ поэтъ говоритъ, что Парисъ по справедливости присудилъ золотое яблоко красавицѣй изъ трехъ богинь—Венерѣ. Такжѣ и поэтъ считаетъ самой красивой изъ всѣхъ смертныхъ свою возлюбленную. (Нѣсколько сильнѣе выражена эта мысль въ 12 эл. I кн.). Обращаясь къ ней, онъ говоритъ:

Służyć i hołdować tobie
Kładę ja za szczęście sobie,

при чёмъ просить не сомнѣваться въ своей вѣрности:

. póki ducha we mnie
Nie masz jeno slugę zemnie.

Послѣдній мотивъ затронутъ во многихъ латинскихъ стихотвореніяхъ Кохановскаго, напр. 8, III. 14, III и др. Пѣснь написана восьмисложнымъ стихомъ, имѣющимъ характеръ трохея.

Находясь подъ вліяніемъ античныхъ авторовъ, лучшаго выраженія для своей любви онъ не могъ найти, какъ известное стихотвореніе Катулла:

Ple mi par esse deo videtur,
Ple si fas est superare divos,
Qui sedens adversus identidem te

¹⁾ См. W. P. II. 357.

²⁾ См. W. P. II. 474.

Spectat et audit

Dulce ridentem

которое въ свою очередь переведено изъ Сафо:

„Φαίνεται μοι κῆρυς θεος θέοισιν
ἔμμεν ωντηρ, δοτις ἐναντίος τοι!
ἰζάνει καὶ πλασίον ἄδο φωνεύ-
σας ὑπακούει,
καὶ γελαίσας ἴμερόεν“.

Въ своемъ переводѣ этого стихотворенія (Fr. II. 88. Do Anny)¹⁾ Кохановскій съ самаго начала придерживается Катулла, съ той только разницей, что выраженія „par deo“ и „si fas est superare divos“ замѣнилъ онъ болѣе слабымъ:

Królowi rowien—i króla przechodzi.

Въ дальнѣйшемъ текстѣ стихъ:

Słowa nie moge domacać sie w sobie

стоить ближе къ выражению Сафо: φώνας οὐδὲν ἔτ’ εἴκει. Послѣдніе два стиха у Кохановскаго соответствуютъ не той строфѣ, которая заканчиваетъ стихотвореніе Катулла и не вяжется съ его цѣльмъ, а скорѣе греческому тексту Сафо:

ἀ δὲ μ, ὅδρως κακχέεται, τρόμος δὲ
πᾶσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ' ὀλίγῳ πιδευης
φαίνομαι (ἄλλα).

Такое отступленіе отъ Катулловскаго текста, который былъ въ рукахъ у Кохановскаго, показываетъ развитіе въ немъ критического чутья. Переводя чужое произведеніе, онъ вносилъ въ него свои собственныя мысли и чувства. Съ греческимъ текстомъ Сафо онъ могъ познакомиться, если не по парижскому изданію Генриха Стефана (Editio princeps Анакреона, Алкея и Сафо) 1554 года, то по венецианскому изданію Катулла того же года, гдѣ его текстъ сопоставленъ съ Сафо kommentаторомъ Маркомъ Антуаномъ Мирем. (Такъ наз. „Editio Aldina“).

28 фразка третьей книги „Do Magdaleny“²⁾, проникнутая страстнымъ чувствомъ и посвященная въ высшей степени пластическому описанію женской красоты, близко подходитъ къ предыдущей

¹⁾ См. W. P. II. 391.

²⁾ См. W. P. II. 414.

по своему содержанию. Изъ нея мы узнаемъ, что возлюбленная поэта была блондинкой съ золотистыми волосами.

Эта подробность встрѣчалась уже въ латинскихъ элегіяхъ нашего поэта къ Лидії.

Ukaź mi sie, Magdaleno, ukaź twarz swoje,
Twarz, która prawie wyraża rózgę oboję,
Ukaź złoty włos powiewny, ukaź swe oczy,
Gwiazdóm równe
I rękę alabastrową, w której zamknione
Serce moje

восхищается восхищенный поэтъ, но тотчасъ послѣ этого онъ сознается въ безуміи своего желанія. Уже и такъ, отъ созерцанія всѣхъ этихъ прелестей, онъ потерялъ всякую власть надъ собою. „Mowy niemam“, говоритъ онъ:

. . . . płomień po mnie tajemny chodzi,
W uszu dźwięk a noc dwoista oczy zachodzi.

Постѣднія строки очень напоминаютъ Катулла, а также и предыдущее стихотвореніе самого нашего поэта, гдѣ встрѣчается совершенно аналогичное выраженіе:

. . . . płomień się w mie kradnie,
W uszu mi piszczy, noc przed oczy padnie.

Описаніе возлюбленной, почти въ тѣхъ же самыхъ словахъ, не исключая и упоминанія о золотыхъ волосахъ, мы видѣли уже въ 12 элегіи I книги.

Эта фраза написана очень сильнымъ и красивымъ тринадцатисложнымъ размѣромъ и служитъ подражаніемъ одному стихотворенію изъ латинской антологіи¹⁾.

Не смотря на всѣ горячія признанія поэта, его возлюбленная не давала ему рѣшительного отвѣта, продолжая кокетничать съ нимъ. Недовольный такимъ положеніемъ, онъ, въ VII пѣсни Фрагментовъ²⁾, желаетъ ей встрѣтиться съ несчастьюемъ, за то что она ничего не обѣщаетъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ни въ чемъ не отказывается, утѣшалъ его только пустыми словами. Она все чего-то боится. Поэтъ говоритъ, что ему съ ней не мало хлопотъ и что кажется она шутить съ нимъ.

¹⁾ См. Anthol. latina ed. Burm. I. 651.

²⁾ См. W. P. II. 471.

„Nie karmże mię już tą nadzieję dalej,
Raczej mi powiedź: mój miły nie szalej“.
говорить ей влюбленный поэтъ.

Это очень живая пѣсенка, написанная красивымъ и выразительнымъ одиннадцатисложнымъ стихомъ. Каждая строфа, состоящая изъ двухъ стиховъ, сопровождается слѣдующимъ рефреномъ:

Biadasz mnie na cię, to mi głowę pсуjesz,
Inaczej niewiem, jeno mię czarujesz.

Наконецъ, сердце возлюбленной уступило горячимъ мольбамъ поэта. Его любовь нашла себѣ полную взаимность, и для Кохановскаго настала пора безмятежнаго счастья, которое онъ описываетъ яркими красками въ четвертой пѣсни первой книги¹⁾.

Золотую стрѣлу любви, которая поразила его, поэтъ считаетъ лишенной всякаго яда, такъ какъ въ своемъ сердцѣ онъ не видитъ уже прежней тоски, которую замѣнила невыразимая радость. Поэтъ доволенъ тѣмъ, что любовь избавила его отъ величайшаго несчастья служить тому, кто не благодарить за это. Прелести возлюбленной, и тѣлесныя, и духовныя, таковы, что передъ ними нѣть никакой возможности устоять даже тому, кто не хотѣлъ бы ей служить. Самое пламенное желаніе поэта—вѣчно пользоваться взаимностью своей возлюбленной.

Chciałbym tak bydź szczęśliwy i życzyłbym sobie,
Abych już tę na wieki łaskę znał po tobie:
A bodaj ta wdzięczna twarz odmiany nie znała,
Byś dobrze i Sibyllę laty przerównała.

Эта пѣснь нѣсколько напоминаетъ 11 элегію I книги и написана тринадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога. Стихъ отличается выработанностью и звучностью. Встрѣчаются очень образныя и красивыя выраженія. Две послѣднія строки представляютъ переводъ 15 и 16 стиховъ 2 элегіи II книги Проперція.

Не долго пришлось нашему поэту наслаждаться безоблачнымъ счастьемъ. Первымъ тяжелымъ для него впечатлѣніемъ была разлука съ возлюбленной. Тоску по ней Кохановскій передалъ въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній VII пѣсни первой книги²⁾.

Trudna rada w tej mierze, przijdzie się rozjechać

¹⁾ См. W. P. I. 272.

²⁾ См. W. P. I. 276.

съ глубокой грустью говоритъ поэтъ, собираясь оставить веселье и лютню до возвращенія своей милой. Обращаясь къ воспоминаніямъ о своей возлюбленной, поэтъ сравниваетъ ея лицо съ утренней зарею, передъ которой меркнутъ ясныя звѣзды. Онъ завидуетъ дорогѣ, по которой будутъ идти ея красивыя ноги, густымъ лѣсамъ и высокимъ скаламъ, которые будутъ созерцать ея красоту, слышать ея мілый голосъ, по которымъ тоскуетъ его бѣдное сердце. Единственнымъ утѣшениемъ для поэта остается надежда:

W nadziei ludzie orzą, i w nadziei sieją.

Стихотвореніе заканчивается просьбой къ возлюбленной не быть съ нимъ суровой и не оставлять его долго лишеннымъ наслажденія видѣть ея красоту. (Мотивъ обѣ отъѣздѣ возлюбленной встрѣчался уже въ 13 элегіи первой книги). Все это стихотвореніе проникнуто сильнымъ и глубоко искреннимъ чувствомъ. Тринадцатисложный стихъ съ цезурою послѣ седьмого слога отличается рѣдкой отдѣланностью. Языкъ такъ и блещетъ красивыми оборотами и образностью, какъ видно, напримѣръ, изъ слѣдующаго сравненія:

Twoje nadobne lice jest podobne zarzy,

Ktora nad wielkim morzem rano sie czerwieni,

A z nienagla ciemnosci nocne w swiatlosc mieni,

Przed nią gwiazdy drobniejsze po jednej znikaja

I tak juž przyszlej nocy nieznacznie czekaja.

На ряду съ этимъ стихотвореніемъ по формѣ и по содержанию можетъ быть поставлена VIII пѣснь той же книги¹⁾. Тоскуя по возлюбленной, поэтъ желаетъ, чтобы ей, где бы она ни была, Богъ послалъ счастье. О себѣ говоритъ онъ:

Jaciem twój był, jako żywo, i twoim zginę.

Такъ Богъ предопредѣлилъ отъ вѣка. Обѣ этомъ поэты нисколько не жалѣть, такъ какъ при внешней красотѣ его возлюбленная одарена также высокими духовными качествами. Ему хотѣлось бы, не разлучаясь съ нею, еще больше убѣдиться въ этой мысли, но человѣкъ долженъ въ жизни, подобной бурному морю, плыть туда, куда его несетъ вѣтеръ. Всегда поэтъ выражаетъ надежду на исполненіе своего желанія, надежду, безъ которой онъ умеръ бы. Въ этомъ стихотвореніи заключается частица горечи уже разъ обманутаго, человѣка, какъ видно изъ слѣдующихъ стиховъ:

¹⁾ См. W. P. I 277.

Jednak albo miłość zmyśla sny sama sobie,

Albo i ty niechcesz, bych miał zwętpić o tobie.

Такъ не говорилъ бы юноша, счастливый своей первой любовью. Это стихотвореніе также должно быть отнесено къ однимъ изъ лучшихъ въ лирикѣ Кохановскаго, благодаря своей образности и силѣ чувства. Упоминаніе о нравственныхъ качествахъ возлюбленной мы видѣли въ 12 элегіи I книги. Желаніе поэта оставаться вѣрнымъ до гроба уже встрѣчалось намъ въ его латинской поэзіи.

Въ 70 фрапкѣ второй книги¹⁾ поэтъ выражаетъ также тоску по возлюбленной, безъ которой какъ бы зашло для него солнце. А когда она была съ нимъ, и въ полночь казалось ему, что день на небѣ. Подобный мотивъ мы уже видѣли въ четвертой элегіи первой книги. Это четверостишие написано тѣмъ же размѣромъ, что и двѣ предыдущія пѣсни, и отличается такими же литературными достоинствами.

Не будучи въ силахъ перенести тоски своего одиночества, поэтъ пишетъ возлюбленной письмо (фрапка 19 III книги „Do Reiny“²⁾), въ которомъ называетъ ее своей королевой, говорить, что рѣшился написать ей, въ надеждѣ доставить ей этимъ удовольствіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, хоть сколько-нибудь развлечься самому. Поэтъ, завидуетъ своему письму, которое будетъ въ ласковыхъ рукахъ его возлюбленной. Быть можетъ, она поцѣлуется этотъ маленькой листокъ бумаги. Заканчиваетъ поэтъ свое письмо сожалѣніемъ, что человѣкъ не обладаетъ волшебной силой превращаться въ свои произведенія. Это стихотвореніе написано одиннадцатисложнымъ размѣромъ. Чувство въ немъ не отличается той непосредственной искренностью, какъ въ предыдущихъ стихотвореніяхъ. Оно носитъ скорѣе условный характеръ произведенія, созданного по готовому шаблону распространенныхъ въ то время эротическихъ стихотвореній.

Сколько времени продолжался счастливый періодъ любви поэта, на основаніи его стихотвореній нѣтъ никакой возможности определить даже приблизительно. Извѣстно только, что возлюбленная стала охлаждать къ нашему поэту. Тщетно ждалъ ея Кохановскій въ условленный между ними часъ тайного свиданія. Она не приходила, повергая поэта въ глубокое огорченіе. Мы видѣли уже упоминаніе объ этомъ въ его латинскихъ элегіяхъ и въ польскихъ стихотвореніяхъ.

¹⁾ См. W. P. II. 386.

²⁾ См. W. P. II. 410.

мы имъемъ 75 фрашку второй книги „Do Anny“¹⁾, гдѣ поэтъ говоритъ, обращаясь къ возлюбленной, что онъ вчера послѣ тщетнаго ожиданія написалъ ей

Ten rym nieg adki, zka dby  serca mego
Frasunk pozna a

Здѣсь, по всей вѣроятности, идетъ рѣчь о вышеприведенной десятой элегіи первой книги. Ожидая возлюбленную, поэтъ считалъ часы и старался найти причину ея замедленія. За какое дѣло онъ ни принимался, читать ли, или играть на лютнѣ, все ему не удавалось. Наконецъ, взявшикъ за перо, онъ сталъ писать ей, укоряя ее за то, что она, дочь правдиваго отца, рѣшилась солгать. За этимъ занятіемъ его засталъ сонъ, который

Gniew upokoi , nadzieje umorzy .

Изъ этой фрашки мы узнаемъ одну біографическую подробность о возлюбленной поэта: она была, какъ видно, дочерью хорошихъ родителей, чѣмъ, вѣроятно, и объясняется ея переодѣваніе въ мужской костюмъ и стараніе сохранить свое инкогнито. Очевидно, она не была простой куртизанкой, какъ стараются доказать некоторые изъ біографовъ Кохановскаго. По сравненію съ аналогичной по содержанію десятой элегіей, это стихотвореніе стоитъ гораздо ниже, въ немъ менѣе силы и выразительности; оно, вѣроятно, написано уже послѣ, въ минуту рефлексіи, хотя нельзѧ ему отказать въ искренности тона и выдержанности одиннадцатисложнаго стиха.

Поэтъ не видитъ настоящей причины ея холодности къ нему, которую онъ объясняетъ въ 26 фрашѣ третьей книги „O Necie“²⁾ тѣмъ, что она слишкомъ гордится своей красотою, не благодарить за привѣтствія и съ пренебреженіемъ топчетъ ногами повѣшенный надъ ея дверью вѣнокъ. (Упоминаніе о вѣнкахъ встрѣчалось намъ въ 17 элегіи III кн. и 11, II). Въ наказаніе за это поэтъ призываѣтъ на ея голову старость со всѣми ея непріятными послѣдствіями, внушенія которой будутъ имѣть въ ея глазахъ большую цѣну. Мотивъ о краткости молодости мы видѣли въ 8 и 14 элегіяхъ III кн., VII одѣ, 1 элегіи II кн., 17, III кн. Эта фрашка написана тринадцатислож-

¹⁾ См. W. P. II. 387.

²⁾ См. W. P. II. 414.

нымъ размѣромъ и представляетъ переводъ одного изъ стихотвореній греческой антологіи¹⁾.

Наконецъ, поэтъ узнаетъ горькую истину объ ея измѣнѣ, па что съ глубокой печалью жалуется въ XII пѣсни первой книги²⁾. По его словамъ, лучше бы онъ не вѣрилъ, еслибы зналъ, что ему придется такъ горько сожалѣть о предметѣ, который даже никогда не принадлежалъ ему. Его сердце напрасно питалось надеждами, которыя вдругъ разлетѣлись, какъ дымъ. Надъ нимъ, такимъ ревностнымъ поклонникомъ своей возлюбленной, смѣется теперь счастливый соперникъ, который безъ труда и особенной заботливости получилъ ея любовь. Даѣе, въ прекрасныхъ образныхъ выраженіяхъ, Кохановскій сравниваетъ свое потерянное счастье съ виноградникомъ, за которымъ онъ самъ ревностно ухаживалъ, защищая его отъ вредныхъ птицъ и звѣрей, поливая отъ лѣтняго зноя и закрывая отъ мороза. И какъ разъ въ то время, когда онъ долженъ быть наслаждаться чудными плодами своего виноградника, какой-то злой человѣкъ оборвалъ его спѣлыя гроздя и повергъ поэта въ глубокое отчаяніе. На голову этого злодѣя несчастный поэтъ посыпаетъ всякия невзгоды. Заканчиваетъ Кохановскій свое стихотвореніе грустной насмѣшкой надъ своей судьбою:

Ja sobie tak dobrych lat doczekać nie tuszę;

Podobno jako niedźwiedź, łapę lizać muszę.

Мотивъ объ измѣнѣ и о счастливомъ сопернику мы видѣли въ 6, 8 и 14 элегіяхъ III кн., 1. II кн. Эта пѣснь написана прекраснымъ тринадцатисложнымъ стихомъ. Вся она проникнута тихимъ элегическими настроеніемъ, въ ней нѣть бурного отчаянія, горькихъ слезъ и бѣшеныхъ проклятій измѣнницъ. Здѣсь поэтъ пришелъ къ тому грустному заключенію, что сердце его милой въ сущности никогда и не принадлежало ему. Этого нельзя понимать въ томъ смыслѣ, что поэтъ не видѣлъ съ ея стороны никакихъ признаковъ расположенія. Противъ этого говорять тѣ ласки, которыя нѣкогда доставались на его долю. Однако, обладая ею, онъ не владѣлъ ея сердцемъ, иначе, какъ онъ думаетъ, она не могла бы измѣнить ему. Трогательной красотой и нѣжностью отличается сравненіе пережитой любви съ виноградникомъ:

¹⁾ См. Anthol. graeca ed. Jacobs III. 103.

²⁾ См. W. P. I. 282.

Samem swą własną ręką tę winnicę grodził,
Aby jej był ani zwierz, ani zły ptak szkodził,
Polewałem, żeby jej słońce nie suszyło,
Nakrywałem, żeby jej zimno nie mroziło.

Такія строки могли выплыться только изъ чуткай и нѣжной души, одаренной при этомъ богатымъ талантомъ.

XV пѣснь первой книги¹⁾ посвящена также жалобамъ на измѣну возлюбленной. Не видя съ своей стороны никакихъ поводовъ къ этому, поэтъ выражаетъ предположеніе, что ей сильное понравился кто-нибудь другой. Отвергнутому поэту остается только примириться съ судьбой и удивляться непостоянству женщинъ, которая меняются, какъ лѣтній вѣтерокъ. (Этотъ мотивъ встрѣчался уже въ 10 элегіи первой книги). Еще недавно поэта можно было отнести къ числу счастливыхъ, для котораго все доступно. Тогда онъ чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ на небѣ. (См. 3 элегію I кн. и 11. I). А теперь повѣяли иные вѣты, и поэтъ лишился всего вмѣстѣ съ надеждой, какъ-будто какая-то злая волшебница околовала его словами, полными измѣны.

Не смотря на такой проступокъ своей возлюбленной, Кохановскій желаетъ ей счастья, съ кѣмъ только ни сведетъ ее судьба. Онъ даже предостерегаетъ ее, говоря, что трудно найти искренняго друга. Его можно разыскать только одного изъ многихъ. Не слѣдуетъ довѣрять тому, кто любить одну лишь красоту. Такой человѣкъ стоитъ на шаткой почвѣ, такъ какъ съ каждымъ днемъ люди теряютъ частичку своей красоты.

Когда же настанетъ послѣдняя минута, едва ли найдется, кто похоронилъ бы мертвое тѣло. (Не будемъ повторять перечня латинскихъ элегій, гдѣ затронуть тотъ-же самый мотивъ). Такимъ истиннымъ другомъ поэтъ выставляетъ самого себя, только ему хотѣлось бы больше, чтобы она плакала на его могилѣ.

Послѣдняя мысль особенно хорошо выражена въ 6 элегіи первой книги рукописи Осмульскаго. Все это стихотвореніе проникнуто сильнымъ и глубокимъ чувствомъ, доходящимъ до высшихъ предѣловъ, до полнаго самоотреченія. Здѣсь нѣть места эгоистической ревности; ее заслонила безграницная любовь, которая заботится только о счастъѣ

¹⁾ См. W. P. I. 285.

своей избранницы. Въ этомъ произведеніи встречаются очень красивые образы; звучный одиннадцатисложный стихъ съ цезурой послѣ пятаго слога вездѣ одинаково выдержанъ и отличается легкостью. Это стихотвореніе также можетъ быть поставлено на ряду съ лучшими произведеніями польской лирики.

Трудно было пылкой натурѣ Кохановскаго успокоиться на такомъ самоотречениіи. Всѣмъ существомъ своимъ онъ жаждалъ взаимности и счастья. Наперекоръ разуму, надежда не умирала въ его груди. Цѣлые ночи онъ проводилъ у дверей своей возлюбленной, разсчитывая тронуть ея непреклонное сердце и возвратить потерянное счастье. Однако, надеждамъ его не суждено было осуществиться. Объ этомъ свидѣтельствуетъ XXI пѣснь первой книги¹⁾. „Ты спиши“, говорить онъ своей возлюбленной: „а я принужденъ еще отъ вечерней зари терпѣть непогоду. Слышиши, какъ дождь, смѣшанный съ градомъ, бьетъ въ твои стѣны? Проснись, жестокая, и скажи мнѣ хоть одно словечко“. (См. 5 элегію II кн., 8 и 14 III кн., 3, II кн. Осмульскаго). Если голосъ поэта не долетаетъ до возлюбленной, онъ обращается къ ночнымъ тѣнямъ и безжизненнымъ камнямъ съ просьбой, чтобы они слушали его, подобно тому, какъ никогда скалы внимали Амфіоновой лютнѣ и суровыя фуриі плакали подъ звуки жалобной пѣсни Орфея, которому удалось смягчить непреклонныхъ боговъ и получить потерянную жену. Однако, по своей неосторожности, онъ лишился опять своего счастья.

Czekać już, nieboże, było.
Ale gdy co komu miło,
Trudno wytrwać i czas mały:
Godzina tam jak rok cały.

(Послѣдній мотивъ встрѣчался намъ въ 8 эл. III кн. и 6. II кн.). „А я“, говоритъ поэтъ: „долго ли еще буду бряцать на струнахъ моей лютни? Вотъ уже слышится звонъ у монаховъ. Я не спаль, а они уже встали“.

Dobra noc, jeśli kto słyszy.
A mój więniec w tej zlej ciszy
Niechaj wisi do świtania,
Świadek mego niewyspania.

¹⁾ См. W. P. I. 294.

Упоминаніе о вѣнкѣ и серенадахъ мы встрѣчали въ 11 элегіи II книги рукописи Осмульского съ той разницей, что тамъ вмѣсто лютни названа „хриплая флейта“. Эта пѣснь, несмотря на слабое подражаніе десятой одѣ третьей книги Горація къ Лікѣ, отличается оригинальностью и живостью, которой въ значительной степени способствуетъ восьмисложный стихъ съ характеромъ трохея. Встрѣчаются въ немъ также чисто народные обороты, даже въ тѣхъ мѣстахъ, где поэтъ касается миѳологическихъ сюжетовъ. Напримѣръ, въ разсказѣ о вторичномъ несчастьѣ Орфея стоитъ слѣдующее выраженіе:

Czarci panią zaś porwali,

или уже приведенные нами строки, въ которыхъ описывается трудность имѣть терпѣніе при сильной любви.

Въ XXV пѣсни первой книги¹⁾ поэтъ заставляетъ двери жаловаться на беспокойство, каждую ночь причиняемое имъ посѣтителями какой-то живущей въ этомъ домѣ женщины сомнительной репутаціи. Въ особенности одинъ изъ нихъ надоѣдаетъ дверямъ, обращаясь къ нимъ съ мольбой склонить къ нему сердце его возлюбленной. Тяжелая тоска заставляетъ его проводить цѣлые ночи у этого холоднаго порога. Несчастный думаетъ, что еслибы его жалобы услышала возлюбленная, то она непремѣнно смиливалась бы надъ нимъ и хоть разъ вздохнула, если-бы даже вмѣсто сердца у нея былъ камень или желѣзо. Теперь она поконится въ счастливыхъ объятіяхъ другого, а жалобы ея отвергнутаго поклонника напрасно разносятся вѣтромъ. Даже двери обвиняютъ несчастный въ томъ, что онъ забыли признательность, которую онъ всегда оказывалъ имъ и теперь равнодушны къ его горькимъ слезамъ въ продолженіе цѣлой ночи. Стихотвореніе заканчивается неудовольствиемъ дверей на ихъ госпожу за ея дурное поведеніе и на плачъ ея отвергнутаго поклонника. (Тотъ же самый сюжетъ разработанъ въ 8 и 14 элегіяхъ третьей книги, 5. II и 11. II рукописи Осмульского). Это стихотвореніе отличается излишней растянутостью и искусственнымъ характеромъ. Впрочемъ, значительная доля этой вины падаетъ на Проперція²⁾, которому Кохановскій подражалъ до 25 стиха, а съ слѣдующаго стиха началъ прямо переводить изъ него. Въ началѣ, однако, встречаются живыя сценки въ

¹⁾ См. W. P. I. 299.

²⁾ См. Propercii carmina I. 16.

описанія различнаго стука въ злополучныя двери. Недурна также жалоба отвергнутаго, который цѣлыя ночи проводить у порога своей возлюбленной. Въ общемъ, стихотворенію недостаетъ силы и выразительности. Тринадцатисложный стихъ съ цезурой послѣ седьмого слога вездѣ въ одинаковой степени выдержанъ.

Наконецъ, поэтъ узнаетъ истинную причину измѣны своей возлюбленной. Въ 39 фразкѣ первой книги „Z Anacreonta“¹⁾ поэтъ говоритъ, что тяжело любить, въ особенности, если нѣтъ взаимности.

Zacnośc w miłości za nic, fraszka obyczaje,

Na tego tam naraczej patrzaj, kto daje.

(Та же мысль почти въ такихъ же выраженіяхъ встрѣчалась намъ въ 3 рукописной элегіи II книги). Пусть погибнетъ тотъ, кто первый сталъ пѣнить любовь за деньги и этимъ испортилъ весь свѣтъ. Отсюда произошли раздоры, убийства,

„ a co jeszcze więcej,

Nas chude co miłujem, to gubi napręcej,

заключаетъ огорченный поэтъ.

Эта фразка, написанная хорошимъ тринадцатисложнымъ стихомъ, хотя и переводная, тѣмъ не менѣе, отличается силой чувства и проникнута искреннимъ негодованіемъ человѣка, глубоко оскорбленааго въ своихъ лучшихъ чувствахъ. По содержанію она соотвѣтствуетъ 6, 8, 14 и 17 элегіямъ III кн., 3. II и 8. I рукописи Осмульского.

Такимъ же благороднымъ негодованіемъ и гордостью дышитъ XI пѣснь фрагментовъ²⁾. Глаза поэта открылись, онъ сознается, что не все то правда, о чёмъ онъ говорилъ раньше, преувеличивая подъ вліяніемъ любви достоинства избранницы своего сердца и совершенно не замѣчая ея недостатковъ. Чего раньше не могли сдѣлать ничьи увѣщанія и никакія чары, поэтъ теперь достигъ самъ путемъ своего внутренняго убѣжденія. А когда-то онъ всей душой былъ преданъ своей возлюбленной, которая оказалась неблагодарной и поэтому уже не будетъ имѣть въ его лицѣ своего вѣрнаго слуги. Когда-нибудь она вспомнитъ о его добротѣ и не разъ заплачетъ отъ жалости о по-

1) См. W. P. II. 346. и Anacreontis carmina. Carm. 44. ed. Moeb.

2) См. W. P. II. 475.

терянномъ другъ, который совершенно забылъ о ней среди своихъ пустынныхъ лѣсовъ.

Стихотвореніе, написанное одинадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ пятаго слога, представляетъ изъ себя подражаніе 23 элегіи третьей книги Проперція. Въ немъ встрѣчается не мало очень красивыхъ мѣстъ, какъ, напримѣръ, описание возлюбленной поэта. Эта пѣснь вполнѣ соотвѣтствуетъ 6 элегіи II книги. Не смотря на гордое презрѣніе, которое поэтъ старался показать своей возлюбленной, прежнее чувство къ ней не покидало его сердца. Испытывая горе, благодаря ея измѣнѣ, онъ въ 51 фрашѣ второй книги¹⁾ обращается за совѣтомъ къ Андрею, которому онъ могъ довѣрить „bezpieczne wszytko, co mi serce kruszy“. Такимъ другомъ Кохановскаго во время его падуанской жизни былъ никто иной, какъ Андрей Патрицій Нидецкій. Къ нему именно и обращается поэтъ въ данной фрашѣ. Андрею известно, что неблагодарная возлюбленная не особенно высоко цѣнитъ заслуги передъ ней поэта. За всѣ поднесенные ей дары, за всѣ сложенные въ ея честь стихотворенія поэтъ стыдится теперь, такъ какъ онъ во всемъ этомъ не зналъ мѣры. Сравнивая ея тѣло съ румяной зарею, онъ не зналъ, что она кладетъ на свое лицо покупныя краски. (Упоминаніе о косметикахъ мы встрѣчали въ 8 элегіи II книги). Онъ хвалилъ ея недостойное похвалы поведеніе. За эту неправду она воздаетъ ему обманомъ. Теперь, пока гнѣвъ еще свѣжъ въ его сердцѣ, пока сильно въ немъ чувство обиды, онъ просить друга, чтобы тотъ хоть чѣмъ-нибудь помогъ ему и вырвалъ его изъ неволи, такъ какъ сердце его полно невыразимой болью.

Это искреннее признаніе несчастного поэта своему лучшему другу насквозь проникнуто горькимъ разочарованіемъ, которое, однако, не въ силахъ побѣдить въ немъ поруганной любви. Здѣсь такъ много психологической правды, такъ много знанія человѣческаго сердца, что не остается никакого сомнѣнія въ дѣйствительности испытываемыхъ поэтомъ чувствъ. Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ новое подтвержденіе той мысли, что поэтъ, въ самомъ дѣлѣ, пережилъ въ Падуѣ сильную любовь со всѣми ея стадіями, которая и отразилась въ его произведеніяхъ. Если-бы Кохановскій писалъ это сти-

¹⁾ См. W. P. II. 379.

хотвореніе по готовому шаблону, онъ никогда не упоминалъ бы о томъ, что сердце его все еще продолжаетъ болѣть безъ взаимной любви, онъ скорѣе разразился бы самыми страшными проклятіями по адресу измѣнницы, чѣмъ разсыпался въ искреннихъ сътвованіяхъ горькаго разочарованія. По своей формѣ это стихотвореніе не имѣетъ почти никакихъ крупныхъ недостатковъ сравнительно съ другими. Языкъ хорошъ, тринадцатисложный стихъ вездѣ выдержанъ, цезура стоитъ на своемъ мѣстѣ.

Это обращеніе къ Андрею было написано поэтомъ во время отсутствія первого, какъ видно изъ 59 фразки второй книги¹⁾.

По словамъ Кохановскаго, его скорбь была бы не такъ сильна, если-бы Андрей такъ долго не задерживался какимъ то жестокимъ человѣкомъ. Наконецъ, вернувшись отъ него, Андрей оставилъ тамъ свою душу. Слѣдовательно поэту нельзя ждать отъ своего друга никакого утѣшенія; напротивъ, ему самому придется лѣчить его отъ этой болѣзни, средствъ для исцѣленія которой нужно искать только въ ней самой, но при этомъ необходимо осторегаться, чтобы самому не остатся тамъ, откуда желаешь вернуть свою душу.

Это теплое и задушевное стихотвореніе показываетъ, что и Ницѣкій былъ влюбленъ почти одновременно съ нашимъ поэтомъ, о чёмъ мы имѣемъ также свидѣтельство въ латинскихъ элегіяхъ Кохановскаго. Эта фразка примыкаетъ по содержанію къ разобранной нами выше и написана тѣмъ же самимъ тринадцатисложнымъ размѣромъ.

Не найдя въ другѣ своемъ желаемаго утѣшенія, предоставленный самому себѣ поэтъ въ XXIII пѣсни первой книги¹⁾ выражаетъ сначала ту мысль, что хотя и слѣдовало бы молчать о своемъ горѣ, чтобы врагъ не зналъ о немъ, однако лучше сразу излить всѣ свои жалобы и, вмѣсть съ тѣмъ, отблагодарить своего недруга. Далѣе поэтъ сѣтуетъ на себя за то, что онъ такъ много страдалъ, между тѣмъ какъ другому подобное несчастье показалось бы пустякомъ, за то, что такъ долго позволялъ водить себя за ность. Онъ напрасно хотѣлъ побѣдить злость ласковымъ обхожденіемъ и неблагодарность своимъ постоянствомъ. Въ заключеніе онъ прощается съ воротами,

¹⁾ См. W. P. II. 382.

²⁾ См. W. P. I. 297.

которые были свидѣтелями его частыхъ посѣщеній и горя, желая, чтобы плѣсень и паутина покрыла ихъ, а замки съѣла ржавчина. Это стихотвореніе написано тринадцатисложнымъ размѣромъ. Тотъ же самый мотивъ былъ разработанъ Кохановскимъ въ 14 элегіи III кн. Гораздо лучше почти та-же самая мысль выражена въ 73 фразѣ первой книги „Do Jana“²⁾. Обращаясь къ самому себѣ, поэтъ говоритъ, что пора ему отказаться отъ прежняго намѣренія вернуть потерянное счастье, потому что, рано или поздно, человѣку приходится стыдиться того, что раньше ему было милымъ. Ту красоту, которую теперь онъ такъ высоко цѣнитъ, узнавши правду, надо будетъ цѣнить гораздо ниже. Въ данномъ случаѣ лучше предупредить теченіе времени и направить свои паруса въ иную сторону. Испытавши измѣну, можно знать, что такое искренній другъ. Заключается эта фразка обращеніемъ къ Венерѣ, чтобы она отомстила возлюбленной поэта за его вздохи и слезы. (Мысль о мести встрѣчалась намъ въ 17 элегіи III книги). Отъ этой фразки вѣеть глубокимъ разочарованіемъ и полной безнадежностью. Это очень красивое стихотвореніе написано тринадцатисложнымъ размѣромъ.

Горькое чувство оскорбленного поэта начинаетъ понемногу успокаиваться. Такимъ примиряющимъ характеромъ отличается XXII пѣснь первой книги¹⁾, гдѣ онъ обращается къ своему разуму съ соѣтомъ перестать стремиться къ тому, что безвозвратно погибло. Въ свое время и онъ наслаждался полнымъ счастьемъ, и ему удавалось получить все, что только онъ желалъ, а теперь небо не благопріятствуетъ поэту.

Cóz temu rzec? i szkoda g³owy psowaæ.

Lepiej siê nam na lepsze czasy chowaæ.

Кохановскій говоритъ, что такому несчастью онъ подвергся не безъ участія своей воли, такъ какъ, если бы не было этого потеряннаго предмета, то все равно нашелся бы другой, который причинилъ бы ему по своей утратѣ не меныше боли. Но люди въ такихъ случаяхъ умѣютъ скрывать свое горе, чего не дано поэту, такъ какъ его лицо выдаетъ всякую сердечную тревогу.

„Wszako¿ widzê, заканчиваетъ поэтъ, że siê
prózno frasowaæ, co zginęło trudno tego wetowaæ“.

¹⁾ См. W. P. II. 355.

²⁾ См. W. P. I. 296.

Послѣдніе два стиха представляютъ съ незначительнымъ измѣненіемъ повтореніе первыхъ двухъ стиховъ, что вмѣстѣ съ образностью языка и выдержанной одинадцатисложного стиха съ цезурой послѣ четвертаго слога придаетъ этой пѣсни очень красивую форму. Общий тонъ этого стихотворенія уже гораздо спокойнѣе, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ. Видно, что поэтъ уже можетъ относиться объективно къ своему несчастью, неизбѣжность котораго онъ ясно сознаетъ. Тотъ успѣхъ, которымъ онъ пользовался раньше, и надежда на лучшее будущее нѣсколько примиряютъ его съ печальной участью. Выраженіе „wyda mię twarz, gdy się serce zle czuje“ мы уже встрѣчали въ XXXV эпиграммѣ въ „Фориценіяхъ“. Только что разобранное нами стихотвореніе сильно напоминаетъ утѣшеніе Венеры въ 4 элегіи II книги.

Окончательно примирившись съ измѣной и равнодушіемъ своей возлюбленной, Кохановскій въ 69 фрашкѣ второй книги „Do Wenegry“¹⁾ просить богиню, чтобы она исполнила то, на что онъ раньше надѣялся, и этимъ самимъ избавила поэта отъ насыщеннаго извѣстнаго ей врага,

Bo lepsza pewna wolnośc, niž roskosz wątpliwa.

Ta zawѣdy zemna, a z tej czesto nic niebywa.

Тщетны заботы и старанія, которыми покупается фальшивая любовь. Однако поэту подозрительны сладкія слова и смѣхъ Венеры, со стороны которой онъ боится какихъ-нибудь новыхъ козней.

Jako chcesz aleć tego pełne będa karty,

Chociać mój płacz u ciebie śmiech tylko a żarty.

Такъ заканчиваетъ свою фрашку вполнѣ успокоившійся послѣ пережитаго горя поэтъ, который готовъ даже отдаться новому чувству. Эта фрашка написана тринацдатисложнымъ стихомъ съ цезурой послѣ седьмого слога и отличается живостью. Нѣкоторые обороты въ ней, какъ, напримѣръ, „lepsza pewna wolnośc, niž roskosz wątpliwa“, напоминаютъ народныя поговорки.

Только что разобранныя нами польскія стихотворенія Кохановскаго гораздо полнѣе, чѣмъ его латинскія элегіи, освѣщаются внутреннюю психологическую сторону его романа съ Лидіей. Изъ нихъ мы имѣемъ право вывести заключеніе, что любовь поэта не увлеклась одной только внѣшней красотой Лидіи, но осуществляла въ ней

¹⁾ См. W. R. II. 385.

известный нравственный идеалъ, что взаимность избранницы сердца досталась поэту послѣ долгихъ усилій. Когда Кохановскій сталъ замѣтать первые признаки нерасположенія со стороны своей подруги, онъ всетаки не переставалъ вѣрить ей. Даже измѣна, раскрывшая ему глаза на все ея неприглядное поведеніе, на ловко маскируемую до сихъ поръ продажность, не могла исцѣлить пламенно любящаго поэта отъ его глубокаго чувства. До послѣдней минуты онъ не теряетъ надежды спасти заблудшую, вернуть ее на путь добродѣтели, чтобы послѣ этого никогда уже не разлучаться съ нею. Когда его и въ этомъ постигла полная неудача, онъ, всетаки, не можетъ побѣдить въ себѣ пламенной любви къ недостойной избранницѣ. Желая хоть чѣмъ-нибудь помочь себѣ въ этомъ отношеніи, онъ обращается къ самому искреннему изъ своихъ друзей, Андрею Патрицію Нидецкому. Не найдя у него желаемаго утѣшенія, поэтъ самъ начинаетъ понемногу успокаиваться и, наконецъ, съ корнемъ вырывается изъ сердца былой любовь.

Мы не будемъ распространяться о высокихъ литературныхъ достоинствахъ этихъ стихотвореній, какъ первыхъ образцовъ польской эротической лирики, въ которой до сихъ поръ за ними нужно признавать выдающееся мѣсто, на ряду даже съ сонетами Мицкевича и произведеніями другихъ корифеевъ польского Парнаса.

V.

Путешествіе Кохановскаго по Италии. Гипотеза о возвращеніи его въ 1556 г. на родину при содѣйствіи Оссолинскаго. Седьмая элегія второй книги и соотвѣтствующая ей вторая II кн. рукописи Осмульскаго. Вторичное посѣщеніе имъ Италии. Эпитафія Эразму Кретковскому. Поѣзда Кохановскаго во Францію. Впечатлѣнія, съ которыми встрѣтился онъ въ Парижѣ. Ронсаръ. Состояніе парижскаго университета. Съ кѣмъ изъ сверстниковъ могъ встрѣтиться Кохановскій. Эпиграмма „Ad Gallam“. Окончательное возвращеніе его на родину.

Въ 1555 году свирѣпствовала въ Падуѣ эпидемія, которая произвела громадное опустошеніе въ городѣ и даже заставила венеціанскоѣ правительство подумать о перенесеніи университета въ Венецию. Вѣроятно, въ этомъ году и Кохановскій не оставался въ Падуѣ, а рѣшилъ предпринять поѣздку по разнымъ городамъ, которая была

въ обычай у гуманистовъ того времени. Скрѣпя сердце, покинуть онъ свою возлюбленную и направился въ далекую дорогу; тогда именно онъ посѣтилъ почти всю Италію, какъ видно изъ упоминанія въ одной изъ его элегій¹⁾ тринацати итальянскихъ рѣкъ, двухъ озеръ и Лукринскихъ болотъ, съ прибавленіемъ вполнѣ подходящихъ къ нимъ эпитетовъ. Всѣ эти рѣки и озера онъ долженъ былъ видѣть въ окрестностяхъ Венеции, Рима и Неаполя. О первомъ изъ этихъ городовъ сохранилось въ его стихотвореніяхъ два воспоминанія: „De spectaculis D. Marci“—Foric. 17. 4—5²⁾ и „Ad puellas fenetas“. Дорога въ Римъ вела на Феррару, Болонью, Флоренцію и Сіену. Объ этихъ городахъ въ произведеніяхъ Кохановскаго нѣть никакихъ упоминаній, за исключеніемъ Сіены, которая въ то время была въ осадномъ положеніи. О пребываніи его въ Римѣ свидѣтельствуютъ, во первыхъ, описание этого города въ четвертой элегіи третьей книги и воспоминаніе въ фразкахъ³⁾. Однако, вѣчный городъ не произвелъ на нашего поэта особенно сильнаго впечатлѣнія.

Illa deum sedes, orbis caput, aurea Roma
Vix retinet nomen semisepulta suum.

Такъ выражается онъ обѣ этомъ городѣ.

Оттуда Кохановскій направился въ Неаполь, привлекаемый желаніемъ увидѣть тѣ лѣса,

gdzie z艂otej rózgi szukał Aeneasz przed czasy,
Gdzie piekło jest i ogromna skała,
Z której wieszcza Sibylla odpowiedź dawała⁴⁾.

Путешествие это, какъ мы уже выше говорили, было предпринято имъ исключительно съ гуманистическими цѣлями и, следовательно, должно было, въ болѣе или менѣе сильной степени, способствовать его знакомству съ итальянской наукой и литературой. По возвращеніи въ Падую, Янъ встрѣтилъ уже известную намъ измѣну со стороны Лидіи. Освободившись отъ своей неудачной любви, онъ написалъ уже упомянутую нами элегію въ честь Карла V. Однако, чувство не прошло еще окончательно. Нашелся тогда другъ, который

¹⁾ См. El. III. 4.

²⁾ См. W. P. III. 193.

³⁾ См. W. P. II. 370.

⁴⁾ См. W. P. II. 401 и 371, а также El. IV. 1.

laboranti succurrit primus amico,

Nec me est in duris passus egere locis

Tentavitque vias omnes si forte mederi

Errori posset, stultitiaque meae.

Это именно и былъ какой-то Оссолинскій, какъ видно изъ 10 эпиграммы въ Фориценіяхъ, который отправилъ несчастнаго поэта на родину. Въ 1557 году Кохановскій былъ уже въ Польшѣ, гдѣ его ожидалъ новый ударъ: смерть матери, случившаяся въ его отсутствії. Если-бы послѣднее событие побуждало его вернуться домой, то онъ не преминулъ бы упомянуть объ этомъ въ элегіи къ Оссолинскому. Какъ бы то ни было, онъ поставилъ надъ свѣжей могилой своей горячо любимой матери простую каменную плиту, какую только позволяли его скромныя средства. Единственнымъ несомнѣннымъ доказательствомъ его пребыванія на родинѣ служитъ элегія¹⁾, которой онъ привѣтствуетъ Сигизмунда Августа послѣ Инфлянтскаго похода:

Rex *hodie* Augustus *victoria signa reportans*,

Arctois rediit ab aequoribus.

Событие это произошло въ сентябрѣ 1557 года, по заключеніи мира съ Фюрстембергомъ.

Sparge, puer, violas et stactae profer odores,

Et remove lymphas et mihi funde merum.

Non ego aquam, si sim malus usque poëta futurus,

Sit licet Aonio fonte petita, bibam.

Prome chelym, laetis aptentur carmina nervis,

Certum est hunc festos inter habere dies.

Такимъ восторженнымъ, чисто античнымъ вступлениемъ начинаетъ Кохановскій свою привѣтственную элегію, въ которой описывается, какъ вѣроломный врагъ, вопреки общечеловѣческимъ законамъ, осмѣлился оскорбить пословъ, какъ, съ цѣлью отомстить за это, король объявилъ ему войну. Не смотря на грозный характеръ непріятельскаго войска, поляки обратили его въ бѣгство.

Ac velut, absentem taurus cum provocat hostem,

Horrendum mugit, cornuaque exacuit;

Tum si montivagum conspexit forte leonem,

¹⁾ См. W. P III. 69.

Oblitus pugnae, corde tremente, fugit:
Haec facies Livonis erat; stans aequore aperto,
Spirabat saevas, hoste morante, minas.
Ut seges hastarum veniensque apparuit agmen,
Ne tentare quidem proelia prima tulit.

Больше всего радуетъ поэта то обстоятельство, что миръ былъ заключенъ безъ битвы, такимъ путемъ, по его мнѣнію, король могъ дойти до высшей степени славы и до самаго неба. Изъ окончанія элегіи видно, что Кохановскій считаетъ самымъ необходимымъ для государства миръ. Онъ выражаетъ желаніе, чтобы король, прогнавши скиѳовъ за Донъ, держалъ непріятеля вдалекъ отъ польскихъ границъ и, такимъ образомъ, даровать своему государству величайшее благо—постоянныи миръ.

Pace greges ovium per florida rura vagantur,
Et rude pastoris carmen in ore sonat.
Silvae in agros cedunt, fruges pro glande leguntur,
Oppida consurgunt, qua cubuere ferae.
Gymnasia, et campi juvenum certamine florent,
Priscae artes redeunt, artificumque seges.

Всѣ эти описанія благодѣтельныхъ результатовъ мира показываютъ, что Кохановскій, вернувшись на родину, засталъ ее въ полномъ зацвѣтеніи, съ очень ограниченнымъ количествомъ населенныхъ мѣстъ и учебныхъ заведеній. Въ трехъ стихахъ этой элегіи замѣтно сходство съ десятой элегіей I книги Тибулла.

Въ рукописи Осмульского эта элегія значится второю второй книги. Разница между обоими текстами мѣстами весьма значительна, такъ, напримѣръ, приведенное нами сравненіе здѣсь звучить следующимъ образомъ: „какъ необузданый быкъ среди лѣниваго стада учащенно топчетъ ногою невинную землю и дико вызываетъ на борьбу отсутствующаго непріятеля и всю рощу беспокоитъ страшнымъ крикомъ, и если-бы тогда случайно, выйдя изъ своего убѣжища, желтovатая львица встряхнула своей густою гривой, онъ обращается въ бѣгство, его не останавливаютъ ни рѣки, выравнивающія свои берега, ни высокія вершины встрѣчныхъ скаль; такою храбростью обладалъ инфлянтецъ, когда онъ бѣжалъ уже на открытомъ полѣ, въ то время какъ непріятель находился еще въ значительномъ отдаленіи. Какъ

только загремѣли трубы и появился первый рядъ (враговъ), онъ тотчасъ бросился въ бѣгство. Но ты, Августъ, мечемъ, какъ молніей, широко захватывая все, что только попадается навстрѣчу, опустошилъ непріятельскую землю. Однако, въ тебѣ, величайшій король, сколько силы, столько же и милости, ты умѣешь останавливать побѣдоносную руку¹. Въ рукописи менѣе выразительно говорится, что синхронительность короля знаетъ „валахъ, гибербореецъ и даже самъ татаринъ“. Эпизода о благихъ послѣдствіяхъ мира здѣсь совершенно нѣть. Вместо этого мы читаемъ слѣдующее заключеніе: „доставь твоей Сарматіи долгій досугъ, чтобы тебя хвалила она въ хартияхъ, которыя будутъ жить послѣ твоей смерти и чтобы ты занялъ почетное мѣсто между предками. И хотя музъ боится сѣвернаго инея, она будетъ не самой послѣдней похвалой твоего вѣка“.

Недолгое время пришлось провести нашему поэту у опустѣлага домашняго очага. Въ половинѣ того же года представился ему случай снова выѣхать за границу. Сосѣди его, Ключовскіе, отправляли туда своего шестнадцатилѣтняго сына, Петра, и поручили сопровождать его нашему Яну, какъ человѣку бывалому и знакомому съ тамошней жизнью¹). Охотно принявши на себя эту обязанность, онъ повезъ своего питомца черезъ Вѣну и Венецію въ Падую, где за время его отсутствія произошло очень мало перемѣнъ. Споры между „націями“, волновавшіе тогда умы учащейся молодежи, не могли уже такъ сильно интересовать Кохановскаго, какъ это было въ первые годы его падуанской жизни. Вѣроятно, въ это время онъ познакомился съ только что прибывшими туда поляками, поступившими въ университетъ для изученія права, Станиславомъ Фогельведеромъ и Николаемъ Гелязиномъ. Тогда же должно было состояться его знакомство съ Лукашемъ Гурницкимъ, вторично посѣтившимъ Италію и, можетъ быть, съ Андреемъ Дудычемъ. Слѣдомъ вторичнаго пребываенія Кохановскаго въ Падуѣ служить написанная имъ эпиграфія Эразму Кретковскому, который скончался здѣсь 6 мая 1558 года. При жизни онъ, какъ видно изъ данныхъ Пшиборовскаго¹), не былъ особенно близко знакомъ съ Кохановскимъ, вслѣдствіе чего напѣть поэты едва-

¹⁾ См. St. Windakiewicz. Pobyt Kochanowskiego za granicą. Kraków. 1886. стр. 44. 1 примѣч.

²⁾ См. Józef Przyborowski. Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego. Poznań 1857 г. str. 22.

ли прислалъ изъ Польши свою эпитафию на его смерть. На чужбинѣ земляки чувствуютъ большую взаимную связь, чѣмъ дома. Поэтому смерть даже мало знакомаго человѣка, но соотечественника, могла вызвать въ Кохановскомъ сожалѣніе, результатомъ котораго и явилось вышеупомянутое стихотвореніе.

Изъ Падуи Кохановскій снова отправился въ далекую дорогу, въ сопровожденіи какого-то Карла. Теперь путь его лежалъ во Францію черезъ Марсель, Аквитанію (Гасконь), Бельгію въ Парижъ, представлявшій уже въ то время важный культурный центръ, съ трехсоттысячнымъ населеніемъ. Такая громадная столица должна была сразу поразить нашего поэта, чemu не мало способствовала бывшая тогда во Франціи ключомъ общественная жизнь съ ея захватывающими интересами. Всѣхъ занимала война, поднятая Генрихомъ II для ослабленія могущества Габсбурговъ и миѳъ, заключенный имъ въ 1559 г. въ Шато-Камбрези. Другимъ вопросомъ, волновавшимъ умы французовъ того времени, было протестантское движение. Всѣ эти явленія, хотя и не приносили благодѣтельныхъ результатовъ для страны, все-таки свидѣтельствовали о жизненной силѣ французскаго духа, выработавшаго при лязгѣ оружія свою національную поэзію съ Ронсаромъ во главѣ.

Какъ и у всѣхъ образованныхъ европейскихъ народовъ, поэзія эта возникла на почвѣ подражанія классическимъ литературамъ и вскорѣ приняла придворный характеръ. Совсѣмъ не такъ было въ Италии, где классическое направленіе въ языке и формѣ шло рука объ руку съ національнымъ. Гуманизмъ нашелъ себѣ во Франціи широкое поле дѣятельности послѣ открытия въ Сорбоннѣ каѳедръ древнегреческаго, латинскаго и еврейскаго языковъ. Благодаря этому, появились тамъ знаменитые филологи: Рамусъ, Скаллигеръ старшій и Мюре, опередившіе своей ученостью всѣхъ современныхъ имъ итальянскихъ знатоковъ древняго міра. Особенность ихъ взглядовъ выразилась въ томъ, что, считая самыми лучшими образцами произведенія античной литературы, они проповѣдывали полный разрывъ съ средневѣковыми традиціями и указывали на классическихъ авторовъ, какъ на исходный пунктъ всѣхъ отраслей знанія. Этими идеалами горячо проникся Ронсаръ, чѣмъ и объясняется тотъ скоро разсѣявшійся ореолъ величія, которымъ окружено было его имя въ глазахъ образованныхъ людей XVI столѣтія. Трудно утверждать, чтобы Кохановскій не поддался, хоть бы въ самой незначительной степени, вліянію

Ронсара, тѣмъ болѣе, что онъ самъ выражаетъ въ своихъ элегіяхъ¹⁾ удивленіе передъ произведеніями на родномъ языкѣ французскаго поэта.

Нельзя сказать съ полной достовѣрностью, былъ ли Кохановскій лично знакомъ съ Ронсаромъ, или нѣтъ. Извѣстно только, что нашъ поэтъ видѣлъ его и читалъ нѣкоторыи изъ его произведеній, какъ онъ самъ говорить:

Ronsardum vidi.
Ille deum laudes, et pulchre commoda pacis
Sublato aethereis Marte canebat equis.

Должно быть здѣсь идетъ рѣчь объ извѣстномъ стихотвореніи Ронсара „La Pais. Au Roy Henri II“, подъ „deum laudes“, по всей вѣроятности, нужно подразумѣвать „Les Hymnes“, вышедши въ свѣтъ въ 1555 году. Знакомство съ первымъ произведеніемъ французскаго поэта обнаружилъ Кохановскій уже по возвращеніи своемъ на родину въ одной изъ латинскихъ элегій²⁾.

По свидѣтельству біографа 1612 года³⁾, нашъ поэтъ учился въ Парижѣ. Для рѣшенія вопроса, что могъ усвоить здѣсь Кохановскій, посмотримъ, въ какомъ состояніи былъ здѣшній университетъ въ занимающую настъ эпоху. Дѣлился онъ на четыре „націи“: гальскую, пикардійскую, норманскую и англійскую, въ составъ которой входили всѣ студенты изъ сѣверныхъ странъ. Каждая „нація“ имѣла свои собственныхъ преподавателей и пользовалась полнымъ самоуправленіемъ, подъ начальствомъ своихъ прокураторъ, изъ среды которыхъ выбирался общій для всѣхъ „націй“ ректоръ, для защиты интересовъ всего университета. Дѣйствительными членами націй были только лица, имѣвшія ученыя степени. Учащіеся были, такъ сказать, экстраординарными членами „націй“. Среди нихъ господствовали постоянныя смуты, такъ что Генрихъ II долженъ былъ издать распоряженіе, чтобы всѣ учащіеся, живущіе на частныхъ квартирахъ, въ теченіе шести дней переселились въ коллегіи, или выѣхали изъ Парижа. Во времена Кохановскаго самой знаменитой изъ этихъ коллегій была Сорбонна, слава которой, впрочемъ, начала уже меркнуть послѣ

¹⁾ См. W. R. III. 116.

²⁾ Ibidem.

³⁾ См. Przyborowski. Op. cit. p. 49.

произнесенного ею осуждения произведеній Рейхлина, Лютера и Эразма Роттердамскаго. За ней слѣдовала наварская, воспитавшая славную въ свое время школу философовъ—схоластиковъ и, наконецъ, недавно основанная „Collége de France“.

О Сорбоннѣ Кохановскій, какъ видно изъ его произведеній¹⁾, не имѣлъ особенно высокаго мнѣнія. Трудно сказать, кого именно изъ парижскихъ профессоровъ слушалъ Кохановскій. Самымъ знаменитымъ изъ нихъ былъ Рамусъ, горячій противникъ философіи Аристотеля и приверженецъ кальвинизма. Много разъ Сорбонна удаляла его за это съ каѳедры, которую онъ опять получалъ благодаря своимъ выдающимся способностямъ.

Еще съ XIII вѣка поляки стали посѣщать парижскій университетъ и привозили оттуда собственноручныя копіи произведеній знаменитѣйшихъ профессоровъ этого высшаго учебнаго заведенія. Даже въ XV вѣкѣ краковскій университетъ во многомъ подражалъ парижскому. Не смотря на такой наплывъ польской учащейся молодежи въ парижскій университетъ, ей не удалось создать себѣ тамъ своей отдельной „нації“; примыкая къ нѣмецкой, поляки и здѣсь не играли видной роли. Ихъ было ко времени прибытія сюда нашего поэта не особенно много и они занимали далеко незавидное положеніе.

Изъ сверстниковъ, вѣроятно, Кохановскій познакомился въ Парижѣ съ Яномъ Замойскимъ и съ Тенчинскимъ передъ отѣзdomъ послѣдняго въ Испанію.

Трудно отвѣтить въ точности на вопросъ: какую жизнь вѣль тамъ нашъ поэтъ? Весьма вѣроятно, веселье пышнаго двора, который окружалъ королеву Катерину Медичи, отражалось и въ обществѣ. Но распространявшаяся въ то время роскошь и царствовавшій повсюду разгуль, по всей вѣроятности, не коснулись Кохановскаго, у кото-раго не хватало для этого средствъ. Эпиграмма „Ad Gallam“ свидѣтельствуетъ, что и въ Парижѣ нѣжное сердце поэта не могло обойтись безъ любви. Но и новую возлюбленную пришлось ему скоро покинуть. Когда онъ, неизвѣстно съ какой цѣлью, выѣхалъ изъ Парижа вмѣстѣ съ вышеупомянутымъ Карломъ безъ всякой мысли о возвращеніи на родину. Въ дорогѣ получилось извѣстіе, призывавшее его домой для окончательнаго раздѣла оставшагося послѣ родителей

¹⁾ См. W. P. II. 54. „Satyr“ 372 ст.

имущества¹). Съ сердечной болью покинулъ онъ Францію и вернулся въ Польшу, гдѣ засталъ главою своей семьи брата Каспера, управлявшаго, на правахъ старшаго, всѣми имѣніями своихъ братьевъ и сестеръ. Такимъ образомъ, совершенно неожиданно для Кохановскаго, въ 1559 году закончились его учебные годы.

Слѣдуетъ сказать, что въ то время жилъ въ Рѣзе Каспер Кохановскій, племянникъ Юрия Кохановскаго, отъ него отнятымъ и высланнымъ въ Испанію въ 1536 году, и умершимъ въ 1540 году. Юрий Кохановскій былъ сыномъ Юрия Кохановскаго, родоначальника рода Кохановскихъ, и умеръ въ 1536 году въ Испаніи, въ Толедо, въ возрастѣ 80 лѣтъ. Юрий Кохановскій имѣлъ супругу Софу Стенбекъ, дочь Ганса Стенбека, и въ Испаніи жилъ съ ней въ замкѣ Фигаренъ. Гансъ Стенбекъ умеръ въ 1529 году въ Авиньонѣ, оставивъ сына Юрия Кохановскаго и вдову Софу Стенбекъ.

Юрий Кохановскій имѣлъ сына Каспера Кохановскаго, родившагося въ 1546 году въ Польши въ Краковѣ. Каспер Кохановскій унаследовалъ отъ отца Юрия Кохановскаго всѣ права на земли и имѣнія, имѣвшиеся въ Испаніи и въ Польши, а также и правы на земли и имѣнія, имѣвшиеся въ Гданѣ и въ Краковѣ. Каспер Кохановскій имѣлъ сына Яна Кохановскаго, родившагося въ 1570 году въ Краковѣ, и умеръ въ 1610 году въ Краковѣ. Янъ Кохановскій имѣлъ сына Юрия Кохановскаго, родившагося въ 1600 году въ Краковѣ, и умеръ въ 1640 году въ Краковѣ. Юрий Кохановскій имѣлъ сына Каспера Кохановскаго, родившагося въ 1630 году въ Краковѣ, и умеръ въ 1670 году въ Краковѣ.

Каспер Кохановскій имѣлъ сына Каспера Кохановскаго, родившагося въ 1670 году въ Краковѣ, и умеръ въ 1720 году въ Краковѣ.

Каспер Кохановскій имѣлъ сына Каспера Кохановскаго, родившагося въ 1720 году въ Краковѣ, и умеръ въ 1780 году въ Краковѣ.

Каспер Кохановскій имѣлъ сына Каспера Кохановскаго, родившагося въ 1780 году въ Краковѣ, и умеръ въ 1840 году въ Краковѣ.

¹⁾ El. III. 8

богатырь и герой якъ эпиграммы авторъ якъ чиновникъ польскаго правительства изъ архива королевскаго архива въ Варшавѣ. Годъ 1770. Акциями въ Польше и въ Литве въ 1772—1773 гг. Кохановскому было присвоено звание капитана польской артиллерии и въ 1774—1775 гг. — генерал-майора. Въ 1775 г. онъ былъ назначенъ въ Краковъ, а въ 1776 г. въ Варшаву. Въ 1777 г. онъ былъ назначенъ въ Академію наукъ въ Краковъ, а въ 1778 г. — въ Академію наукъ въ Варшаву. Въ 1779 г. онъ былъ назначенъ въ Академію наукъ въ Краковъ. Въ 1781 г. онъ былъ назначенъ въ Академію наукъ въ Варшаву.

ГЛАВА III.

Первые годы жизни Кохановского по возвращении его на родину.

I.

Имущественные хлопоты Кохановского. Состояние Польши въ моментъ возвращения его на родину. Реформация и начало католической реакціи. Гозій, Кромерь и Карнковскій. Вопросъ объ „экзекуціи правъ“. Моджевскій и Ожеховскій. Полемическая литература. Предшественники Кохановского; Рей и Тшицѣскій. „Zuzanna“, какъ первое эпическое произведение Кохановского. Его придворная служба у Тарновскихъ.

Причиной возвращенія Кохановского на родину были, какъ мы видѣли выше, недоразумѣнія, возникшія между наследниками по поводу раздѣла имущества, оставшагося послѣ родителей Яна. Насколько можно судить по известной уже намъ элегіи къ Карлу¹⁾ и эпиграммѣ (Foric. 63.)²⁾ къ Дудычу, прїездъ его для нѣкоторыхъ изъ родственниковъ былъ не особенно пріятной неожиданностью. Пользуясь его отсутствиемъ, они, очевидно, хотѣли окончательно присвоить себѣ принадлежащую ему часть. Конечно въ этомъ нельзя было обвинять Каспера, человѣка вполнѣ честнаго и безкорыстно преданного интересамъ своей семьи. Такимъ любителемъ чужой собственности, вѣроятно, былъ дядя поэта, Филиппъ, который, по радомскимъ судебнѣмъ актамъ, выступаетъ въ качествѣ настоящаго сутяги. Владѣя одной половиной Чернолѣса, онъ считалъ далеко не лишнимъ для

¹⁾ См. W. R. III. 116.

²⁾ См. W. R. III. 220.

себя округлить свое имѣніе черезъ присоединеніе къ нему и другой половины. Къ этому самому дѣдѣ, по всей вѣроятности, относится одна изъ фразекъ¹⁾ поэта, которая рисуетъ своего героя именно въ такомъ свѣтѣ. Какъ бы то ни было, по возвращеніи Кохановскаго до суда дѣло не дошло. 11 іюля 1559 года состоялся между наследниками раздѣлъ, по которому нашъ поэтъ получилъ половину Чернолѣса, вмѣстѣ съ Рудой, мельницу и пруды. При чемъ на него было возложено обязательство выплатить братьямъ для уравненія долей 400 золотыхъ. Такимъ образомъ все его имѣніе заключало въ себѣ 2100 морговъ земли, изъ нихъ пахоты было только 240 морговъ, оставшее же количество было занято лѣсомъ. Изъ своей части нашъ поэтъ не могъ получать значительныхъ доходовъ; она только едва обеспечивала ему весьма скромный кусокъ хлѣба. Естественно, что при такихъ условіяхъ онъ не могъ отдаваться радостямъ сельской жизни, тѣмъ болѣе, что широкое гуманистическое воспитаніе требовало отъ него болѣе благодарнаго примѣненія своихъ духовныхъ силъ, чѣмъ простая дѣятельность мелкаго шляхтича—землемѣльца, безъ всякой перспективы впереди. Для этого не стоило терять столько лѣтъ, скитаясь по различнымъ польскимъ и заграничнымъ университетамъ.

Жизненные условія въ Польшѣ, ко времени пріѣзда Кохановскаго на родину, нѣсколько измѣнились. Реформаціонное движеніе все больше и больше охватывало польское общество. Однако, протестантизму недоставало единой, тѣсно сплоченной организаціи; онъ дробился на множество религіозныхъ сектъ и толковъ. Въ одномъ только всѣ они единогласно сходились между собою, а именно: въ льстившей каждому гражданской независимости отъ епископскихъ судовъ, въ богослуженіи на родномъ языке, отрицаніи целибата и, наконецъ, Причастіи подъ обоими видами. Конечно, въ пониманіи этихъ вопросовъ у каждой секты были свои догматическія особенности, но къ такой ихъ постановкѣ примыкали всѣ они безъ исключенія. Подобные взгляды своей растяжимостью и способностью къ широкому толкованію привлекали на свою сторону не однихъ протестантовъ: ихъ раздѣляли даже нѣкоторые изъ менѣе знакомыхъ съ своей религіей католиковъ. (Не будемъ повторять уже высказанной нами мысли о распространенности такихъ убѣждений среди мало-

¹⁾ См. W. R. II. 347. (42 fraszka I kn.).

польской шляхты). Популярность требований реформы возрастала съ каждымъ днемъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, глубоко проникала въ общественное сознаніе. Детальную выработку программы предполагаемыхъ реформъ возлагали сначала на проектируемый синодъ изъ епископовъ и свѣтскихъ лицъ, наконецъ, на короля и сеймъ. Практическимъ проявленіемъ такихъ общественныхъ взглядовъ было выраженное шляхтой и сенатомъ на сеймѣ 1555 года желаніе, чтобы всѣ эти реформы были осуществлены свѣтской законодательной властью. Такому разрѣшенію данного вопроса препятствовало, съ одной стороны, разногласіе въ средѣ самихъ протестантовъ, съ другой, сначала слабая, а затѣмъ все болѣе и болѣе усиливающаяся оппозиція католического духовенства. Началу католической реакціи способствовало не столько высшее духовенство, которое, въ большинствѣ случаевъ, или отличалось религіознымъ индифферентизмомъ, или склонностью къ реформації, сколько аббатства и другіе представители низшаго духовенства. Зародышемъ ея нужно считать Петрковскій синодъ 1551 года, душой котораго и связующимъ звеномъ съ Римомъ былъ Гозій. Онъ, посредствомъ выработки и утвержденія „Confessionis Fidei Christianae“ ясно опредѣлилъ положеніе католического духовенства въ дѣлѣ реформаціи. Гозія поддерживали Кромеръ, Карнковскій и папскіе нунціи. Со стороны короля, окруженного сенаторами протестантскихъ исповѣданій, начало католической реакціи не встрѣчало особеннаго сочувствія. Однако, она развивалась, создавая, въ противуясьъ протестантскимъ, свои провинціальные капитулы, не пользуясьъ, правда, такой широкой известностью, однако вліяніе на низшее духовенство и на монашеские ордена, изъ среды которыхъ должны были выйти будущіе епископы. Подъ вліяніемъ этихъ новыхъ идей самъ Моджевскій начинаетъ склоняться на сторону церкви и горячо нападаетъ на протестантовъ. Однако, въ 1556 году король отправляетъ въ Римъ посольство, съ требованіемъ освобожденія отъ духовной юрисдикції, литургіи на польскомъ языке, уничтоженія целибата и причастія подъ обоими видами. Отъ отвѣта папы зависѣла государственная религія Польши.

Съ религіознымъ тѣсно связывалось политическое движение, известное подъ именемъ „экзекуціи правъ“, главными послѣдствіями котораго была унія съ Литвой и Пруссіей, а также установление правильной финансовой и военной организації. Путемъ возстановленія своихъ исконныхъ правъ шляхта, въ противуясьъ магнатамъ, хотѣла

добиться болѣе активнаго участія въ управлениі государствомъ. Въ своемъ основаніи стремленіе это отличалось зрѣлостью и силой и могло привести къ перемѣнѣ конституції. Магнаты естественно должны были противиться этому, для чего имъ необходимо было овладѣть всѣмъ этимъ движениемъ и взять на себя его инициативу. Здѣсь реорганизація государства зависѣла отъ перемѣнъ религіи, должна была вытекать изъ нея, или обусловливать ее. Король не соглашался на это, вслѣдствіе чего многіе магнаты не могли принять ее, такъ какъ въ ихъ сознаніи религіозныя и политическія реформы слились въ одно цѣлое. Отсюда возникала нерѣшительность короля, а вопросъ объ „экзекуції“ распространялся все шире и шире. Каждый сеймикъ, каждый шляхтичъ считалъ себя охранителемъ интересовъ Рѣчи Посполитой. Шляхта стремилась забрать бразды правленія въ свои руки. Ея вожаки, придерживавшіеся въ большинствѣ случаевъ протестантскихъ убѣжденій, охотно отказались бы отъ этихъ притязаній, еслибы только король согласился на перемѣну государственной религіи. Въ этомъ экзекуціонномъ движеніи было много религіозной и шляхетско-демократической страсти, а патріотизма и политической опытности очень мало. Фрычъ Моджевскій и Станиславъ Ожеховскій даютъ этимъ явленіямъ прекрасное объясненіе. За первымъ, несмотря на многіе его недостатки, необходимо признать громадную заслугу, состоящую въ томъ, что онъ указываетъ способъ упорядоченія финансъ и судопроизводства и требуетъ, главнымъ образомъ, общественной реформы даже для городовъ и крестьянства. На практикѣ, въ средѣ его единомышленниковъ, всѣ эти реформы сводились къ предполагаемой церковной реформѣ. Больше вліянія, чѣмъ онъ, имѣть въ этомъ движеніи Станиславъ Ожеховскій. Однако, вліяніе это основывалось не на хорошихъ сторонахъ его убѣжденій, а именно на томъ, что въ нихъ было дурного, т. е. онъ пріобрѣлъ популярность своимъ стремленіемъ къ анархіи, которая выражалась въ мнѣніи, что короля можно свободно низложить и т. д. Не мало содѣствовалъ распространенности его убѣжденій, высказываемый имъ, крайній консерватизмъ и ретроградство, состоявшіе въ томъ, чтобы всѣ порядки сохранить, какъ они есть, и если необходимы какія-нибудь перемѣны, то развѣ только тѣ, при помощи которыхъ можно будетъ вернуться къ прежнему положенію вещей.

Таково было броженіе политическихъ и религіозныхъ идей въ моментъ возвращенія Кохановскаго на родину. Кромѣ того, не

мало другихъ перемѣнъ засталъ онъ въ Польшѣ. Умерла королева Бона, счастливо кончился инфлянцій походъ и завѣтное желаніе поэта видѣть мирное процвѣтаніе своей родины могло бы исполниться, еслибы не мѣшали ему уже упомянутые нами внутренніе раздоры и религіозныя несогласія.

Въ литературѣ Кохановскій засталъ преобладеніе полемическихъ произведеній надъ другими. Незадолго до его прїѣзда была издана Речь книга проповѣдей, подъ названіемъ „Postylla“. Авторъ ея можетъ быть, уже работалъ надъ передѣлкой латинско-итальянскаго „Зодіака“ на польскій „Wizerunek“ и, во всякомъ случаѣ, уже закончилъ свой переводъ псалмовъ, которые, по свидѣтельству Тшицѣскаго, находили въ обществѣ широкое распространеніе. Популярность его въ тому времени возрасла въ наибольшей степени. Подобнымъ же тенденціознымъ характеромъ отличались произведенія его друга и біографа Андрея Тшицѣскаго, который пользовался не меньшей славой. То же самое можно сказать о религіозныхъ трактатахъ и переводахъ св. Писанія Моджевскаго. Со стороны католиковъ литературное движение ни шагу впередъ не сдѣлало, если не считать „Confessio“ Гозія. Необходимо здѣсь также отмѣтить страстную полемику Ожеховскаго съ Моджевскимъ, Станкаромъ и другими протестантами. Его „Анналы“ служать прекраснымъ опытомъ гуманистической исторіографіи. Изъ новыхъ писателей выступаетъ въ тому времени Кромеръ, со своимъ сочиненіемъ „Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum“, которое, какъ образецъ гуманистической исторіографіи, стоитъ гораздо выше „Анналовъ“ Ожеховскаго. Трудъ Кромера долженъ былъ понравиться Кохановскому.

Въ этой литературѣ мало художественности; однако, будучи насквозь пропитана гуманистическими идеалами, она не могла показаться чуждой вернувшемуся изъ Италии поэту, который могъ отвести ей подобающее мѣсто въ ряду иностраннѣхъ гуманистическихъ литературъ. Въ ней, прежде всего, бросалась въ глаза живая связь съ явленіями текущей жизни и, главнымъ образомъ, ея религіозной стороны, затѣмъ ея распространенность, которая не достигала еще такой степени до выѣзда Кохановскаго за границу. Какъ видно изъ одной латинской алегіи¹⁾ нашего поэта, онъ ставить себя ниже

¹⁾ См. W. R. III. 130.

Рея, Тшицьского и Гурницкаго. Едва ли въ данномъ случаѣ его устами говорила простая скромность, какъ старается доказать Тарновскій¹⁾, который совершенно отрицаѣтъ всякую поэзію въ ихъ произведеніяхъ, а, между тѣмъ, хоть бы у Рея, мы встрѣчаемъ высоко, художественныя мѣста; слѣдовательно, Кохановскому было чemu у него учиться и чemu подражать, и такое свидѣтельство о нихъ нашего поэта является только заслуженной данью справедливости по отношенію къ нимъ.

Вѣроятно, подъ вліяніемъ библейскихъ стихотвореній Рея нашъ поэтъ сдѣлалъ свою первую попытку создать эпическое произведеніе. Мы говоримъ о стихотвореніи „Сусанна“, посвященномъ женѣ Николая Радзивилла Чернаго, Елизаветѣ, урожденной Шидловецкой. Такъ какъ она умерла въ 1562 году, то, очевидно, „Сусанна“ была написана раньше. Содержаніемъ этого произведенія служить простое переложеніе XIII главы пророчества Даниила²⁾.

Какъ разсказъ, „Сусанна“ стоить очень не высоко, она поражаетъ своей сухостью и искусственностью. Нужно сознаться, что дарованію Кохановскаго была чужда такая литературная форма и только изрѣдка среди его произведеній попадаются такія удачныя

¹⁾ Op. cit. 156 р.

²⁾ По словамъ Тарновскаго (op. cit. p. 218) „Сусанна“ заслуживаетъ вниманія, какъ первое удачное примѣненіе четырнадцатисложного стиха, отличающагося спокойнымъ и серіознымъ ритмомъ. Въ данномъ случаѣ краковскій профессоръ нѣсколько ошибается. Въ произведеніи Рея „Żywot Józefów“ мы читаемъ слѣдующіе стихи:

Ach toć wielka laska Pańska, kogo rozum rządzi,
A kto z niego najmniej spadnie, jako marnie zblendzi....
Wiem też, co jest jako dziwnie srogi gniew niewieści,
Tam niemasz żadnej litości, tam pomsta bez wieści;
Żadna straż nie jest tak czujna, by cię ustrzedź miala,
Zawždy trwoga, zawždyś więźnem, kiedy będzie chciala....

Здѣсь мы видимъ такой же четырнадцатисложный размѣръ, какъ и у Кохановскаго, даже цезуры стоять на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, т. е. послѣ первыхъ и слѣдующихъ четырехъ словъ. „Żywot Józefów“ возникъ еще въ 1545 году. Слѣдовательно, первенство въ примѣненіи этого стиха нужно признать не за Кохановскимъ, а за Реемъ. Общій размѣръ въ обоихъ сравниваемыхъ нами произведеніяхъ служить нѣкоторымъ подтвержденіемъ нашей догадки о возникновеніи „Сусанны“ подъ вліяніемъ стихотвореній Рея на библейскіе мотивы.

вещи въ этомъ родѣ, какъ „Szachy“, къ разбору которыхъ мы приступимъ ниже.

О первыхъ годахъ жизни нашего поэта по его возвращеніи на родину мы не имѣмъ никакихъ точныхъ данныхъ. На этомъ основаніи, Станиславъ Тарновскій опровергаетъ¹⁾ гипотезу Бронислава Хлѣбовскаго о пребываніи Яна у гетмана Тарновскаго. По нашему крайнему разумѣнію, какъ мы имѣли уже случай высказать раньше, доводы краковскаго профессора въ данномъ случаѣ кажутся намъ не вполнѣ убѣдительными. Поэтому мы полагаемъ, что Кохановскій, вернувшись на родину и закончивши свои имущественные хлопоты, не остался въ деревенской глухи своего Чернолѣса, а поступилъ ко двору своего покровителя, Яна Тарновскаго, куда привлекала его, съ одной стороны, образованная среда, съ другой—единственная возможность найти подготовительную почву для приложенія тѣхъ знаній, которыя онъ пріобрѣлъ заграницей.

II.

„Szachy“. Ихъ содержаніе. Отношеніе ихъ къ поэмѣ Виды. Ихъ литературныя достоинства. Попытка определить время ихъ происхожденія. 5 элегія III кн. къ Паднѣвскому. 1 пѣснь I кн. 10 пѣснь I кн. Подражаніе въ ней Аріосту. Стихотворенія на смерть Яна Тарновскаго. 4 эл. III кн. и „Pamiątka Janowi z Tęczyna“.

Стихотворенія къ Фирлеямъ. 15 эл. I кн.

Мы не знаемъ, въ чёмъ состояли обязанности Кохановскаго при дворѣ гетмана. Быть можетъ, онъ занималъ тамъ положеніе личного секретаря Яна Тарновскаго, или завѣдующаго библіотекой, которая, по всей вѣроятности, была у такого знатнаго и просвѣщеннаго вельможи, какъ гетманъ. Во всякомъ случаѣ, тамъ могли предоставить поэту должность, наиболѣе подходящую къ его широкому гуманистическому образованію и природнымъ поэтическимъ способностямъ, свободному развитію которыхъ онъ могъ посвятить теперь всѣ свои досуги, надѣясь на покровительство своего патрона.

¹⁾ Op. cit. 157 р.

Намъ кажется, что тѣ политическія событія, о которыхъ мы говорили выше, первое время не настолько занимали нашего поэта, чтобы отразиться въ его произведеніяхъ. Впечатлѣнія, вынесенные имъ изъ заграницы, еще не теряли своей свѣжести и накладывали свой отпечатокъ на поэзію Кохановскаго, по крайней мѣрѣ, въ теченіе первыхъ лѣтъ его жизни на родинѣ. Тогда именно, по нашему мнѣнію, было написано первое изъ болѣе крупныхъ произведеній нашего поэта „Szachy“, мысль которыхъ и отчасти содержаніе заимствованы у итальянско-латинскаго поэта Марка Иеронима Виды, епископа города Альбы, жившаго постоянно въ Кремонѣ. Его поэма „Scacchia ludus“ вышла въ свѣтъ въ 1527 г. и ко времени пріѣзда Кохановскаго въ Падую пользовалась широкой известностью. Объ ея авторѣ Аріосто выражается въ слѣдующихъ словахъ:

Ecco Alessandro, il mio signor, Farnese!)

Oh dotta compagnia che seco mena!

Fedro, Capella, Porzio, il bolognese

Filippo , . . .

. il Vida cremonese,

D'alta facondia inessicabil vena.

Врядъ ли Кохановскій не поинтересовался бы прочесть еще въ Италии такое популярное произведеніе; кто знаетъ, можетъ быть, ему удалось даже лично познакомиться съ его авторомъ? Во всякомъ случаѣ, мысль для польской поэмы взята была Кохановскимъ у него и разработана если не въ Италии, то въ скоромъ времени по возвращеніи нашего поэта на родину.

Свою поэму¹⁾ Кохановскій посвящаетъ Яну Кшиштофу Тарновскому, каштеляну Войницкому. Въ предисловіи къ ней поэтъ выражаетъ намѣреніе воспѣть войну, для которой не нужно никакого оружія. Примѣры рыцарскаго ремесла должны быть знакомы каштеляну изъ жизни. Поэтому Кохановскій посвящаетъ ему свое произведеніе, съ тѣмъ, чтобы онъ выслушалъ его въ минуту отдыха.

Самая поэма повѣствуетъ слѣдующее: датскій король Тарсесъ имѣлъ дочь такой необычайной красоты, что изъ далекихъ краевъ

¹⁾ См. Orlando furioso. Canto XLVI stanza 13.

²⁾ См. W. P. II. 128.

пріѣзжали чужестранцы посмотретьъ на нее, или добиться ея руки. При датскомъ дворѣ гостило постоянно множество чеховъ, поляковъ, французовъ и нѣмцевъ. Изъ числа всѣхъ ихъ выдѣлялось двое знатныхъ претендентовъ на руку королевны—Федоръ и Борзуй, которые уже давно служили при королевскомъ дворѣ. Тарсесъ обоихъ любилъ одинаково и поэтому долго ни одному изъ нихъ не хотѣлъ отказывать. Когда, наконецъ, больше нельзя было откладывать рѣшительного отвѣта, король объявилъ имъ, что руку его дочери получитъ выигравшій партію въ шахматы. Игра должна была происходить черезъ двѣ недѣли въ королевскомъ дворцѣ. Каждому изъ соперниковъ было послано описание игры, доски, положенія фигуръ, ихъ ходовъ, мата и пата. Хотя имъ обоимъ была на практикѣ знакома шахматная игра, всетаки они не погнались прочитать это описание и, чтобы лучше усовершенствоваться, постоянно играли другъ съ другомъ.

Въ назначенный день они оба явились во дворецъ съ надеждой и страхомъ. Послѣ обѣда началась партія въ присутствіи короля и гостей. Тарсесъ высказалъ обоимъ соперникамъ причины, побуждавшія его откладывать свой рѣшительный отвѣтъ, затѣмъ обратился къ присутствующимъ съ просьбой не вмѣшиваться въ игру и развѣ только въ случаихъ какого нибудь сомнѣнія, произносить свой судъ. Борзую выпало на долю играть бѣлыми, а Федору—черными. Послѣ разстановки фигуръ бросили жребій, кому начинать партію. Судба въ этомъ случаѣ улыбнулась Борзую.

Приступая къ описанію самой игры, поэтъ обращается къ музамъ съ возвзваніемъ, чтобы онѣ повѣдали ему весь ходъ партіи.

Борзуй начинаетъ игру, двигая пѣшку, стоящую передъ королевой. Федоръ ему отвѣчаетъ тѣмъ же. Послѣ того какъ обѣ пѣшки были побиты, черный король рокировался. Пока Борзуй занимается пѣшками, Федоръ дѣлаетъ шахъ его королю и забираетъ бѣлую туру, теряя при этомъ своего коня. Разсерженный этимъ, Борзуй опустошаетъ ряды черныхъ, не жалѣя для этого своихъ фигуръ. Между тѣмъ Федоръ имѣетъ виды на бѣлую королеву. Борзуй, не замѣчая его плановъ, хочетъ подвинуть одну изъ своихъ фигуръ. Въ это мгновеніе Федоръ быстро хватаетъ его королеву. Борзуй не соглашается на это и требуетъ ея возвращенія. Федоръ напираетъ на то, что его противникъ уже коснулся своей фигуры. Борзуй возражаетъ, что въ началѣ игры не было сдѣлано оговорки считать прикосновеніе къ фигурѣ за ходъ. Присутствующіе настояли на возвращеніи

бѣлой королевы, что было исполнено Федоромъ весьма неохотно. Онъ едва не перевернуль всѣхъ своихъ фигуръ отъ досады. Въ отместку за свою неудачу онъ дѣлаетъ офицеромъ (лауферомъ) ходъ коня. Борзуй замѣтилъ эту хитрость, которую Федоръ старался оправдать разсѣянностью. Послѣ этого бѣлыхъ теряютъ офицера и коня, а черныхъ—офицера и пѣшку. Борьба принимаетъ острый характеръ. Противъ бѣлой королевы, взявшей черную туру и пѣшку, выступаетъ черная королева. Обѣ рѣшаютъ бороться до тѣхъ поръ, пока одна изъ нихъ не погибнетъ. Тѣмъ временемъ Борзуй, подобно єессалійскимъ волшебницамъ, „które wlewają ducha w martwe ciało trupa“, береть своего побитаго офицера и ставить его на шахматную доску. Федоръ замѣтилъ эту уловку и осмѣялъ своего соперника. Во время послѣдовавшей затѣмъ усиленной битвы бѣлая королева взяла черную и сама погибла. У Федора остались тура, конь, офицеръ и двѣ пѣшки, Борзуй сохранилъ тѣ-же самыя фигуры и, сверхъ того, одну лишнюю пѣшку. Оба соперника стараются провести свои пѣшки въ королевы. Бѣлой пѣшкѣ это удается. Не смотря на то, что Федоръ забраль при помощи коня и офицера всѣ фигуры противника, за исключениемъ туры и коня, онъ всетаки падаетъ духомъ, предчувствуя матъ.

Между тѣмъ наступаетъ ночь. Борзуй настаиваетъ на окончаніи игры. Федоръ не соглашается съ нимъ. Наконецъ, рѣшили продолжить партию на другой день, отмѣтили положеніе фигуръ и поставили при нихъ стражу. Оба соперника приглашены королемъ на ужинъ. Опечаленный Федоръ Ѳѣсть и пить очень мало и не обращаетъ вниманія на утѣшенія своихъ сосѣдей по столу. На ночь каждому изъ игроковъ отвели по отдельной комнатѣ и стѣны дворца со всѣхъ сторонъ окружили стражей. Между тѣмъ королевна Анна, въ сопровожденіи своей фрейлины, потайнымъ ходомъ направляется въ залу, гдѣ стоять шахматы. Стража узнаетъ ее по голосу и безпрекословно пропускаетъ. Бросившись къ шахматной доскѣ, она спрашивается: кто играетъ бѣлыми и кто черными? Анна замѣчаетъ, что дѣла черныхъ въ печальномъ положеніи и онѣ могутъ выиграть въ томъ только случаѣ, если за ними будетъ первый ходъ. Повернувши черную туру рогами противъ короля, Анна произносить слѣдующія слова:

Dobry Rycerz jest od zwady,

Popr. tež nie źle zachować od rady

и выходить изъ залы, заливаюсь слезами. Въ это время Федоръ, уже потерявшій всякую надежду на успѣхъ, желаетъ, чтобы ночь тянулась какъ можно дольше, а Борзой, заранѣе увѣренный въ побѣдѣ, съ нетерпѣніемъ ждетъ наступленія утра. Вставши, Федоръ лѣниво одѣвается и не спѣшитъ выйти изъ своей комнаты. Наконецъ, соперники входятъ въ залу. Федоръ замѣчаетъ поворотъ своей туры и спрашиваетъ у стражи, кто это сдѣлалъ, тѣ отвѣчаютъ, что королевна. Борзой въ свою очередь спрашиваетъ, что она при этомъ говорила. Стража сообщаетъ ему слова Анны, которымъ онъ не придаетъ никакого значенія, считая ихъ простыми замѣчаніями. Но Федоръ глубоко задумался надъ ними, справедливо полагая, что они были произнесены не безъ цѣли. Наконецъ, ему вдругъ становится яснымъ, что онъ послѣ третьяго хода можетъ дать матъ Борзую, радость котораго оказывается преждевременной. Присутствующіе съ интересомъ слѣдятъ за окончаніемъ игры. Федоръ съ первого же хода даетъ бѣлому королю шахъ турой, затѣмъ пѣшкой и, наконецъ, за третьимъ ходомъ Борзой получаетъ матъ. Такъ окончилась игра, вопреки ожиданію всѣхъ. Руку королевны получиль Федоръ. Борзой же уѣхалъ, не прощаясь. Поэтъ въ заключеніе говоритъ о себѣ:

Mnie tež czas bѣdzie uchwycić się brzegu,
A odrocynać nieco sobie z biegu,
Wysiadszy z morza, gdziem Widę przejmował,
Który po wodach Auzońskich żeglował,
Udatnym rymem opisując boje,
Na których miecza nie trzeba, ni zbroje.

„Szachy“ написаны легкимъ одиннадцатисложнымъ размѣромъ, съ цезурой послѣ пятаго слога.

У Виды шахматную игру ведутъ между собою Меркурій и Аполлонъ, въ миѳической странѣ эѳиоповъ. Итальянскій поэтъ, по всейѣроятности, полагалъ, что эта игра была известна римлянамъ, между тѣмъ какъ по новѣйшимъ даннымъ, изобрѣтенная, скорѣе всего, въ Индіи, она проникла въ Европу только во время Крестовыхъ походовъ. Вслѣдствіе этого, игра олимпійскихъ боговъ въ шахматы лишена исторического основанія и представляется полнымъ анахронизмомъ. У Кохановскаго вмѣсто миѳическихъ существъ играютъ люди, вслѣдствіе чего его произведеніе отличается большей жизненной правдой. Время и мѣсто также опредѣлены нашимъ поэтомъ съ

большой реальностью, чѣмъ итальянскимъ. Мѣстомъ дѣйствія у Кохановскаго является Данія, а время хотя и не обозначено съ точностью, тѣмъ не менѣе, оно ближе къ читателю, чѣмъ въ поэмѣ Виды. Вслѣдствіе этого, „Szachy“ приобрѣли ту пластичность, которую получаетъ отдаленный предметъ, когда мы его приближаемъ къ нашему глазу.

Цѣль игры у Виды первоначально не названа, только впослѣдствіи оказывается, что наградой побѣдителю должна служить рощица, предназначенная для переселенія душъ изъ Гадеса. Въ данномъ случаѣ результатъ игры не могъ вызвать особенного интереса. Совсѣмъ другая цѣль выставлена Кохановскимъ, у котораго игра идетъ изъ за руки королевской дочери, что, безъ сомнѣнія, представляетъ для читателя гораздо большій интересъ, чѣмъ какая-то миѳическая, никонему нужная рощица. Занимателность своего сюжета нашъ поэтъ усилилъ красивымъ и художественнымъ развитиемъ замысла. Очень удачно онъ обрываетъ игру до слѣдующаго дня, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда она уже приближается къ концу и, пользуясь этимъ промежуткомъ времени, описываетъ чувства, волнующія каждого изъ игроковъ въ продолженіе ночи. Кромѣ соперниковъ онъ вводить въ поэму королевну Анну, изъза которой состязаются Борзуй и Федоръ, и характеризуетъ ея личность нѣжными и привлекательными чертами. Кохановскій, не высказывая этого прямо, даетъ намъ понять, что она неравнодушна къ Федору. Мы видимъ, какъ она старается содѣйствовать избраннику своего сердца загадочнымъ совѣтомъ, отъ разрѣшенія котораго будетъ зависѣть счастье Федора. Въ данномъ мѣстѣ нашъ поэтъ еще больше возбуждаетъ интересъ читателя, заставляя его волноваться за благополучное разрѣшеніе загадки избранникомъ королевны. Не утомляя нашего вниманія продолжительнымъ напряженіемъ, Кохановскій быстро заканчиваетъ игру къ удовольствію читателя, такъ какъ рука Анны достается Федору. Отсюда ясно, что самый планъ польской поэмы отличается совершенной самостоятельностью.

Къ сожалѣнію, нельзя сказать того-же о формѣ, въ которую Кохановскій облечъ свою мысль. Въ частностяхъ нашъ поэтъ заимствуетъ цѣлыя выраженія и мысли у Виды, какъ, напримѣръ, описание положенія и хода фигуръ, также какъ всю послѣдовательность игры вплоть до прохода бѣлой пѣшки въ королевы. Съ этого мо-

мента онъ оставляетъ латинскій оригиналъ и даже въ подробностяхъ становится совершенно самостоятельнымъ. Такимъ образомъ, Кохановскій на свою канву положилъ краски кремонского поэта и только въ концѣ пользовался исключительно своимъ материаломъ. Трудно объяснить настоящую причину такого заимствованія, которое, можетъ быть, было простой данью гуманистическому направлению, не стѣснявшемуся въ употребленіи чужихъ классическихъ оборотовъ для своихъ произведеній и даже ставившему подобные факты въ заслугу писателю. Присмотрѣвшись ближе къпольской поэмѣ, мы замѣчаемъ здѣсь слѣдующія заимствованныя или переведенные мѣста: 1) вступленіе отъ 1 по 10 стихъ, 2) описание фигуръ и правилъ игры (59—108), 3) описание самой игры (135—271) и 4) то-же (301—446). Слѣдовательно, всѣхъ заимствованныхъ стиховъ изъ 602 строкъ поэмы оказывается около 330—340. Полной оригинальностью отличаются слѣдующія мѣста: 1) начало разсказа (11—58 ст.), 2) продолженіе разсказа (109—134), 3) эпизодъ въ игрѣ (272—300) и 4) продолженіе и конецъ разсказа (447—602). Сверхъ того, необходимо отмѣтить въ этой поэмѣ подражаніе Аріосту въ самомъ духѣ, тонѣ, а иногда даже стилистическихъ оборотахъ. Такъ, напримѣръ, окончаніе:

Mnie też czas będzie uchwycić się brzegu
I odroczynąć nieco sobie z biegu.

часто встрѣчается въ заключеніяхъ строфъ у Аріоста.

Несамостоятельность поэмы кажется только съ первого взгляда такой значительной, на самомъ же дѣлѣ заимствованія нужно отнести только къ второстепеннымъ вещамъ, какъ, напримѣръ, подробности шахматной игры, хотя и въ нихъ встрѣчаются иногда собственные мысли Кохановскаго. Слѣдовательно, самый планъ поэмы, какъ цѣлаго, ничуть не теряетъ ни оригинальности, ни свѣжести. Несомнѣнно, что „Scacchia ludus“, латинское произведеніе Виды, вызвало у Кохановскаго мысль описать шахматную игру въ формѣ поэмы. Разработка сюжета Кохановскимъ, какъ мы уже говорили выше, совершенно оригинална и ничуть не зависитъ отъ латинского произведенія, такъ что эту поэму нельзя считать не только переводомъ, но даже подражаніемъ, или парофразой. Даже на тѣ частности, гдѣ нашъ поэтъ подражалъ Видѣ, ему удалось положить отпечатокъ своей оригинальности, такъ какъ онъ обогащаетъ поэму своими мелкими подробностями и пропускаетъ тѣ черты латинской поэмы, которыхъ казались

ему почему-либо не вполнѣ подходящими. За произведенiem кремонского поэта необходимо признать, кроме хронологического первенства, больше достоинствъ въ обработкѣ подробностей и, главнымъ образомъ, въ формѣ. „Szachy“ Кохановскаго по своему содержанію, по эпической простотѣ разсказа, по естественному изображенію чувствъ и мыслей дѣйствующихъ лицъ, по жизненности самой композиціи должны быть поставлены гораздо выше латинской поэмы.

Еще одинъ вопросъ остается затронуть намъ по поводу только что разобранной поэмы Кохановскаго, а именно: о малорусскихъ формахъ въ ея языке. Такъ, наприм, въ 554 стихѣ мы читаемъ: „łacno durować, kiedy przystepruję“. Это самое выраженіе мы имѣемъ въ малорусскомъ: „добра дурити, коли приступае“. Кроме того, отмѣтимъ слѣдующія формы: „ku potkaniu“ (303 ст.)—„поткати ся“ (встрѣтиться), *podmiatają* „підмітати“ (въ смыслѣ подбрасывать), *rozad* (439) *wyciekli*—„утікати“, *szum, duższy*—„дужий“, *osobny*—„особний“ (въ смыслѣ красивый) и т. д. Также несомнѣнно народнымъ и, можетъ быть, малорусскимъ характеромъ отличается выраженіе въ 488 стихѣ: „a jemu prawie psi za uchem wyja“. Самое имя главнаго героя поэмы, *Федоръ*, несомнѣнно обще-русскаго происхожденія.

Въ заключительныхъ стихахъ своей поэмы Кохановскій выражаетъ мысль, что ему пора отдохнуть послѣ продолжительного путешествія по морямъ, гдѣ онъ познакомился съ произведеніемъ Виды. Не нужно искать болѣе яснаго указанія на время происхожденія поэмы, чѣмъ это. Сопоставляя съ только что приведенными словами нашего поэта имя Тарновскаго, которому посвящены „Szachy“, мы смѣло можемъ сказать, что они написаны вскорѣ послѣ возвращенія Кохановскаго изъ заграницы, когда онъ поселился у Яна Тарновскаго, съ которымъ его связывали близкія отношенія еще до отѣзда въ Италию и во время жизни въ Падуѣ. Можетъ быть, самое имя королевны заимствовалъ онъ у дочери гетмана, Анны. Въ пользу нашего предположенія о времени написанія этой поэмы говорятъ также малорусскіе обороты, къ которымъ, насколько можно судить, онъ ни разу не прибѣгалъ въ стихотвореніяхъ, написанныхъ въ Италии. Мы уже говорили, что имѣнія Тарновскихъ были расположены на границахъ Червонной Руси. Слѣдовательно, при дворѣ гетмана Кохановскій долженъ былъ слышать малорусскую рѣчь, которую онъ, можетъ быть, не безъ цѣли примѣнилъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своего произведенія. Его поэма изображаетъ эпизодъ изъ придворной жизни. Желаю по-

возможности върно описать ея черты, Кохановскій присматривался къ окружающей его обстановкѣ и оттуда бралъ матеріалы для своего произведения. Другого двора, кромѣ Тарновскихъ, онъ не видалъ; следовательно, именно его обстановку, онъ долженъ былъ изображать, если хотѣлъ остаться върнымъ дѣйствительности даже въ деталяхъ.

Можетъ быть, мѣстомъ дѣйствія онъ не случайно выбралъ Данію, намекая на романъ Тенчинскаго, разыгравшійся какъ разъ въ это время въ Швеціи, которая граничила съ Даніей. Намъ уже известно, что Кохановскій избѣгалъ топографической точности въ своихъ произведеніяхъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, иногда не пропускалъ случая бросить какой-нибудь прозрачный намекъ на событие, или мѣстность, такъ что и здѣсь онъ могъ въ лицѣ знатнаго чужестранца изобразить Тенчинскаго, а подъ Анной подразумѣвать шведскую принцессу Цецилію.

Постепенно въ душѣ нашего поэта итальянскія впечатлѣнія начинали стлаживаться, уступая мѣсто явленіямъ текущей дѣйствительности.

Въ 1560 году вступалъ на краковскую каѳедру Филиппъ Падѣвскій, занимавшій, кромѣ того, должность подканцлера.

Кохановскій въ пятой элегіи третьей книги ¹⁾ привѣтствуетъ новаго епископа, съ которимъ онъ, вѣроятно, былъ знакомъ раньше. Иначе нашъ поэтъ не употребилъ бы по отношенію къ нему выраженія „de cus teum,“ которое, очевидно, указываетъ на болѣе или менѣе продолжительныя взаимныя отношенія между ними. Элегія, конечно, написана въ похвальномъ духѣ. Трудно сомнѣваться въ искренности похвалы поэта. Конецъ этой элегіи проф. Тарновскій ²⁾ считаетъ выраженіемъ строго католическихъ убѣждений Кохановскаго который здѣсь совѣтуетъ епископу быть добрымъ пастыремъ, прогнать голодныхъ волковъ изъ своей овчарни и водворить въ церкви миръ. Краковскій профессоръ подъ голодными волками подразумѣваетъ протестантовъ, желавшихъ завладѣть церковными имуществами и на этомъ, главнымъ образомъ, основываетъ свое мнѣніе. Хотя эта догадка не лишена известной доли остроумія, однако она совершенно не доказывается въ строгомъ смыслѣ католическихъ убѣждений Кохановскаго. Теперь, когда намъ известны вновь открытые руко-

1) См. W. P. III, 104.

2) Op. cit. 185 p.

писныя элегіи нашего поэта, проникнутыя религіознымъ свободомысліемъ, мы, даже помимо другихъ данныхъ, должны одвергнуть мнѣніе Тарновскаго. Кромѣ того, развѣ однихъ только протестантовъ нужно считать голодными волками по отношению къ церкви? Развѣ въ средѣ самого католического духовенства не было такихъ недостойныхъ служителей алтаря, которые своей жадностью по истинѣ напоминали голодныхъ волковъ и создавали недоразумѣнія, нарушавшія церковный миръ и усилившія протестантское движение? Естественно было Кохановскому, какъ горячemu стороннику мира и, вмѣстѣ съ тѣмъ, человѣку, хорошо знакомому съ истиннымъ положеніемъ вещей, требовать отъ новаго епископа энергическихъ мѣръ для уничтоженія самаго корня зла. Наконецъ, эпитетъ „голодный“ могъ быть употребленъ нашимъ поэтомъ безъ всякой цѣли намекнуть на чьи-либо корыстолюбивыя побужденія; этотъ эпитетъ какъ-то самъ собою прилагается къ понятію „волкъ“ и въ данномъ случаѣ простое стилистическое явленіе было истолковано почтеннымъ краковскимъ профессоромъ, какъ ясно выраженный намекъ на стремленіе протестантовъ завладѣть церковными имуществами. Итакъ, если мы остановимся на пониманіи слова „голодный“, какъ простого фигурного выраженія, то мысль, высказанная Кохановскимъ въ заключеніи своей элегіи, принимаетъ еще болѣе простой видъ: поэтъ совѣтуетъ епископу блюсти церковь отъ всякихъ вредныхъ людей, безъ различія ихъ вѣроисповѣданія. Допустимъ даже, что Тарновскій правильно объясняетъ эпитетъ „голодный“, все таки на этомъ одномъ основаніи нельзя считать Кохановскаго строгимъ католикомъ, потому что у насть нѣть никакихъ данныхъ предполагать въ немъ такую быструю и ничѣмъ не вызванную перемѣну. По нашему мнѣнію, Кохановскій въ своемъ заключеніи отнюдь не касался своихъ собственныхъ убѣждений и попросту повторилъ стереотипный совѣтъ, даваемый обыкновенно вся кому новому епископу.

По своей моральной тенденціи, въ связи съ предыдущей элегіей, находится первая пѣснь первой книги¹⁾, представляющая простую передѣлку двадцать четвертой оды третьей книги Горатія. Содержаніе пѣсни не вѣжется съ веселымъ и немножко легкомысленнымъ характеромъ Кохановскаго. Впрочемъ, въ этомъ насть ничего удивительнаго, такъ какъ и самому веселому человѣку свойственны минуты

¹⁾ См. W. P. I. 267.

грустной задумчивости, когда все окружающее принимаетъ болѣе мрачную окраску и моральныя тенденціи сами собою напрашиваются на уста. Кто знаетъ, можетъ быть, Кохановскій пришелъ въ такое состояніе духа при видѣ грусти тѣхъ высокопоставленныхъ лицъ, къ которымъ онъ былъ близокъ, когда ихъ печалила судьба Рѣчи Посполитой? Тогда, вѣроятно, и написалъ нашъ поэтъ свою пѣснь. Нельзя предполагать, чтобы это грустное и серіозно обдуманное стихотвореніе было написано тотчасъ по возвращеніи Кохановскаго изъ заграницы; для этого необходимо было хорошо присмотрѣться къ окружающей обстановкѣ и познакомиться съ государственными людьми. Всѣ вынесенные впечатлѣнія необходимо было хорошоенько обсудить и взвѣсить, для чего требовалось не мало времени, и только тогда могло создаться подобное произведеніе. Знакомство съ такими лицами, какъ Паднѣвскій, хорошо освѣдомленными въ темныхъ и неприглядныхъ сторонахъ политической и общественной жизни Рѣчи Посполитой, могло побудить поэта къ написанію стихотворенія политико-дидактическаго содержанія, которое, благодаря красивой формѣ и авторитету Гората, должно было подѣйствовать на общественное мнѣніе и принести какіе-либо благіе результаты. Содержаніе этой пѣсни въ нѣкоторыхъ чертахъ сходится съ двумя позже написанными нашимъ поэтомъ произведеніями, каковы: „Satyr“ и „Zgoda“, и является какъ-бы подготовительнымъ предисловиемъ къ нимъ. Въ этомъ стихотвореніи видны слѣды политическихъ понятій и стремленій Кохановскаго, которые позже выражались имъ чаще и въ болѣе опредѣленной формѣ. Здѣсь они еще далеко не отличаются практическостью, а носятъ скорѣе дидактическій характеръ. Весь смыслъ этого произведенія сводится къ общимъ жалобамъ на губительныя послѣствія жадности, испорченности и изнѣженности. Страна, гдѣ поэтъ жалуется на то, что „nie umie syn szlachecki na koni wsiasc“, очень напоминаетъ мѣста изъ „Сатира“. Политическую тенденцію также можно видѣть въ слѣдующихъ мѣстахъ:

„kto chce ojczyzny ojcem byc nazwany, niech objezdzi swa wolę
smie nieukroconą“ и

Co po tych skargach próznych, jezli na wystepy
Przez szpary, jako mowią, patrzy urząd tepy?
Po co statut i prawa chwalebne stawiamy,
Jeżeli się obyczajów dobrych nie trzymamy

Можетъ быть, всѣ эти идеи нашему поэту случалось слышать отъ Паднѣвскаго. Выступая впервые на новомъ для себя поприщѣ политическаго писателя, онъ заимствовалъ форму для ихъ выраженія у Горация, руководствуясь господствовавшими тогда симпатіями къ античной поэзіи. Разсмотрѣнное стихотвореніе написано тринадцати-сложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога.

Къ этому же періоду, вѣроятно, относится десятая пѣснь первой книги¹⁾, написанная въ подражаніе двѣнадцатой оды первой книги Горация (*Carmen Saeculare*). Приподнятый тонъ отличается искусственностью и холодностью. Это стихотвореніе лишено всякаго вдохновенія и носить школьній, обязательный характеръ. Отсюда можно сдѣлать заключеніе, что оно написано въ теченіе первыхъ лѣтъ жизни Кохановскаго по возвращеніи на родину. Здѣсь онъ имѣлъ въ виду обратить на себя общественное вниманіе. Изъ заключительной похвалы Сигизмунду Августу видно, что стихотвореніе возникло еще въ царствованіе этого короля. Начало пѣсни похоже на одно изъ стихотвореній Ронсара, который, въ свою очередь, подражалъ Горацию. Еще ближе стоитъ рассматриваемая пѣснь къ похвалѣ герцогамъ изъ дома Эсте въ III пѣсни „Orlando furioso“ (отъ 24 до 59 строфы). Ариосто начинаетъ свою похвалу слѣдующими словами:

Chi mi dara la voce e le parole,
Chi l'ale al verso prestera.

Кохановскій говорить почти то-же самое:

Kto mi dał skrzydła, kto mię odziałał pióry.

Въ слѣдующихъ четырехъ строфахъ напѣть поэтъ перефразируетъ общеизвѣстныя мѣста изъ псалмовъ (слѣдовательно уже тогда онъ былъ знакомъ съ псалтыремъ). Переходя къ изложенію самого предмета своей пѣсни, Кохановскій говоритъ:

Widzę Jageńia i dwu Kazimierz, —
Dobrych tak w boju, jako i w przymierzu
Widzę i ciebie, gwieździe równym prawie
Cny Władysławie.

Это мѣсто весьма напоминаетъ 26 строфу „Орlanda“:

Vedi qui Alberto, invitto Capitano
Ch'ornera di trofei tanti delubri,

¹⁾ См. W. P. I. 279.

Ugo il figlio è con lui, che di Milano
Fara l'acquisto

Приведенныхъ параллелей достаточно, чтобы установить фактъ подражанія Кохановскаго Ариосту.

Каждая строфа польского стихотворенія состоитъ изъ четырехъ строкъ, при чемъ первыя три написаны одиннадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ пятаго слога, а послѣдній стихъ заключаетъ въ себѣ только пять слоговъ.

Въ 1561 году скончался гетманъ, Янъ Тарновскій, покровитель нашего поэта. Кохановскій изъ чувства долга и горячей признательности къ нему написалъ по этому поводу латинскую элегію и польское стихотвореніе. Элегія на смерть Тарновскаго ¹⁾ произвела въ Польшѣ сильное впечатлѣніе, какъ видно изъ свидѣтельства Ожеховскаго. И латинская элегія, и польское стихотвореніе ²⁾ въ цѣломъ очень походята другъ на друга. Хотя польское стихотвореніе гораздо длиннѣе второй элегіи четвертой книги, однако въ обоихъ произведеніяхъ заключены одинаковыя мысли, тѣ же самыя похвалы и утѣшенія сыну покойнаго; все это носитъ нѣсколько условный характеръ. Польское стихотвореніе обращено къ сыну и начинается очень красиво, латинская же элегія непосредственно къ умершему.

Въ польскомъ есть прекрасное выраженіе:

Nakoniec pełen wieku i przystojnej chwały
Sam się prawie położył jako kłos dojrzały.

и въ латинскомъ:

Atque ut durus Atlas stellatam sustinet axem

Res humeris ita erat nixa Polona tuis.

Въ обоихъ стихотвореніяхъ видна одна и та же философская мораль, свойственная Цицерону и античнымъ мудрецамъ. Не слѣдуетъ, по словамъ поэта, оплакивать того, кто, исполненный заслугъ, отошелъ въ вѣчность и оставилъ по себѣ добрую славу. Такой человѣкъ не умираетъ. Все на свѣтѣ имѣеть свой конецъ. Нѣть уже теперь ни Карабагена, ни Рима. Нужно примириться съ волей Божьей, подражать примѣру почившаго и этимъ чтить его память.

¹⁾ См. W. P. III. 162.

²⁾ См. W. P. II. 358.

Въ обоихъ произведеніяхъ поэтъ относится къ самому факту смерти съ холоднымъ равнодушіемъ.

Польское стихотвореніе написано звучнымъ тринадцатисложнымъ стихомъ съ цезурой послѣ седьмого слога.

Въ 1562 году не стало Тенчинскаго. И его смерть также оплакалъ Кохановскій въ двухъ стихотвореніяхъ на польскомъ¹⁾ и на латинскомъ²⁾ языкахъ. Они отличаются отъ предыдущихъ меньшимъ сходствомъ между собою и большею силою чувства. Безвременная кончина сверстника, конечно, должна была сильнѣе тронуть молодого поэта. Грустныя обстоятельства, сопровождавшія смерть юнаго Бэлзскаго воеводы, свадьба, къ которой онъ приготовлялся, наконецъ, личность и санъ его невѣсты окружали это событие поэтическимъ ореоломъ и сдѣлали Тенчинскаго героемъ романовъ, написанныхъ позднѣйшими писателями. Если-бы нашего поэта связывали съ умершимъ воеводой болѣе близкія отношенія, то посвященный его памяти стихотворенія заключали бы въ себѣ еще больше грусти. Съ именемъ Тенчинскаго соединялись у Кохановскаго воспоминанія объ Италии, о чёмъ свидѣтельствуетъ четвертая элегія третьей книги и въ этомъ, главнымъ образомъ, заключается разница между ней и польскимъ „Воспоминаніемъ“ (*Pamiątką*). Изъ первыхъ словъ этой элегіи, судя по выражению: „Quartus, ni fallor vertitur annus“, какъ Тенчинскій живетъ заграницей, можно вывести заключеніе, что начало ея было написано гораздо раньше, по всей вѣроятности, еще во Франціи, при встрѣчѣ съ Тенчинскимъ, или въ Польшѣ, когда Кохановскій узналъ о его предполагаемомъ путешествіи въ Италию. Первоначальной мыслью нашего поэта было, вѣроятно, выраженіе своихъ добрыхъ пожеланій уѣзжавшему земляку и, вмѣстѣ съ тѣмъ, воспоминаніе о томъ, что ему самому еще такъ недавно приходилось видѣть. Элегія эта очень интересна, какъ единственное подробное воспоминаніе нашего поэта объ Италии вмѣстѣ съ ея описаніемъ. Нужно, однако, сказать, что описание сдѣлано въ самыхъ общихъ чертахъ, безъ всякаго слѣда сильнаго поэтическаго впечатленія. Благодатный климатъ вѣчной весны и обильная жатва безъ особеннаго труда только и запечатлѣлись съ наибольшей силой въ памяти

¹⁾ См. W. P. II. 367.

²⁾ См. W. P. III. 100.

поэта. Далѣе у Кохановскаго слѣдуетъ сухой перечень рѣкъ, съ которыми придется встрѣтиться путешественнику по Италии, и городовъ, изъ которыхъ нашъ поэтъ останавливается на Римѣ, пришедшемъ почти въ совершенный упадокъ. Послѣднее обстоятельство наводитъ Кохановскаго на размышленія о бренности всего, что создано человѣческими руками. На этомъ, вѣроятно, и закончилъ поэтъ свою элегію и только впослѣдствіи, когда узналъ о смерти Тенчинскаго, прибавилъ заключеніе: *Hec miserande puer! tot bona tam parvo clausa tumulo.*

„Pamiątka Janowi z Tęczyna“ навѣяна его смертью и цѣликомъ вылилась вслѣдъ за полученіемъ этого печального извѣстія. Здѣсь описывается слава фамиліи Тенчинскихъ, добродѣтели и жизнь молодого воеводы. Затѣмъ слѣдуетъ разсказъ объ его первомъ путешествіи въ Швецію, его романѣ, въ которомъ онъ сравнивается съ Тезеемъ, а Цецилія съ Ариадной, ихъ нѣжное прощаніе и взаимныя клятвы, которыми они обмѣнивались при отѣзданіи Тенчинскаго въ Польшу. Далѣе идетъ описание его вторичнаго отѣзда, внезапнаго заключенія въ тюрьму, болѣзни и смерти. Все это занимаетъ около трехсотъ стиховъ. Хороши проникнутыя грустью прощальныя слова умирающаго, обращенные къ матери и къ невѣстѣ. Можетъ быть, это и есть передача его подлинныхъ словъ, такъ какъ описание болѣзни и послѣднихъ минутъ кажется пересказаннымъ по словамъ очевидцевъ.

Изъ стихотвореній, относящихся къ данному періоду и посвященныхъ другимъ лицамъ, у Кохановскаго есть немалое количество, написанныхъ къ Фирлеямъ, о которыхъ онъ всегда вспоминаетъ съ любовью и уваженіемъ. Трудно, однако, опредѣлить, кому изъ этой фамиліи и когда именно написано каждое изъ нихъ. Напримѣръ, „Эпитафія“ Николаю Фирлею можетъ относиться къ тому самому лицу, которому еще Кшицкій писалъ надгробную надпись, такъ какъ въ стихотвореніи Кохановскаго говорится о геройской смерти отъ руки непріятеля. Другой Николай Фирлей не погибалъ на полѣ битвы, третій, сынъ маршалка, пережилъ Кохановскаго. Самая красивая изъ латинскихъ стихотвореній нашего поэта написана къ Фирлеямъ, а именно: возвышенная третья элегія четвертой книги¹⁾ и пятая ода изъ „Lyricorum libellus“²⁾. Желая опредѣлить, кому изъ

¹⁾ См. W. R. III. 171.

²⁾ См. W. R. III. 266.

Фирлеевъ онъ посвящены, Станиславъ Тарновскій даетъ слѣдующую гипотезу¹⁾: Янь Фирлей, маршалокъ, былъ значительно старше Кохановскаго, такъ какъ участвовалъ въ посольствахъ еще въ то время, когда нашъ поэтъ былъ подросткомъ. Сыновья маршалка были моложе Кохановскаго, но не настолько, чтобы между ними и поэтомъ не могло существовать почти товарищескихъ отношений, такъ какъ старшій изъ нихъ, Николай, уже въ 1573 году ъездилъ съ посольствомъ къ королю Генриху II. Отсюда можно предполагать, что болѣе серіозная по содержанію третья элегія, вѣроятно, была посвящена маршалку, а болѣе легкая и веселая—его сыновьямъ.

Однако, по своей формѣ эти произведенія такъ хороши, что ихъ трудно отнести къ раннему періоду творчества Кохановскаго; скорѣе они возникли уже въ то время, когда нашъ поэтъ закончилъ свое образованіе. Эпиграмму „In Villam Dambrovitiam“ и „Epitaphium“ можно было бы отнести и къ школьнѣмъ годамъ жизни Кохановскаго, если только этотъ Николай дѣйствительно дядя маршалка.

Вѣроятно, уже по возвращеніи изъ-за границы нашъ поэтъ написалъ пятнадцатую элегію первой книги²⁾ „О Вандѣ“. Тарновскій считаетъ необходимымъ нѣсколько умѣрить тѣ похвалы, которыми награждаетъ Лѣвенфельдъ это произведеніе, какъ самое объективное и совершенное въ творчествѣ Кохановскаго. По словамъ уважаемаго краковскаго профессора³⁾, эта элегія по своему типу ничѣмъ не отличается отъ гуманистическихъ произведеній въ этомъ родѣ, хотя ей нельзя отказать въ нѣкоторыхъ литературныхъ достоинствахъ: отдѣлка ея по тщательности доведена до послѣдней степени возможности, выборъ темы и умѣніе развить ее, при помощи приобрѣтенныхъ наукой матеріаловъ, составляетъ также не малую заслугу для польского поэта. Въ виду того, что Кохановскій въ болѣе поздніе годы своей жизни уже оставляетъ въ своихъ стихотвореніяхъ миѳологические и легендарные сюжеты для явлений текущей дѣйствительности, можно думать, что эта элегія написана имъ еще въ то время, когда, только-что вернувшись изъ заграницы, онъ хотѣлъ заявить о себѣ хоть чѣмъ-нибудь, сдать какъ-бы публичный экзаменъ въ тѣхъ

См. Tarnowski. Op. cit p. 191.

) См. W. P. III. 46.

) Ibid. p. 192.

свѣдѣніяхъ и талантахъ, которые онъ пріобрѣлъ и развили въ чужихъ странахъ путемъ многолѣтняго труда.

Сейчасъ мы разсмотрѣли тѣ изъ стихотвореній Кохановскаго, въ которыхъ отразились воспоминанія объ Италіи, легендарные сюжеты, или внѣшнія событія въ теченіе первыхъ лѣтъ жизни нашего поэта по возвращенію на родину. Въ нихъ уже начинаютъ складываться политическая убѣжденія, которыя онъ высказывалъ позже съ большей опредѣленностью и силой. Всѣ его симпатіи въ данное время привлекаетъ гуманистическое стремленіе къ мирному процвѣтанію родного края.

III.

„Фрашки“, какъ форма литературныхъ произведеній. Ея возникновеніе и дальнѣйшая исторія. „Facetiae“ Поджіо Браччолини, Бебеля, Гаста и другихъ гуманистовъ. „Figliki“ Николая Ря изъ Нагловицъ. „Фрашки“ и „Foricoenia“ и „Apophategmata“ Яна Кохановскаго. Ихъ отношеніе къ фасціямъ гуманистовъ и Ря. Ихъ самобытный характеръ. „Фрашки“ и „Foricoenia“, какъ отраженіе всей интимной жизни поэта. Застольныя, анакреонтическія и шутливыя стихотворенія. Отношеніе Кохановскаго къ друзьямъ и благодѣтелямъ. Нападки на духовенство. Религіозные взгляды поэта. Его отношеніе къ себѣ и къ своимъ произведеніямъ.

Въ только-что разобранныхъ нами произведеніяхъ Кохановскій отзывался на явленія преимущественно общественнаго характера. Для освѣщенія частной жизни поэта въ занимающую нась эпоху необходимо познакомиться съ его „Фрашками“, латинскими эпиграммами, извѣстными подъ названіемъ: „Foricoenia“, а также и „Апофтегмами“. Всѣ эти произведенія такъ тѣсно связаны между собою содержаніемъ и формой (за исключеніемъ изложенныхъ прозой „Апофтегмъ“), что разбирать ихъ въ отдѣльности нѣть никакого основанія.

„Фрашки“, „Foricoenia“ и „Apophategmata“ относятся къ тому типу литературныхъ произведеній, который извѣстенъ на Западѣ подъ именемъ: *Schwänke*, *Facetten*, *facétie*, *contes à rire*, *facezie*, *burle* и т. п. Такіе анекдоты существовали еще въ античной литературѣ, какъ напр. въ трактатѣ Цицерона: „De oratore“ мы встрѣчаемъ ихъ въ значительномъ количествѣ. Въ средніе вѣка немало ихъ можно

встрѣтить въ французскихъ „fabliaux“ и даже церковныхъ проповѣдяхъ.

Ранніе итальянскіе гуманисты придали этимъ бродячимъ анекдотамъ классической характеръ и сдѣлали изъ нихъ совершенно самостоятельную отрасль беллетристики¹⁾. Творцомъ фацецій въ истинномъ значеніи этого слова былъ Поджіо Браччолини (1380—1459), секретарь и любимецъ папы Николая V, у котораго время отъ времени собирался кружокъ веселыхъ и остроумныхъ собесѣдниковъ, забавлявшихся разсказываніемъ различныхъ анекдотовъ и смѣшныхъ приключений. Въ числѣ лицъ составлявшихъ эту компанію былъ грамматикъ Антоніо Лоски, поэтъ Агапито Ченчи де Рустичи и нѣкій Разелло изъ Болоньї. Мѣсто, гдѣ они собирались, называлось „bugiale“ т. е., какъ объясняетъ Поджіо, „*mendaciorum veluti officina quadratam*“. Всѣ разсказанные тутъ анекдоты и приключения были собраны папскимъ секретаремъ и изданы подъ заглавіемъ: „Facetiae“.

Большая часть заключающихся въ нихъ повѣствованій носить непристойный, порнографический характеръ; иные анекдоты осмѣидаютъ распущенность кардиналовъ, иные касаются излишняго любопытства духовниковъ, невѣжества и глупости духовенства и т. п.

„Фацеціи“ Поджіо вполнѣ соотвѣтствовали духу своего времени и встрѣтили въ публикѣ самый радушный пріемъ, о чёмъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что въ теченіе XV столѣтія онъ выдержали двадцать шесть изданій, не считая множества расходившихся одновременно рукописныхъ ихъ копій²⁾.

Поджіо своимъ сборникомъ начинаетъ эпоху фацецій, составляющихъ одну изъ наиболѣе существенныхъ отраслей беллетристики Ренессанса³⁾. Съ его лѣгкой руки возникаетъ множество новыхъ сборниковъ фацецій по латыни и на народныхъ языкахъ. Источниками для нихъ кромѣ Поджіо служатъ произведенія народнаго творчества и преимущественно вся средневѣковая морально-теологическая литература, какъ то: „Gesta Romanorum“, „Dialogus creaturarum“, „Disciplina clericalis“ Петра Альфонса, „Historia septem sapientum“ и др.

¹⁾ См. Voigt. Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus. Zweite Ausgabe. II, S. 414.

²⁾ Voigt. Op. cit. II t., p. 417.

³⁾ См. F. Bobertag. Geschichte des Romans und der ihm verwandten Dichtungsgattungen in Deutschland. Breslau. 1876, S. 114.

Богатый материалъ представляли въ этомъ отношеніи также средневѣковыя проповѣди, переполненные всевозможными баснями и анекдотами, очень часто совершенно не идущими къ дѣлу. Вскорѣ послѣ своего выхода въ свѣтъ „Фацетіи“ Поджіо были переведены на французскій языкъ, вслѣдъ за тѣмъ уже на французской почвѣ возникли сборники Ноэля дю Файля и др.

Въ Германіи уже въ 1486 году Августинъ Тюнгеръ приготовлялъ къ печати собраніе анекдотовъ, которое однако вышло въ свѣтъ только въ наши дни¹⁾. Фацетіи Поджіо вошли въ сборникъ Себастіана Бранта: „Esopi apologi sive mythologi cum quibusdam carminum et fabularum additionibus. Basileae 1501“. Творцомъ-же нѣмецкихъ народныхъ фацетій, хотя и на латинскомъ языкѣ, былъ гуманистъ Генрихъ Бебель²⁾, который съ большимъ остроуміемъ характеризуетъ безнравственность, ограниченность, жадность и продажность католическаго духовенства, глупость и наивность своихъ согражданъ, а также и порнографію удѣляетъ значительное мѣсто. Бебель нашелъ себѣ многихъ подражателей, изъ которыхъ отмѣтимъ Люсцинуса „Joci ac sales mire festivi... Augstae Vindelicorum 1524“ и Гаста „Convivales sermones. Basileae 1543“. На ряду съ этими латинскими сборниками явились и на нѣмецкомъ языкѣ—„Schimpf und Ernst. 1522“ доминиканца Паули, „Rollwagenb鏑lein 1555“ Виккрама и др.

Въ Польшѣ первымъ сборникомъ фацетій были „Figliki“ Николая Ря изъ Нагловицъ, вышедшіе первымъ изданіемъ въ 1562 году. Предшественникомъ Ря на этой почвѣ былъ, по свидѣтельству біографа Андрея Кшицкаго³⁾, нѣкій шляхтичъ, Корыбутъ Коширскій, изъ земли Сохачевской, весьма известный своимъ остроуміемъ и пользовавшійся самой широкой популярностью среди шляхты. По словамъ Гурскаго, если-бы записать все разсказанные имъ анекдоты, то они составили-бы нѣсколько томовъ. Вотъ этотъ именно Корыбутъ Коширскій и былъ, по свидѣтельству вышеупомянутаго біографа, авторомъ фацетій, заключающихся въ произведеніяхъ Андрея Кшицкаго, каковы, напр.: „De aegroto et medico vinoso“, „Responsum puellae ad sacerdotem“, „De sacerdote et confitente“ и др.

¹⁾ См. A. Tüngers Facetien, herausgegeben von Keller. Stuttgart und Tübingen 1875.

²⁾ См. Bobertag. Op. cit. p. 128.

³⁾ См. Andreae Cricii carmina. edidit Cas. Morawski. Cracoviae. 1888, p. XXXIX.

По формѣ „Figliki“ Рей представляютъ исключительно восьмистишія, написанныя, по преимуществу, тринадцатистрочнымъ размѣромъ. Въ ихъ содержаніи главное мѣсто занимаетъ элементъ сатирическій. Авторъ смѣется надъ легковѣріемъ, глупостью и грубостью крестьянъ, а иногда и мѣщанъ; но больше всего достается отъ Рей духовенству: есендзамъ, монахамъ, епископамъ и кардиналамъ. Фацеціи эти являются какъ-бы иллюстраціей къ сатирѣ на католическое духовенство, выраженной въ „Звѣринцѣ“, „Апокалипсисѣ“ и другихъ произведеніяхъ поэта-протестанта. Болѣе всего нападаетъ онъ на нравственную распущенность духовенства, на его честолюбіе, скучность пьянство и обжорство. Догматы и обряды католической церкви подвергаются въ фацеціяхъ Рей самому грубому осмѣянію¹⁾.

Характерной особенностью фацецій Рей является то, что въ нихъ почти совершенно не фигурируетъ польская шляхта. Только разъ вооружается онъ противъ излишества въ угощеніяхъ за обѣдомъ у шляхтича. Зато литвинамъ не разъ достается отъ Рей такъ же, какъ нѣмцамъ и чехамъ. Изъ общественныхъ недуговъ отмѣчаетъ онъ про дажность судій и чрезмѣрную склонность поликовъ къ религіознымъ диспутамъ. Остальную часть фацецій Рей составляютъ различные анекдоты, шутки, смѣшныя приключенія, частью заимствованные изъ сборниковъ Поджіо, Бебеля, Гаста, Абстеміуса, Эразма Роттердамского *Familiaia colloquia*), басенъ Эзопа, бродячихъ анекдотовъ, частью возникшіе на польской почвѣ.

Къ послѣдней категоріи относятся преимущественно тѣ, въ которыхъ говорится о писаніи на стѣнахъ смѣшныхъ, или непристойныхъ стихотвореній, чего ни въ одной изъ западно-европейскихъ литературъ мы не встрѣчаемъ. Сюда же нужно отнести фацеціи, юморъ которыхъ основывается на игрѣ польскихъ словъ.

Въ общемъ „Figliki“ Рей по своему содержанію стоятъ весьма близко къ подобнымъ же сборникамъ западно-европейскихъ фацецій. Въ одномъ только польскій поэтъ позволяетъ себѣ отступить отъ своихъ литературныхъ образцовъ, это именно въ склонности къ морализаціи, которая представляетъ отличительную особенность его творчества. Не только многія изъ его фацецій заканчиваются коротень-

¹⁾ См. *Rozprawy Akademii Umiejetności*, t. XXIII, str. 330 (Ignacy Chrzanowski. Facecye Mikolaja Reja).

кими нравственными сентенциями, но иногда даже целикомъ посвящены морали, какъ, напримѣръ, первое стихотворение: „Król więc Zygmunt powiedał“, или „Nato, iż nam zawždy mało“ и т. п.

Вскорѣ послѣ изданія фацецій Николая Рей, а, можетъ быть, и несколькими годами раньше, въ Польшѣ стали распространяться и приобрѣтать заслуженную извѣстность фацеціи Яна Кохановскаго, названныя имъ „Фрашками“. (Извѣстно, что и Рей свои „Figliki“ называлъ также фрашками, что собственно значитъ—пустыя, незначущія вещи). Свидѣтельство объ этомъ мы имѣемъ въ „Дворянинѣ“ Лукаша Гурницкаго¹⁾, который, приводя анекдотъ о любельскомъ помѣщикѣ, по фамиліи Козлѣ, говоритъ, что Кохановскій „rzecz tѣ w swojich Fraszkach bardzo trefnie wierszem powiedział“²⁾.

Къ тому же времени относятся латинскія „Foricoenia“ нашего поэта, почти тождественные по содержанію его польскимъ фрашкамъ. Нѣкоторыя изъ послѣднихъ представляютъ точный переводъ латинскихъ эпиграммъ Кохановскаго. Тогда же, вѣроятно, возникли и прозаические анекдоты Яна, извѣстные подъ названіемъ „Apophlegmata“. Многія изъ фрашекъ и латинскихъ эпиграммъ нашего поэта были написаны гораздо раньше указанного нами времени, еще въ годы его падуанской и краковской жизни и продолжали выходить изъ подъ пера Кохановскаго вплоть до послѣднихъ дней его. Въ пользу этого свидѣтельствуетъ содеряніе значительного числа вышеупомянутыхъ произведеній, печатные сборники которыхъ, просмотрѣнныя самимъ авторомъ, вышли лишь въ годъ его смерти (1584). „Apophlegmata“-же появились въ изданіи Янушовскаго „Fragmenta, albo pozostałe pisma Jana Kochanowskiego. W Krakowie, w drukarni Łazarzowej, roku Pańskiego 1590“.

Въ этихъ изданіяхъ дошло до насъ: 1) три книги фрашекъ, изъ которыхъ первая заключаетъ въ себѣ 96 небольшихъ стихотвореній, вторая 106, третья—94 (изъ нихъ фрашки, начиная отъ 87, составляютъ какъ-бы отдѣльную тетрадку, озаглавленную „Dobrym towarzyszom gwoli“); 2) „Foricoenia sive epigrammatum libellus“, состоящія изъ 123 эпиграммъ; 3) „Apophlegmata“, заключающія въ себѣ 23 фацеціи.

¹⁾ См. St. Tarnowski. Op. cit. p 210.

²⁾ См. „Dworzanin“ Lukasza Górnickiego. Wyd. 1639 roku. stron. 169.

Изъ всѣхъ этихъ произведеній къ классическому образцу Поджіо Браччолини, Бебеля, Гаста и другихъ наибольшею близостью отличаются „Aporhtegmata“, которые представляютъ изъ себя собраніе остроумныхъ анекдотовъ. „Фрашки“ же и „Foricoenia“, на ряду съ анекдотами, остроумной игрой словъ и насмѣшками надъ различными отрицательными явленіями, заключаютъ множество стихотвореній совершенно иного характера. Здѣсь можно встрѣтить восторженные гимны женской красотѣ и пропитанныя желчью сатирическія эпиграммы на недостойныхъ избранницъ поэта, полныя искренняго чувства дружескія изліянія и выраженія горькаго разочарованія въ людяхъ, стихотворенія, дышащія строгой стойческой моралью и анакреонтическія, подъ часть фривольныя пѣсни въ честь Вакха и Киприды, горячія молитвы искренно вѣрующаго христіанина и безотрадная размышленія философа скептика надъ тайнами мірозданія. Словомъ, въ фрашкахъ и эпиграммахъ, какъ въ зеркаль, отразилась вся полная противорѣчій, полная радостей и невзгодъ жизньпольского поэта гуманиста, который не даромъ такъ выражается о своихъ фрашкахъ:

Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje,
W które ja wszystki kładę tajemnice swoje,
Obraźliby się kiedy kto tak pracowity,
Żeby w was chciał wyczerpać umysł mój zakryty,
Powiedźcie mu, niech prózno nie frasuje głowy,
Bo się w dziwny labirynt i błąd wda takowy,
Zkąd żadna Ariadna, żadne kłębki tylne
Wywieść go móc nie będą, tak tam ścieżki mylne¹⁾...

или въ другомъ мѣстѣ:

Fraszki tu niepoważne z statkiem się zmieszały....
A ja, jako bogaty kupiec w sklepie wielkim
Rozkładam swe towary eudzoziemcóm wszelkim,
Tu bisiór, tu koftery, tu Włoskie zaponki,
Sam dalej pothatłasie i czarne pierścionki.²⁾

Такое разнообразіе содержанія составляетъ главное отличіе фрашекъ Яна Кохановскаго отъ подобныхъ же произведеній западныхъ

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 415.

²⁾ См. W. P. t. II, str. 420.

гуманистовъ. Въ фрашкахъ нашъ поэтъ является, если такъ можно выразиться, еще болѣшимъ гуманистомъ, чѣмъ его предшественники въ этомъ направленіи, такъ-какъ свои „Фрашки“ и „Foricoenia“ строитъ преимущественно по образцу эпиграммъ античныхъ лириковъ. Онъ не только подражаетъ имъ въ отдѣльныхъ стихотвореніяхъ, но даетъ иногда переводы изъ классическихъ антологій, греческой и римской. Вотъ эти то антологіи и послужили Кохановскому типомъ для его сборника фрашекъ и эпиграммъ, а форма произведеній, выработанная Поджіо и его школой, нашла себѣ выраженіе только въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ нашего поэта, не лишенныхъ иногда порнографического реализма, въ нападкахъ на духовенство, (которыя, конечно, имѣли фактическую подкладку въ Польшѣ того времени) въ остротахъ и шуткахъ, разсыпанныхъ щедрой рукою среди фрашекъ и эпиграммъ.

Эти же самыя черты сближаютъ „Фрашки“ и „Foricoenia“ Кохановскаго съ фацѣями Николая Рея. Кромѣ того общими мѣстами у обоихъ поэтовъ является склонность къ морализаціи и нѣкоторые факты, составляющіе исключительную особенность польской жизни, каковъ, напримѣръ, обычай писать на стѣнахъ пасквильныя стихотворенія¹⁾. Наконецъ въ нѣкоторыхъ фрашкахъ и апофегмахъ Кохановскаго есть мотивы, уже разработанные раньше Реемъ въ его фацѣяхъ. Возьмемъ, напримѣръ, изъ „Aporhtegmata“ двѣнадцатый анекдотъ²⁾, гдѣ описывается случай съ королемъ Сигизмундомъ, имѣвшимъ обыкновеніе умываясь передавать свои кольца кому-нибудь изъ придворныхъ. У Рея мы читаемъ слѣдующую фацѣю:

Co królowi pierścieni nie wrócił.

Król raz, umywajac się, więc pierścienie podał,
Ten co je wziął, tak mnimał, iż ich król zapomniał.
W rok takiež król pierścienie, zjawszy z rąk podaje,
A ten do nich ochotnie poskoczy z przełaje.
Król rzecze: „Postój, bracie, wróć mi pierwiej drugie,
Bo zda mi się, że to już żarty nazbyt długie³⁾...“

Этотъ же самый анекдотъ, пріуроченный къ королю Альфонсу, раз-

¹⁾ См. Rozprawy, t. XXII, str. 372 и W. P. t. II, str. 440, fr. 92. „O gościu“.

²⁾ См. W. P. t. II, str. 454.

³⁾ См. Rozprawy, t. XXIII, str. 365.

сказанъ Кастильоне въ его „Il cortegiano“¹⁾ и повторенъ Гурницкимъ въ его „Дворянинѣ“²⁾.

А вотъ слѣдующій, тринадцатый анекдотъ изъ апофтергмъ Кохановскаго о случаѣ съ ксендзомъ Наропинскимъ, ежедневно являвшимся къ столу короля Сигизмунда безъ всяаго съ его стороны приглашенія³⁾. Рей, не называя именъ, разсказываетъ тоже самое:

Ksiądz, co się u króla umył, a doma jadł⁴⁾.

Ksiądz się jeden ponęcił, choć mu nie kazali,
Siadać z królem do stołu, acz się drudzy śmiali.
Król się potym umyje, a ksiądz też do wody,
A kroczy potym za stół, pomuskając brody.
Król rzecze: „Iżeś się umył, dosyć tak, prełacie,
Raczież iść jeść do domu, jesliże co macie“....

Семнадцатый анекдотъ⁵⁾ въ апофтергмахъ нашего поэта также встречается у Рей въ фацеїи подъ слѣдующимъ заглавиемъ: „Dwa biskupi, chytry a głupi“⁶⁾.

Обращаясь къ своему строгому критику, Кохановскій въ двадцать девятой эпиграммѣ⁷⁾ говоритъ:

Quod potis in nostro, quod sit mage carmine, Toma,
Praedurum censes, illepidumque vocas.
Et quid agas mecum? nobis quoque displicet ipsis,
Sed mage molliculum condere tu potis es.

Съ такою же ироніей Рей въ своей фацеїи: „Do tego co czytał“⁸⁾ говоритъ:

Jeśli też z niełaski na lewo szacowałeś,
Masz papir,—napisz lepiej! ja będę dziękował.

Ту же мысль высказываетъ Поджіо въ предисловіи къ своимъ фаце-

¹⁾ См. Il Cortegiano, publ. C. Bandi di Vesme. Firenze, 1854, p. 143.

²⁾ См. „Dworzanin“, wyd. Chmielowskiego, str. 113.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 454.

⁴⁾ См. Rozprawy, t. XXIII, str. 374.

⁵⁾ См. W. P. t. II, str. 456.

⁶⁾ См. Rozprawy, t. XXIII, str. 375.

⁷⁾ См. W. P. t. III, str. 200.

⁸⁾ См. Rozprawy t. XXIII, str. 335.

цимъ, гдѣ онъ совѣтуетъ хулителямъ, чтобы „ipsi eadem ornatius politiusque describant“¹⁾.

Вотъ и все, что есть общаго между фацеціями Рей и разбираемыми произведеніями Кохановскаго. Въ остальномъ они отличаются самобытнымъ характеромъ (конечно, только по сравненію съ выше указанными фацеціями Рей и западныхъ гуманистовъ).

Подобно тому какъ фацеціи Поджіо возникли въ кругу веселыхъ собесѣдниковъ папы Николая V, значительная часть эпиграммъ и франшкъ Кохановскаго обязана своимъ происхожденіемъ шумнымъ пирамъ у гостепріимнаго Мышковскаго, или кого-нибудь изъ другихъ образованныхъ, богатыхъ магнатовъ, любившихъ широко пожить и украшавшихъ свои великолѣпные чертоги обществомъ веселыхъ и остроумныхъ шляхтичей, искусствныхъ музыкантовъ и даровитыхъ поэтовъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ Кохановскій, который, посвящая свои „Foricoenia“ Петру Мышковскому, епископу Краковскому, такъ говоритъ:

Accipe jure tuis foricoenia debita mensis,

Non Aganippaeo fonte sed hausta cado.

Haec mihi, dum violae regnant, dum pocula spumant,

Corniger occulta dictat in aure deus.

Queis horam neque tu meliorem impende legendis:

Inter vina volunt ebria scripta legi²⁾.

Свое отношеніе къ такого рода жизни среди кутежей и веселыхъ товарищей нашъ поэтъ прекрасно выразилъ въ 71 франшкъ I книги „Z Anakreonta“³⁾:

Ja dobrzej myſli zawždy chcę užywaćć,

Ja z przyjaciół� chcę pospołu bywać.

A jeśli Wenus od tego nie będzie,

I Bogumiła niechaj się przysięzie.

За этимъ пиромъ нѣть мѣста серіознымъ повѣствованіямъ о кровопролитныхъ битвахъ, блестящихъ побѣдахъ и тому подобныхъ серіозныхъ материалахъ:

¹⁾ См. Poggii Florentini et philosophi Opera. Basileae. 1538. „Ne aemuli car-
a cetiarum opus propter tenuitatem“.

²⁾ См. W. P. t. III, str. 184.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 355.

Skoro w rękę wezmę czaszę,
Wnet ze łba troski wystraszę¹⁾....

Поэту только нужно, чтобы съ нимъ сидѣли его пріятели,
А tym czasem robotnicy
Pieczę mieli o winnicy²⁾....

Здѣсь не мѣсто гордымъ,
Takiego wolę, co zaspiewać może,
I co z pannami tancować pomoże³⁾.

Всѣхъ приглашаетъ поэтъ къ веселью, пѣснямъ и вину:

Laeti merum bibamus
Bacchumque concinamus,
Bacchum patrem choreae,
Et cantilenaе amicu.
Bacchum, sodalem Amoris,
Carissimum Cythereae,
Per quem joci ac lepores...
Vino ergo recreemur,
Curasque ne moremur...
Cui fas futura scire est?
Incerta vita nostra est.
Potus volo choreas
Ductare, odoribusque
Large fluens jocosis
Saltare cum puellis⁴⁾....

Вотъ на такихъ пирахъ и рассказывались интересные анекдоты, слышались остроумныя прибаутки и шутливыя насмѣшки надъ всевозможными слабостями ближняго. Несомнѣнно и Кохановскій вносилъ свою богатую дань въ эту сокровищницу человѣческаго празднословія, о чмъ свидѣтельствуетъ значительная часть фразеъ и эпиграммъ шутливаго и даже иногда фривольнаго содержанія. Тутъ передъ нами проходитъ цѣлая серія комическихъ персонажей. Вотъ шляхтичъ, по фамиліи Козель⁵⁾, напившись до безпамятства, спра-

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 403. Fr. 5. „Z Anakreonta“.

²⁾ Ibid. Fr. 4.

³⁾ Ibid. p. 350. Fr. 53.

⁴⁾ См. W. P. t. III, str. 192

⁵⁾ См. W. P. II. 367.

шиваетъ у встрѣчнаго: „куда мнѣ итти спать?“ и получаетъ остроумный отвѣтъ: „ты Козель, такъ иди въ хлѣбъ“. Вотъ лысый Бартонъ съ испанской бородой, красоты котораго и въ грошъ не цѣнить прекрасный поль.

Co jeſli tak jest, szkodać i urody,
I tei lysiny i tej czystej brody¹⁾.

Вотъ мертвѣцки пьяная баба улеглась въ гробъ и оттуда ведеть съ прохожимъ комичную бесѣду, отвѣчая на его вопросы совершенно невпопадъ²⁾. Вотъ бездарный поэтъ однимъ членіемъ своихъ виршъ заставляющій уянуть зеленую липу³⁾. Вотъ непрошеный гость, оправдывающій свое появленіе на пиру тѣмъ, что онъ ни больше, ни меныше, какъ тѣнь приглашенаго Филиппа, и получающій отвѣтъ:

Recte est, umbrae igitur pro dape nidor erit⁴⁾.

Вотъ старуха, продолжающая кокетничать и возбуждать насмѣшки въ окружающихъ. Вотъ ханжа, прибѣгающая къ частой исповѣди. Вотъ франтъ, вырядившійся въ платье съ такимъ высокимъ воротникомъ, изъ-за котораго его самого не видать. И не перечесть всей этой галлереи карикатурныхъ типовъ, проходящихъ передъ нами на страницахъ фрашекъ и эпиграммъ Кохановскаго.

Для развлечения своихъ веселыхъ товарищѣй, которымъ, какъ мы уже имѣли случай сказать, посвящена отдѣльная тетрадь фри-волынскихъ фрашекъ, нашъ поэтъ не ограничивался одними анекдотами, онъ прибѣгалъ также къ остроумнымъ motto, живой игрѣ словъ, какъ на польскомъ, такъ и на латинскомъ языкахъ.

Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ особенного вниманія его единственный *versus cancrinus* (форма весьма распространенная на западѣ) подъ заглавиемъ „Raki“⁵⁾, написанный одиннадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ пятаго слога, при чемъ послѣ цезуры стоитъ отрицаніе *nie* во всѣхъ строкахъ кромѣ восьмой. Сверхъ того первыя слова въ каждой парѣ строкъ риѳмуются между собой, наприм.:

¹⁾ Ibid. p. 376. Fr. 43.

²⁾ Ibid. p. 384. Fr. 68.

³⁾ Ibid. p. 404. Fr. 7.

⁴⁾ См. W. P. t. III. str. 235.

⁵⁾ См. W. P. t. II. str. 340

Folgujmy paniom || nie sobie ma rada,
Miłujmy wiernie || nie jest w nich przysada.
Godności trzeba || nie zanic tu cnota,
Miłości pragną || nie pragną tu złota.
Miłują z serca || nie patrzają zdrady,
Pilnują prawdy || nie kłamają rady.
Wiarę uprzejmą || nie dar sobie ważą,
W miarę nie nazbyt || ciągnąć rzemień każą.
Wiecznie wam służę, || nie służę na chwilę,
Bespiecznie wierzcie || nie rad ja omyle.

Замѣтимъ, что каждые два стиха составляютъ законченную мысль и отдѣляются отъ другихъ точкой. Начнемъ теперь читать стихотвореніе съ конца, не отдѣляя предлоговъ отъ управляемыхъ ими существительныхъ и получимъ совершенно противоположный смыслъ:

Omyłe ja rad, nie wierzcie bespiecznie,
Na chwilę służę, nie służę wam wiecznie.
Każą rzemień ciągnąć nazbyt, nie w miarę,
Ważą sobie dar, nie uprzejmą wiarę.
Rady kłamają, nie prawdy pilnują,
Zdrady patrzają, nie z serca milują.
Złota tu pragną, nie pragną miłości,
Cnota tu zanic, nie trzeba godności.
Przysada w nich jest, nie wiernie miłujmy,
Rada ma sobie, nie paniom folgujmy.

Къ такому же типу относится стихотвореніе къ Варварѣ¹⁾. Оно написано съ большимъ искусствомъ, отличается юморомъ, переходящимъ иногда предѣлы благопристойности, при чмъ однажды поэть послѣ первого слога ожидаемой фривольной риѳомы продолжаетъ стихъ какимъ-нибудь совершенно невиннымъ, а иногда даже лестнымъ для геронни выражениемъ, которое однако уже переходитъ за предѣлы стиха и ни съ чѣмъ не риѳуется, оставляя широкій просторъ для догадливости читателя. Сюда-же относится эпиграмма „In convivium“: ²⁾

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 345.

²⁾ См. W. P. t. III, str. 190.

Quae nunc dicuntur convivia, conbibia olim

Dicta puto: hoc si quidem symposium est proprie-

Affinis genuinum invertit littera sensum:

Ni quis id esse putet vivere, quod bibere.

Во время этихъ шумныхъ пировъ остроумная бесѣда порою прерывалась пѣсней подъ аккомпаниментъ лютни, или кого-нибудь изъ любителей, или знаменитаго королевскаго музыканта Валентина Бакфарка, имя котораго не разъ встрѣчается въ произведеніяхъ Кохановскаго. Вотъ, напримѣръ, эпиграмма къ нему:

Orpheus in silvis, in aquis moduletur Arion,

Mulceat hic pisces, mulceat ille feras.

Tu urbibus in mediis cane Bacvare, nemo etenim te

Dignior humanis auribus esse potest.¹⁾

Кромѣ Бакфарка въ фрашкахъ и эпиграммахъ нашего поэта упоминаются Гурницкій, Павелъ Стемповскій, Андрей Нидецкій и другие многочисленные друзья поэта, съ которыми онъ дѣлилъ свои досуги, не чуждаясь общества хорошенькихъ краковскихъ мѣщаночекъ, неоднократно пировавшихъ вмѣстѣ съ веселыми королевскими придворными. Въ этой обстановкѣ шумного похмѣлья не разъ должны были загораться пылкія сердца молодежи любовью къ различнымъ Кахнамъ, Гретамъ и Розинамъ, раздѣлявшимъ общее веселье. Какимъ характеромъ отличалась эта любовь, можно судить по нѣкоторымъ фрашкамъ и эпиграммамъ Кохановскаго. Вотъ, напримѣръ, обращаясь къ комару поэтъ спрашиваетъ его, почему онъ такъ назойливо жужжитъ.

Ad Pholoen potius querulos converte susurros,

Atque haec oblita blandus in aura cane:

„Janus te, o Pholoe, manet, at tu ferrea dormis,

Et juvenem lenta conficis usque mora“.

Quod si forte tuo surrexerit excita cantu,

Atque in complexus venerit illa meos,

Vergiliana, culex, tibi praemia scito parata,

Ut nunquam in chartis emoriare meis.

¹⁾ Ibid. p. 191.

²⁾ Ibid. p. 219.

Вотъ въ 33 фрашкѣ второй книги ¹⁾ поэтъ просить у молодой дѣвушки взаимности и грозить ей суровой старостью, въ случаѣ если возлюбленная не захочетъ пользоваться жизнью, пока она молода:

Już tam służyć nie będa te pieszczone słowa,
Stachniczku duszo moja: rychlej, bądź mi zdrowa,
Marya łaski pełna: a w ręku pacierze,
Na jakie przy kościele baba pieniądz bierze.

Любовь эта была минутной вспышкой страсти, не больше, и не могла приносить поэту глубокихъ огорченій въ случаѣ рѣдкой неудачи, какъ можно судить на основаніи слѣдующей эпиграммы „Ad Corinnam“ ²⁾:

Aureus imber ego latitatem nolo puellam
Fallere, nec sim bos, nec fluvialis olor.
Haec ludicra Jovi sint curae; ego bina Corinnae
Aera dabo, nec erit cur volitare velim.

Правда, на ряду съ подобнымъ легкомысленнымъ и даже циничнымъ отношеніемъ Кохановскаго къ любви въ его фрашкахъ встрѣчаются и такія, въ которыхъ это чувство если и не возвышается до чистаго платонизма, то во всякомъ случаѣ отличается значительной глубиной и серіозностью. Кромѣ уже раньше указанныхъ нами падуанскихъ фрашекъ у Кохановскаго есть еще нѣсколько эротическихъ, въ которыхъ проглядываетъ уже болѣе зрѣлое, спокойное и тѣмъ не менѣе сильное чувство. Послѣднія возникли, какъ намъ кажется, въ болѣе позднюю пору, когда поэтъ, поселившись въ Чернолѣсѣ, полюбилъ свою Ганну-Дороту.

Не смотря на то что, Кохановскій не обладалъ значительными материальными средствами и знатностью происхожденія, онъ никогда не терялъ своего достоинства, вращаясь въ обществѣ богатѣйшихъ магнатовъ Рѣчи Посполитой. Обращаясь къ Николаю Мѣлецкому старостѣ Хмѣльницкому, поэтъ говоритъ ³⁾:

Mnimasz ty, że ja tobie kłaniam się dla tego,
Iżeś syn wojewody niewiem tam jakiego,
Albo że się masz dobrze a złota na tobie
I na tych dosyć widzę, które masz przy sobie?
Fraszka u mnie twe herby i wsi, pełne kmieci,

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 373.

²⁾ См. W. P. t. III, str. 196.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 394.

Hańba (mówią Grekowie) bohaterskie dzieci,

A pieniądze takie są, że je i źli mają. . .

Не эти пустяки привлекают поэта къ Мѣлѣцкому, а личныя достоинства послѣдняго.

Ту же мысль выразилъ Кохановскій въ своей эпиграммѣ „Confessio“¹⁾:

Non didici impuri perversum dogma Gnathonis:

Ajunt, ajo, negant rursus, et ipse nego.

Sed quae cum vero mihi consentire videntur,

Haec demum affirmo, sin minus, usque nego.

Non opibus quemquam, neque fulvo metior auro,

Sed quam quisque probus, tam mihi carus erit.

За эти грѣхи поэта ждетъ слѣдующій приговоръ:

Semper egebis, ita haec culpa pianda tibi est.

Не унижаясь до лести, поэтъ умѣлъ цѣнить своихъ благодѣтелей и выражалъ имъ самую искреннюю и трогательную признательность, какъ видно, напримѣръ изъ 82 эпиграммы къ Петру Мышковскому²⁾, которому Кохановскій дѣйствительно былъ обязанъ многимъ. Вотъ что говоритъ ему поэтъ:

Non solum in nudis scribam tum nomina chartis,

Pectore sculpta meo sunt benefacta tua,

Quae mihi, Myscovi, nulla unquam aboleverit aetas,

Sive fruar vita, sive fuisse ferar.

Обладая весьма общительнымъ характеромъ и чуткимъ отзывчивымъ сердцемъ, Кохановскій и дня не могъ прожить безъ друзей. „So bez przyjaciół za żywot? восклицаетъ поэтъ: wieżenie. . .

Bo jeśli się co przeciw myśli stanie,

Już jako możesz sam przechowaj panie.

Nikt nie poradzi, nikt nie pozałuje.

Takżeć jeśli się dobrze poszańcuję,

Żaden się z tobą nie będzie radował. . m. ³⁾

¹⁾ См. W. P. t. III, str. 206,

²⁾ Ibid. p. 233.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 377.

Предъявляя такія высокія требованія къ дружбѣ, самъ поэтъ всегда исполнялъ ихъ по отношению къ своимъ друзьямъ. Стоило кому-нибудь изъ нихъ получить непріятность, испытывать огорченіе, нашъ Янъ уже тутъ и льется изъ устъ его кроткая рѣчъ, полная братской любви и глубокомыслія умудренаго житейскимъ опытомъ человѣка¹⁾. Не менѣе близка была сердцу поэта радость его друзей, на которую не разъ откликались чуткія струны его вдохновенной лиры. Всѣхъ ихъ горячо любилъ Янъ, но особенно гордился онъ тѣми изъ нихъ, которые отличались по своимъ дарованіямъ и нравственнымъ качествамъ. Если такие люди вступали съ нимъ въ дружбу онъ видѣлъ въ этомъ знакъ того, что и самъ онъ имѣеть нѣкоторыя достоинства. Мы знаемъ уже, какъ близокъ бытъ Кохановскій съ Андреемъ Нидецкимъ, которому посвящено множество фразекъ и эпиграммъ нашего поэта. Кромѣ Нидецкаго мы здѣсь встрѣчаемъ не мало именъ, записанныхъ на скрижали польской культурной исторіи, каковы, напримѣръ, Лукашъ Гурницкій, Андрей Тшицкій и др. Какъ цѣнилъ Кохановскій дружбу подобныхъ людей, видно изъ слѣдующихъ стихотвореній. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ онъ известному Юсту Гляцу, казначею Сигизмунда Августа:

.... twoja przyjaźń, którego zwyczaje

U ludzi chwalne, świadectwo mi daje,

Żem dobry człowiek: ani ty miłujesz,

Jedno w kim cnotę i stateczność czujesz.

Въ доказательство своихъ чувствъ къ нему поэтъ шлетъ ему свое стихотвореніе,

.... jako pewny zakład jaki
Żem jest i chcę bydź twój na czas wszelaki.

Еще сильнѣе выражаетъ Кохановскій свое дружеское расположение въ эпиграммѣ къ известному Лукашу Гурницкому²⁾, при появлении которого

.... lyra pollice nullo
Icta dedit dulces exhilarata sonos.
Riserunt Charites, doctae cecinere sorores,
Quin et ver rediit canaque fugit hiems.

¹⁾ См. W. P. t. III, str. 226.

²⁾ См. W. P. t. III, str. 236.

Среди друзей поэтъ не стѣснялся открыто исповѣдывать свои религіозные и общественные взгляды. Въ цѣломъ рядъ фрашекъ выставляетъ онъ на посмѣшище отрицательная сторона духовенства, иногда нисколько не стѣсняясь въ выраженіяхъ. Особенно возмущаетъ Кохановскаго целибатъ и вытекающая изъ него безнравственность католического клира. Вотъ, напримѣръ, 43 фрашка I книги „Na świętego ojca“¹⁾, составляющая переводъ латинской эпиграммы Дудыча, который впослѣдствіи собственнымъ примѣромъ подтвердилъ свое отрицательное отношеніе къ принудительному безбрачію духовенства. Обращаясь къ папѣ Павлу II, поэтъ говорить:

Świętym cię zwać nie mogę; ojcem się nie wstydzę,
Kiedy, wielki kapłanie, syny twoje widzę.

Изъ другихъ пороковъ духовенства Кохановскій отмѣчаетъ лицемѣріе, несогласіе поступковъ со словами²⁾, пьянство³⁾, картежную игру⁴⁾, и нерадѣніе къ церковной службѣ⁵⁾. Изъ докладовъ поэтъ ка- сается только почитанія святыхъ, при чемъ, какъ увидимъ, взгляды его не отличаются особымъ правовѣріемъ, если въ 17 эпиграммѣ „De spectaculis D. Marci“⁶⁾ по поводу дождя, испортившаго процес-сію изъ венеціанскаго собора св. Марка, поэтъ позволяетъ себѣ го-ворить святыму:

Parva tui in coelo est, si ratio ulla tui est.

Еще большими легкомысліемъ и даже кощунствомъ отличается 3 фрашка II книги, гдѣ Кохановскій влагаетъ въ уста епископа глум-леніе надъ мощами 11,000 дѣвъ, по преданію, почивающихъ въ Кельнскій церкви св. Урсулы.

Не смотря на свою глубокую религіозность, нашъ поэтъ иногда отдавалъ дань скептицизму. Такимъ характеромъ отличается 50 фрашка II книги „o Lazarzowych księgach“⁷⁾. Въ ней, подъ видомъ лютеранскаго вымысла, разсказывается, что Лазарь, воскрешенный Иисусомъ, описалъ все видѣнное и слышанное во время своей за-гробной жизни. Книги обѣ этомъ онъ тщательно хранилъ отъ всѣхъ,

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 347

²⁾ Ibid. p. 370, fr. 25 и p. 409, fr. 17.

³⁾ Ibid. p. 368, fr. 19.

⁴⁾ Ibid. p. 409, fr. 15.

⁵⁾ Ibid. p. 369, fr. 20.

⁶⁾ См. W. P. t. III, str. 193.

⁷⁾ См. W. P. t. II, str. 378.

даже отъ своихъ близкихъ. Предчувствуя скорую кончину, онъ призвалъ къ себѣ философа, которому вручилъ свои книги завязанными и запечатанными, подъ тѣмъ непремѣннымъ условиемъ, чтобы тотъ прочиталъ только передъ смертью и послѣ передалъ другому ученому философи подъ тѣмъ-же самымъ условиемъ. Философъ поклялся исполнить послѣднюю волю Лазаря, но не сдержалъ своего слова, раскрылъ книги и, что же?—нашелъ въ нихъ только чистыя, ничѣмъ не заполненные страницы. Итакъ, по Кохановскому, загробная жизнь—неразрѣшимая загадка, чего, какъ извѣстно, не признаетъ церковь. Такую-же загадку представляетъ для него Богъ, о Которомъ

Doscimus omnes, nemo novit, quod docet¹⁾.

Съ подобными взглядами мы еще не разъ будемъ встречаться въ произведеніяхъ нашего поэта. Но такой скептицизмъ, какъ мы видимъ, нужно рассматривать, какъ временный диссонансъ въстройной гармоніи религіозныхъ воззрѣній Кохановскаго, который, глубоко сочувствуя нѣкоторымъ протестантскимъ идеямъ, тѣмъ не менѣе горячо возставалъ противъ крайняго ихъ пониманія и грубаго выраженія. Объ этомъ свидѣтельствуетъ извѣстная фразка его (III. 22.) „Na haeretyki“ ²⁾.

Здѣсь поэтъ—гуманистъ вполнѣ естественно возмущается проявленіями нетерпимости и дикаго кощунственнаго фанатизма протестантовъ, которые, по словамъ Любовича ³⁾, нерѣдко позволяли себѣ входить въ католическіе храмы въ шапкахъ и прерывать службу своими громкими непристойными замѣчаніями и грубымъ смѣхомъ.

Въ тѣсной связи съ религіозными воззрѣніями Кохановскаго находятся его философско-этическія и политическія убѣжденія, которые ярко отразились во многихъ его фразкахъ и эпиграммахъ.

Къ ихъ разбору мы приступимъ на свое мѣсто, а теперь разсмотримъ, какъ относился нашъ поэтъ къ себѣ и къ своимъ произведеніямъ. Въ этомъ отношеніи фразки и эпиграммы даютъ намъ богатый матеріалъ.

Со скромностью истиннаго таланта Кохановскій всегда отдавалъ предпочтеніе своимъ предшественникамъ на литературномъ по-

¹⁾ См. W. P. t. III, str. 240.

²⁾ См. W. P. t. II, str. 412.

³⁾ См. Любовичъ. Исторія протестантства въ Польшѣ.

прищѣ. „Aurea, говоритъ онъ Андрею Тшечѣскому: tua carmina
divitiores;

Auro pensabunt muneribusque datis

Nos, quibus arcta domi res est et curta supellex,

Pro tereti versu carmina culta damus,

Inferiora tuis equidem, neque enim anser olori,

Aut par lusciniae garrula hirundo canit.

Тѣмъ не менѣе нашъ поэтъ чувствовалъ въ себѣ талантъ и хорошо понималъ свое высокое призваніе. Въ 64 фразкѣ III книги, обращаясь къ Вацлаву Остророгу, Кохановскій говоритъ:

Zda mi się, że maluję swój obraz wlaściwy,

Który między biskupy zawieszę zacnemi,

*Nie wsiami światu znaczny, ale rymy swemi*¹⁾.

Въ 80 эпиграммѣ „Oraculum“²⁾, поэтъ напоминаетъ себѣ:

Jane, sacerdotem Musarum te esse memento,

Nec tibi praeterea fas ullos querere divos...

Посвящая всю жизнь свою на служеніе музамъ, Кохановскій не завидуетъ ни королевскимъ жемчугамъ, ни золоту, предпочитая всему добродѣтель, не льстить никому и не ждетъ подачки отъ неблагодарныхъ людей, и за это просить у музъ одной только награды:

. . . niech ze mną zaraz me rymy nie giną,

Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną³⁾.

Поэтъ не хочетъ во зло употреблять своего высокаго дарованія. Обращаясь къ своимъ фразкамъ, онъ говоритъ:

. . . jeśli wam niegmyśli cudze obyczaje,

Niechaj karta występow, nie personów že jące.

Chciecieli chwalić kogo, chalciesz, ale skromnie,

By pochebstwa jakiego nie uznano po mnie⁴⁾.

Но не всегда могутъ звучать вдохновенные струны лютни Кохановскаго:

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 427.

²⁾ См. W. P. t. III, str. 232.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 362.

⁴⁾ Ibid. p. 372, fr. 29.

Nie są, wojewodo zaeny,, czasy po temu,
Abych, czyniąc zwyczajowi dosyć dawnemu,
Uszy twoje lutnią bawił, albo pieśniami.

Такъ говоритьъ поэтъ въ годину бѣдствія постигшаго его родину, въ годину, когда черныя тучи нависли надъ полями, сверкая молніями и разражаясь градомъ, когда пахарь оставляетъ свою ниву на волю Божію, когда пастухъ гонитъ прежде времени свое стадо съ пустого луга, когда сельскія хаты окуриваются зельемъ въ защиту отъ надвигающейся заразы.

Przeto nie dziw, że umilkły me głośne strony,
Widząc niebo rozgniewane i wiek strwożony.

Не смотря на всѣ эти ужасы, поэтъ не теряетъ надежды, что

Bóg oddarza świat pogodą i słońcem złotym¹⁾.

Это стихотвореніе ясно показываетъ, насколько Кохановскій былъ выше своего вѣка и среды. Въ то время, какъ всѣ окружающіе продолжали въ довольствіи и весельѣ среди шумныхъ пировъ и разгульныхъ пѣсенъ проводить свою праздную жизнь, онъ первый понялъ, что стыдно

... въ годину горя
Красу долинъ, небесъ и моря
И ласку милой воспѣвать²⁾.

Служеніе музамъ было главною цѣлью жизни нашего поэта, его единственнымъ утѣшеніемъ въ минуты горя. Много было такихъ минутъ въ жизни Кохановскаго. Не всегда окружающіе понимали его и цѣнили, не всегда сбывались его завѣтныя мечты и планы. Много приходилось ему переносить непріятностей и тяжелыхъ огорченій. Одна поэзія спасала его отъ разочарованія и была единственнымъ прибѣжищемъ для его оскорблennаго, мятущагося духа. Предоставляя другимъ пользованіе всѣми благами жизни, для себя онъ выбиралъ одну поэзію:

Wy tedy co kto lubi, moi towarzysze,
Pijcie, grajcie, miłośćcie,—Jan fraszki niech pisze!

¹⁾ Ibid. p. 395.

²⁾ См. Н. А. Некрасовъ. Полное собраніе стихотвореній. Т. I, 138 стр.

на сторонѣ которыхъ былъ самъ король, вмѣсто того, чтобы единодушно осуществить предполагаемую реорганизацію аристократіи, разбились на множество партій, несогласныхъ между собою по религіознымъ и политическимъ вопросамъ. Не смотря на самое искреннее желаніе прійти навстрѣчу нуждамъ Рѣчи Посполитой, слабый Сигизмундъ Августъ ничего не могъ сдѣлать съ царившей среди шляхты разногласицей и анархіей.

Король собиралъ сеймъ „aby si鑒 w mi鑒o艣ci i zgodzie Rzeczypospolitej posłuzył“ . Съ той же цѣлью написана „Zgoda“ ¹⁾ Кохановскаго, напечатанная только въ 1564 году.

Въ этомъ стихотвореніи поэтъ олицетворяетъ идею міровой гармоніи, которая приходитъ непрошеная и предостерегаетъ терзаемую внутренними раздорами Польшу прежде всего отъ религіозныхъ несогласій. Затѣмъ она ставить на видъ то обстоятельство, что каждый въ Рѣчи Посполитой жертвує общественнымъ благомъ для своихъ личныхъ выгодъ, вслѣдствіе чего законы молчатъ и властвуютъ вельможи. Внѣшніе враги замѣчаютъ слабыя стороны государства и разсчитываютъ воспользоваться ими. Главной причиной такого печальнаго состоянія Польши служатъ постоянные раздоры, которые уже погубили множество странъ и народовъ. Для искорененія зла „Zgoda“ указываетъ на его источники: самымъ важнымъ считаетъ она нерадѣніе каждого гражданина къ своимъ обязанностямъ. Даже духовныя лица забыли святость своего призванія и предались разгульной жизни, соблазняя мірянъ своимъ пагубнымъ примѣромъ. Нѣкоторые священники всѣ свои заботы обратили на собственное хозяйство:

A w pieniadzach nawyssze dobro położyli.

Więc też tam rychlej najdziesz rejestr na stole,

A spleśniała Biblia strzyga w kacie mole.

A jakoż uczyć mają nie umiejac sami?

Muszą pewnie nadłożyć kazania baśniami.

(Въ послѣднихъ словахъ заключается намекъ на уже известное намъ обыкновеніе католического духовенства). Свѣтскіе, чувствуя потребность въ церковныхъ поученіяхъ, сами взялись за проповѣдь i żony ućwiczyli.

Więc teraz wszyscy każą, a żaden nie słucha,

Spytajże zkad Apostoł: Duch, pry, gdzie chce dmucha...

¹⁾ См. W. P. t. II str. 219.

Военное дѣло, вслѣдствіе этого, находится въ полномъ пренебреженіи и границы Польши лишены всякой обороны. Недовольные духовенствомъ предлагаютъ вмѣсто войска выслать противъ татаръ монаховъ, за то что послѣдніе плохо проповѣдуютъ. О томъ, каковы ихъ поученія, возражаетъ „Zgoda“, также какъ и о другихъ религіозныхъ вопросахъ, нужно предоставить церкви произнести свое авторитетное сужденіе. Теперь въ Тридентѣ собрались для этого епископы.

Tam się stawcie wy wszyscy, którzy powiadacie
Że u siebie naukę gruntowniejszą macie,
Tam się stawcie, jeśli nie rozterku pragniecie,
Ale tylko dla Państkiej chwały spór wiedziecie.

„Zgoda“ совѣтуетъ полякамъ терпѣливо ожидать ихъ отвѣта, а пока не злоупотреблять свободой, не вооружаться противъ того, что духовенство владѣетъ значительными имуществами, такъ какъ благодаря этому оно имѣетъ возможность удѣлять средства на больницы и т. п. благотворительныя учрежденія; скорѣе свѣтскіе достойны порицанія за ихъ стремленіе къ роскошной жизни. Необходимо исправить всѣ эти недостатки, чтобы Рѣчь Посполитая не потеряла надежды на лучшее будущее. „Zgoda“ во многомъ совпадаетъ съ рѣчью, произнесенной подканцлеромъ Паднѣвскимъ на сеймѣ 1562 года. Этотъ фактъ даетъ намъ возможность съ точностью опредѣлить время написанія разматриваемаго произведенія.

При значительномъ сходствѣ стихотворенія Кохановскаго съ рѣчью подканцлера между этими литературными памятниками есть нѣкоторая разница, которая состоитъ во первыхъ въ томъ, что „Zgoda“ гораздо содержательнѣе рѣчи, во вторыхъ, произведеніе资料 of our poet отличается большей независимостью отъ программы сторонниковъ экзекуціи. Опасаясь оскорбить сенаторовъ, или шляхту, и обречь такимъ образомъ дѣло экзекуціи на окончательную гибель, Паднѣвскій считалъ для себя не совсѣмъ удобнымъ коснуться нѣкоторыхъ вопросовъ, затронутыхъ нашимъ поэтомъ.

Въ то время всѣ инстинктивно сознавали ненормальное состояніе Польши, которое еще болѣе усиливалось реформаціоннымъ движениемъ. Каждый патріотъ старался по мѣрѣ силъ своихъ прійти на помощь страждущему государству. И Кохановскій, съ своей стороны, пытается сдѣлать то же.

Единственная жертва, которую Янъ могъ принести на алтарь отечества, состояла въ его поэтическомъ дарованиі. При помощи по-слѣдняго онъ освѣтилъ печальное положеніе Рѣчи Посполитой и указалъ въ своемъ произведеніи ея нужды вмѣстѣ съ мѣрами для ихъ удовлетворенія.

Прежде всего, какъ мы видимъ, онъ вооружается противъ религіозныхъ несогласій и становится скорѣе на сторону католичества, какъ можно судить изъ слѣдующихъ словъ:

(о религіозныхъ вопросахъ) Kościół musi sądzić: który, jako żywo,

Uznawał, co w tej mierze prosto, a co krzywo.

Na tej twardej opoce rozbił się Arius,
Marcyon, Samosaten, Manech, Nestorius,
I wszyscy, którzykolwiek wniesli co nowego,
Targając świętą zgodę Kościoła Pańskiego.

Но всетаки онъ не выражаетъ здѣсь строго-ортодоксальныхъ убѣждений, которая старается навязать ему Станиславъ Тарновскій¹⁾, забывая продолженіе вышеупомянутыхъ словъ нашего поэта:

Oto teraz w Trydencie biskupi zasiedli,
Aby lud roztargniony ku zgodzie przywiedli.
Tam się stawcie wy wszyscy, którzy powiadacie,
Że u siebie naukę gruntowniejszą macie.
Tam się stawcie, jeśli nie rozterku pragniecie.
Ale tylko dla Pańskej chwały spór wiedziecie.
A wy tym czasem bądźcie Polacy cierpliwi,
Aż się jawnie pokaże, gdzie prawi, gdzie krzywi.
Ogrodziwszy sumnienie, ostatka czekajcie.....

Настоящій католикъ не допустилъ бы мірянъ къ разрѣшенію церковныхъ вопросовъ и, не колеблясь, предугадалъ бы реієніе Тридентскаго собора.

Изъ общественныхъ недуговъ Кохановскій отмѣчаетъ, прежде всего, внутренніе раздоры, изнѣженность шляхты и испорченность духовенства, затѣмъ, отсутствіе справедливости и порядка и, наконецъ, необезпеченность границъ отъ непріятельского вторженія.

¹⁾ Op. cit. p. 244

Совершенно вѣрно предсказывалъ онъ, что Польша потеряетъ свою вольность, благодаря внутреннимъ беспорядкамъ и анархіи. Подъ вольностью поэтъ подразумѣвалъ и гражданскую свободу, и политическую независимость, такъ какъ, по его словамъ, враги ждутъ только удобной минуты, чтобы воспользоваться внутренними смутами въ Польшѣ и окончательно завладѣть ею. Кохановскій приводитъ примеры государствъ, погибшихъ благодаря царившему въ нихъ несогласію; особенно разителенъ въ данномъ случаѣ по своей свѣжести примѣръ Венгрии. Нашъ поэтъ прекрасно характеризуетъ Цезаря и Помпея, которыхъ онъ считаетъ главными виновниками гибели Рима. По его словамъ эта республика пала:

Przez dwu niezgode tylko—że równego
Jeden znoсиć nie umiał, a drugi wyższego.

Отмѣчено также Кохановскимъ уклоненіе каждого гражданина отъ своихъ прямыхъ государственныхъ обязанностей и стремленіе вмѣшиваться въ чужія дѣла. Не меньшую опасность представляетъ слишкомъ широкое пониманіе шляхтой своей вольности, которое можетъ привести къ печальнымъ послѣдствіямъ. Злоупотребленіе свободой нашъ поэтъ видитъ въ посягательствѣ на коронныя земли и на доходы духовенства. По его словамъ, поляки, не желая придерживаться старого порядка, „się na skarby korony rzucili“ и прибавляетъ:

Zabraliści jej wolność, którą zdawna miała
A ona (jako mówi) na koszu została.

Никто изъ политическихъ писателей той эпохи не касался этого вопроса. Одинъ только Кохановскій говоритъ о прежнихъ правахъ короны. Никто, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ ясно не выразилъ мысли о томъ, что король, въ сущности, не имѣетъ власти. Въ дѣлѣ экзекуціи Кохановскій является противникомъ пожалованія коронныхъ земель. Онъ боится, чтобы увеличеніе шляхетскихъ имѣній не подействовало на еще болѣе широкое распространеніе роскоши и изнѣженности и не привело къ упадку той живой энергіи, которая свойственна людямъ средняго достатка. На ряду съ другими онъ желаетъ правосудія, защиты границъ и правильной организаціи войска. Наибольшую политическую заслугу нужно признать за двумя мыслями, высказанными Кохановскимъ въ этомъ произведеніи, а именно: онъ первый указалъ на стремленіе каждого вмѣшиваться въ чужія дѣла и выставилъ одной изъ главныхъ причинъ всѣхъ неурядицъ лишеніе короны имуществъ и власти.

Жалобы на упадокъ Рѣчи Посполитой въ разбираемомъ произведении Кохановскаго, также какъ и у другихъ польскихъ политическихъ писателей и моралистовъ его времени, при всей ихъ искренности, навѣяны большою частью мыслями классическихъ авторовъ и, преимущественно, Цицерона. Нашимъ поэтомъ олицетворена здѣсь идея міровой гармоніи, какъ верховнаго закона, правящаго всей вселенной, какъ сущности, на которой зиждется во всемъ физической и нравственный порядокъ. Такая мысль показываетъ въ Кохановскомъ истаго гуманиста, проникнутаго идеологіей Платона, учениемъ кото-
раго такъ и дышеть слѣдующее опредѣленіе согласія:

(ono) spórne planety sprawcje,

Ziemię, wodę, wiatr, ogień, w żywiołach miarkuje,

Stróż Rzeczypospolitych, zdrowie i obrona

Miast wszystkich....

Не смотря на постороннія вліянія, въ этомъ произведеніи видно болѣе глубокое пониманіе государственныхъ нуждъ своего отечества, чѣмъ у всѣхъ современниковъ нашего поэта.

„Zgoda“ носить характеръ политического памфлета и заключаетъ въ себѣ 158 стиховъ, написанныхъ тринадцатисложнымъ размѣромъ, съ цезурой послѣ седьмого слога.

Съ начала второй четверти 1563 года особенно сильно принялись въ Польшѣ за дѣло унії съ Литвою. Королевская канцелярія выпускала множество документовъ, подтверждавшихъ права и вольности литовцевъ. Осуществить унію надѣялись на ближайшемъ сеімѣ; назначеннемъ на 11 ноября въ Варшавѣ. Но сеймъ открылся только 21 ноября молебствиемъ, на которомъ былъ король, три епископа, пять свѣтскихъ сенаторовъ и ни одного послы. Однако, послы были уже въ Варшавѣ, такъ какъ въ тотъ же день выбрали маршалкомъ Николая Сѣнницкаго, который уже 22 ноября привѣтствовалъ короля отъ имени Посольской Избы. Ему отвѣчалъ рѣчью новый подканцлеръ, Мышковскій. Главной мыслью его рѣчи было указаніе на необходимость учрежденія пограничной обороны, въ тѣсной связи съ которой находится цѣлостность государства. Для этого, по его словамъ, нужно какъ можно скорѣе прійти къ единенію Польши съ Литвой, сохранить за собою Инфлянты и начать съ Москвою наступательную войну, чему препятствуетъ общая изнѣженность, пренебреженіе къ военной службѣ и исключительная заботы шляхты о собственномъ

экономическомъ благосостояніи, а также безпорядокъ въ уплатѣ налоговъ, утвержденныхъ сеймами. Для возстановленія правосудія онъ не указываетъ никакихъ спеціальныхъ мѣръ и ограничивается только жалобой на обремененіе короля тяжбами въ теченіе цѣлаго сейма. Въ связи съ этой рѣчью находится „Satyr“ Кохановскаго¹⁾, такъ же, какъ „Zgoda“ съ рѣчью Паднѣвскаго.

Въ предисловіи къ своему произведенію, состоящемъ изъ шестнадцати стиховъ, поэтъ посвящаетъ свой трудъ королю, называя его своимъ господиномъ:

Panie mój (to nawiętszy tytuł u swobodnych)

Кохановскій просить его

Ludzkość okazać przeciw tej leśnej potworze (сатира),

Która się tu śmie stawić na pańskim dworze.

Поэтъ хорошо сознаетъ непривлекательную внѣшность своего сатира, которому не нравятся современные обычаи.

Въ самомъ стихотвореніи нашъ поэтъ влагаетъ свои мысли въ уста „Сатира“ или дикаго, лѣсного человѣка, по словамъ котораго уже нѣть тѣхъ густыхъ лѣсовъ, где можно было прежде скрываться. Всѣ теперь въ Польшѣ стали купцами и пахарями. Вывозная торговля хлѣбомъ сдѣлалась главнымъ занятіемъ шляхты. „Сатиръ“ съ восторгомъ вспоминаетъ то время, когда никто не былъ богатъ деньгами. Въ тѣ времена земледѣліе было исключительно въ рукахъ у крестьянъ. Теперь же поляки, съ горестью замѣчаютъ „Сатиръ“, далеко отстали отъ своихъ предковъ и обратили Польшу чуть ли не въ ничтожество, изъ отцовскихъ гранатъ выковали плуги и предметы домашняго обихода. Шлемы служать у нихъ мѣрками для овса или гнѣздами для насѣдокъ²⁾. Вслѣдствіе этого, границы Рѣчи Посполиты

¹⁾ См. W. P. II. 41.

²⁾ Послѣднее мѣсто очень напоминаетъ рѣчь Мышковскаго съ той только разницей, что оно отличается большей образностью. Подканцлеръ говоритъ, что вмѣсто копій и щитовъ шляхтичи взялись за плуги, тогда какъ предки ихъ не занимались хозяйствомъ, сдавая его арендаторамъ, или крестьянамъ. Теперь нѣть уже опытныхъ полководцевъ, добрыхъ товарищѣй и храбрыхъ молодцовъ: всѣ теперь заняты исключительно полевыми работами. Кохановскій выражаетъ ту же мысль въ словахъ: „to dzis rotmistrz, to fuka na chłopcu i rębu“. Даѣше подканцлеръ говоритъ, что при такихъ условіяхъ всѣ сѣди, даже ничтожные валахи и Брауншвейгскіе герцоги безнаказанно вторгаются въ Польшу, а болѣе сильная Москва цѣлый области отнимаетъ у Рѣчи Посполитой. Кромѣ образности, это мѣсто въ „Сатирѣ“ отличается отъ рѣчи Мышковскаго злую насмѣшкой, оторав-

той остались безъ защиты. Перечисляя всѣ вѣшнія опасности, Кохановскій даетъ одну любопытную подробность о письмахъ Іоанна Грознаго, въ которыхъ послѣдній доказываетъ свои природныя права на Галичъ. Не менѣе интересно предостереженіе нашего поэта противъ коварства нѣмцевъ, которые, прикрываясь дружбой, съ каждымъ годомъ все больше и больше зарята на Польшу. Далѣе слѣдуетъ очень удачное и остроумное указаніе Кохановскаго на любовь поляковъ къ красивой вѣшности, рисовкѣ и роскоши. Бѣдность предковъ въ его глазахъ имѣетъ гораздо больше значенія, чѣмъ богатство нынѣшнихъ поляковъ:

Kto dzis Zamek założy? Kto klasztor zbuduje?

На ряду съ роскошью теперь царить скучность. Вместо того, чтобы платить королю подати, они сами поровнять еще взять съ него что-нибудь. Также точно никто не желаетъ нести материальныхъ обязанностей по отношенію къ духовенству. Не имѣя охоты вдаваться по этому поводу въ разсужденія о вѣрѣ, Кохановскій отсылаетъ въ Триентъ тѣхъ, кто придерживается иныхъ религіозныхъ взглядовъ. Онъ говоритъ:

Dobrym chrześcijaninem nie tego ja zowę,
Co umie disputować i ma gładką mowę,
Ale kto żywie według wolej Pana swego,
Tego ja barziej chwale, niżli wymownego.

Въ противувѣсь современнымъ религіознымъ шатаніямъ поэтъ указываетъ на стойкость въ вѣрѣ древнихъ поляковъ, не пытавшихся разрѣшать такихъ вопросовъ, которые не подъ силу ихъ разуму. О себѣ онъ выражается¹⁾:

съ ядомъ, напоминающимъ Эразма Роттердамскаго, бичуетъ пороки изнѣженныхъ соплеменниковъ Яна.

¹⁾ Проф. Станиславъ Тарновскій полагаетъ, что нашъ поэтъ въ „Сатирѣ“ окончательно отрекается отъ новыхъ вѣрованій и мѣтить въ самую суть протестантства, говоря, что не его дѣло судить о вѣрѣ. Обратившись къ самому тексту, мы читаемъ совершенно иное:

Bracie, niech cę się z tobą w rzecz wdawać o wierze,
Bo ja sam na się wyznam, żem prostak w tej mierze.
Lecz jeśli ty inaczej o sobie rozumiesz,
Jedź do Trydentu a tam okażesz co umiesz.

Слѣдовательно, ни себѣ, ни протестантамъ Кохановскій не отказываетъ въ правѣ сужденія о вѣрѣ, а только говорить, что ему не хочется „wdawać w rzecz“ т. е. разсуждать о вѣрѣ съ протестантами, такъ какъ онъ не считаетъ себя компе-

Nie uczyłem się w Lipsku, ani w Pradze wiary
I niewiem jako kažą w Jenewie u Fary;
Wszytko mam z pustelników, co mieszkają znami
Między lasy i między pustemi górami.
Ci mi naprzód prawego Boga ukazali
I wiare dostateczną do serca podali.

Затѣмъ поэтъ предлагаетъ путемъ новаго статута реорганизовать правосудие и снять съ короля непосильное бремя рѣшениія безчисленныхъ тяжебныхъ дѣлъ. Кроме того, „Сатиръ“ весьма основательно жалуется на недостатки школьнаго дѣла въ Польшѣ, которые вызываютъ необходимость отправлять учащуюся молодежь заграницу, гдѣ порядки опять таки не лучше отечественныхъ. Стоитъ только завести болѣе благоустроенные во всѣхъ отношеніяхъ школы, тогда даже изъ чужихъ странъ охотно будуть пріѣзжать учиться въ Краковъ. Плохое состояніе польскихъ школъ, по словамъ поэта, обусловливается, главнымъ образомъ, ограниченными средствами, отпускаемыми на ихъ содержаніе¹).

Благодаря этому, польская молодежь въ силу необходимости должна воспитываться въ чужихъ краяхъ, вслѣдствіе чего получились весьма плачевые результаты:

Polskę nic inszego o taką odmianę
Nie przyprawiło,—jedno postronne ćwiczenie.

тентнымъ въ этомъ дѣлѣ. Для нашего поэта большую цѣну имѣеть христіанская нравственность, чѣмъ споры о догматѣахъ:

Dobrym chrześcijaninem nie tego ja zowę,
Co umie disputować i ma gladką mowę,
Ale kto żywie według wolej Pana swego,
Tego ja barziej chwalę, niżli wymownego.

Если какой-нибудь протестантъ считаетъ себя способнымъ къ богословскимъ разсужденіямъ, его поэтъ, какъ и въ предыдущемъ произведеніи, отсылаетъ въ Тринитѣтъ. Для своего заключенія краковскій профессоръ произвольно измѣняетъ смыслъ цѣлой фразы Кохановскаго: „nie chcę się z tobą w rzecz wdawać o wierze“, какъ будто бы она звучала слѣдующимъ образомъ: „nie moja rzecz sądzić o wierze“.

Напѣть поэтъ въ этомъ дѣлѣ обнаруживаетъ большую осторожность: онъ хотя и склоняется на сторону католичества, но скорѣе изъ политическихъ выгодъ для Рѣчи Посполитой, чѣмъ по собственному глубокому убѣжденію. Въ религіозныхъ вопросахъ, намъ кажется, онъ все еще занималъ колеблющееся положеніе.

¹) Послѣдняго желанія нѣть въ рѣчи Мышковскаго, хотя оно и упоминается въ документахъ предыдущаго сейма.

Każda rzecz pospolita swoją sprawą stoi,
Do której jeszczę z młodu dzieci wieść przystoi,
Bo jeśli co nowego sobie ulubują,
Wedle tego za czasem potym świat budują.

„Сатиръ“ говоритъ, что всѣ эти наставленія онъ слышалъ отъ центавра Хирона, который по уму могъ сравняться съ великими учеными. Этотъ мудрецъ, обращаясь къ своему ученику, говорилъ: „Сынъ мой, пока ты въ моемъ дому ты не увидишь и не услышишь ничего дурного. Но придетъ время, когда ты разстанешься со мною и съ этими прекрасными лѣсами и какъ смѣлый, молодой орелъ, вылетишь изъ родимаго гнѣзда. Тогда тебе придется быть въ высшей степени осторожнымъ:

Boż jako gęste mszyce, nagle cię obsiedzą
Roskoszy świata tego i odwodzić będą
Twoje szlachetne serce od zabaw uczciwych,
Cukrując ci na zdradzie smak rzeczy zełzywych.

Помни то, о чёмъ я теперь говорю съ тобою, чтобы тебя не тревожило какое-либо бѣдствие.

Tego naprzód bądź pewien, iż Bóg wszystko widzi
A jako cnotę lubi, tak się grzechem brzydzi.

Человѣку не слѣдуетъ забывать, что, въ отличие отъ всѣхъ животныхъ, одинъ только онъ можетъ обращать свои взоры къ небу, откуда происходитъ его душа:

O tym czuć, o tym myślić ustawnicznie trzeba,
Jakoby się mógł wrócić na miejsca ojczyste,
Gdzie spólnie przebywają Duchy wiekuiste.¹⁾

Поэтому, дитя мое, всегда стремись къ добродѣтели и бѣги отъ порока:

1) Параллельныя мѣста мы встрѣчаемъ у слѣдующихъ римскихъ классиковъ:

1) (natura) cum ceteras animantis abieisset ad pastum, solum hominem erexit et ad coeli quasi cognitionis domiciliique pristini conspectum excitavit

Cicero. De Legibus I. 9.

2) Fronaque cum spectent animalia cetera terram,

Os homini sublime dedit, coelumque tueri

Iussit et erectos ad sidera tollere vultus.

Ovid. Metamorph. I. 84.

A iześ się urodził w domu zwołanym
J czasu swego będąc panował poddanym,
Pocznisz rząd sam od siebie a uskróm chciwości,
Niechaj będą posłużne rozumnej zwierzchności....

....Pańskiego zdrowia ani mocne sklepy
Ani tak dobrze strzegą poboczne oszczepy,
Jako miłość poddanych i wiara życzliwa,
Czego strach nie wycisnie i groza fukliwa.
Rychzej dobroć i łaska, rychlej chuć wzajemna
W tymcei posłużyć może i ludzkość przyjemna.
W przyjacielu się kochaj i każdą przestrogę
Wdzięcznie od niego przyjmuj, bo, śmiele rzec mogę,
Królowie inszych rzeczy wszech obfitość mają,
Samej prawdy tam do nich namniej przynasza.

Вслѣдствіе этого избѣгай лести:

Cnotę miłuj i godność, bo tym państwa stoja,
Kiedy dobrzy są w wadze, a źli się zaś boją.

А, что важнѣе всего, самъ подавай примѣръ своею жизнью,
Bo poddani za panem zawždy pójdą snadnie.

Будь остороженъ въ распределеніи государственныхъ должностей, не поручай ихъ неопытнымъ людямъ, а въ особенности корыстолюбивымъ,

bo kedy
Sprawiedliwość przedajna, tam przeklęctwo wielkie,
A u Boga niewinnych wažne prošby wszelkie.

Пользуйся миромъ для того, чтобы приготовиться къ войнѣ, такъ какъ соєди спаряжаютъ для чего-то свои корабли. Если придется тебѣ ополчиться противъ непріятеля, то поддержи славу твоихъ предковъ. Для этого постарайся какъ можно лучше изучить военное искусство.

Cnota sławą się płaci, a snadź w przyszłym wieku
Wzbudzi takiego ducha Bóg w pewnym człowieku,
Który twe zacne sprawy swoim piórem złotym
Będzie chciał światu podać, tak iż nigdy potym
Imię twoje nie zgaśnie, ani uzna końca,
Póki żwierząt na ziemi a na niebie słońca”.

Такими словами закончилъ Хиронъ свою рѣчъ. Въ заключеніи поэтъ обращаясь къ сатиру, приглашаетъ его зайти къ себѣ и просить разсказать, какъ отнеслись къ нему люди.

Сравнивая „Satyr“ Кохановскаго съ рѣчью подканцлера, мы замѣчаемъ, что въ первомъ пропущены мысли Мышковскаго объ уніи и о войнѣ. Также не упоминаетъ поэтъ о стѣсненіи крестьянъ и ремесленниковъ неволею, а купцовъ и мѣщанъ крайней нуждою. Въ остальномъ „Сатиръ“ и рѣчь совпадаютъ между собою и мысли въ нихъ выражены почти съ одинаковой послѣдовательностью. Совершенной самостоятельностью, по отношенію къ рѣчи Мышковскаго, отличается заключеніе „Сатира“, состоящее изъ длинныхъ наставлений Хирона своему воспитаннику Ахиллу¹⁾.

Моравскій видѣть въ немъ отраженіе всей гуманистической литературы въ ея произведеніяхъ дидактическаго характера²⁾. Если даже мы и признаемъ справедливость этой мысли, все-таки мы не станемъ отрицать, что Кохановскій выразилъ въ своемъ „Сатирѣ“ не только академическую мораль, но и явленія живой дѣйствительности.

„Satyr“, кромѣ предисловія и заключительного обращенія автора къ сатиру, насчитываетъ 445 стиховъ, написанныхъ тѣмъ же размѣромъ, что и „Zgoda“, т. е. тринадцатисложнымъ, съ цезурой послѣ седьмого слога. Стихъ вездѣ выдержанъ, мѣстами блещетъ юморомъ³⁾ и образностью. Возвышеннымъ характеромъ, а иногда даже художественностью, отличаются заключительныя наставленія Хирона, какъ, напримѣръ:

1) Можетъ быть, заключительныя поученія Хирона заимствованы Кохановскимъ изъ современного его „Сатира“ произведенія Ронсаръ: „Institution pour l'adolescence du Roy Très-Chrestien Charles IX de ce nom“. Французскій поэтъ начинаетъ свое повѣствование упоминаніемъ о Хиронѣ и Ахиллесѣ, котораго щетида

..... de nuict l'emporta dans l'antre de Chiron,
Chiron noble centaure a fin de lui apprendre
Les plus rares vertus

Вѣрнѣе всего, что у обоихъ поэтовъ былъ общий первоисточникъ.

2) См. „Przeglad polski“ Sierpień 1884 г.

3) Проф. Тарновскій считаетъ „Satyr“ Кохановскаго первой сатирой на польскомъ языке, совершенно упомянутой изъ виду Рей и его стихотвореніе „Rozmowa wojska z panem a plebanem“.

.... Cz³owiek twarz wynios³a niesie przed wszytkimi,

Patrz¹c w ozdobne niebo oczyma jasnimi.

или:

Ale cz³eku, którego dusza posz³a z nieba,

O tym czuć, o tym my¶lić ustawicznie trzeba,

Jakoby siê móg³ wrócić na miejsca ojczyste,

Gdzie spólnie przebywaja Duchy wiekuiste.

или:

Bo tak wiedz, iż w cz³owieku sã mocarki dziwne,

Nie tylko sobie rózne, ale i przeciwnie:

Jest bystra popêdliwo¶æ, jest żądza nie syta,

Bojaźn md³a, załość smutna, radość nie pokryta,

Nad którymi jest rozum, jako Hetman, który

Ma strzedz, aby z nich żadna nie mog³a wziąć góry.

Послѣднее мѣсто весьма напоминаетъ слѣдующія слова отца
Лоренцо во II актѣ „Ромео и Джульетты“¹⁾:

Лагеремъ вѣчно стоять въ человѣкѣ, какъ въ травѣ,

Два супротивныхъ царя: благость и буйная воля,

И тамъ, гдѣ худшій изъ нихъ верхъ одержитъ, тамъ живо.

Червь смерти пойдетъ все растеніе.

Очень можетъ быть, что эту мысль и Шекспиръ, и Кохановскій,
почерпнули изъ одного источника.

Вѣроятно, не безъ цѣли выбралъ Кохановскій выразителемъ
своихъ мыслей миѳического сатира. Дремучie лѣsa средневѣковья па-
дають въ Польшѣ подъ мощными ударами эпохи возрожденія и за-
бытыя существа античной миѳологіи являются на свѣтѣ провозвѣст-
никами гуманистическихъ идеаловъ, противъ которыхъ вооружаются
новые социальные порядки. Поэтому нельзя съ такой строгостью осу-
ждать Кохановскаго за его противодѣйствіе торговлѣ и промышлен-
ности, которое было, съ одной стороны, данью гуманизму, съ дру-
гой, глубокимъ сознаніемъ необходимости улучшить военную органи-
зацию Рѣчи Посполитой. Другихъ воиновъ, кроме шляхты, не было
въ Польшѣ. Слѣдовательно, изнѣженность рыцарства и его занятія
торговлей вредили цѣлямъ Кохановскаго. Какъ выраженіе его по-
литическихъ убѣжденій, „Сатиръ“ имѣеть такое же важное значеніе,

2) См. „Ромео и Юлія“ траг. В. Шекспира перев. П. А. Кускова. СПБ. изд.
Суворина (Деш. Бібл.) 46 стр.

какъ „*Zgoda*“, но только въ немъ мысли поэта отличаются еще большей определенностью. Здѣсь онъ также является сторонникомъ эзекуціи и повторяетъ, кромѣ того, нѣкоторыя мысли шляхетской партіи, выраженные въ привѣтственной рѣчи маршалка Сѣнницкаго, какъ, напримѣръ: *rosznij rząd od siebie* и т. п.

Какъ известно, „Сатиръ“ былъ посвященъ королю, которому едва ли могли прійтись по душѣ относящіяся къ нему нравоученія. Какъ видно изъ тона этого произведенія, Кохановскій былъ уже хорошо извѣстенъ Сигизмунду Августу, къ которому онъ обращается здѣсь даже съ нѣкоторой фамильярностью. Быть можетъ, подозрительный и скрытный король не обнаружилъ своего неудовольствія и только отплатилъ смѣлому поэту полнымъ равнодушіемъ въ теченіе всей его придворной службы, которая началась, во всякомъ случаѣ, послѣ написанія Кохановскимъ „Сатира“.

Мышковскій оцѣнилъ политическія способности молодого поэта и пригласилъ его занять должность королевскаго секретаря. Кохановскому такое мѣсто несомнѣнно должно было больше понравиться, чѣмъ придворная жизнь умагнатовъ, и онъ охотно принялъ предложеніе Мышковскаго.

Не иначе, какъ признательностью къ послѣднему, нужно объяснить то обстоятельство, что посвященные ему стихотворенія Кохановскаго отличаются большей теплотой и задушевностью, чѣмъ элегіи и эпиграммы къ Паднѣвскому. Въ обществѣ Мышковскаго поэту пришлось провести очень долгое время, сопровождая его во всѣхъ путешествіяхъ. Такъ, напримѣръ, изъ двадцать пятой пѣсни первой книги¹⁾ видно, что Кохановскій былъ въ походѣ 1568 года съ королемъ и Мышковскимъ. Но и къ Паднѣвскому нашъ поэтъ относился съ большимъ расположениемъ, насколько можно судить по привѣтственной элегіи²⁾ къ нему, когда послѣдній, вступая на епископскую каѳедру, а также и эпитафіи.³⁾ Ихъ соединяла дружеская привязанность, такъ какъ поэтъ часто бывалъ въ домѣ епископа, гдѣ встречался съ хорошими людьми, какъ, напримѣръ, докторъ Монтанусъ, часто упоминаемый въ „Фрашкахъ“. Паднѣвскаго нашъ поэтъ называетъ украшеніемъ и славой своей жизни, но не больше,

¹⁾ См. W. P. I. 299.

²⁾ См. W. P. III. 104.

³⁾ См. W. P. III. 240.

такъ какъ знакомство съ ученымъ и сенаторомъ дѣйствительно было для него честью. Умѣренной симпатіей къ нему дышетъ стихотвореніе „Ad Philippum Padnevium“¹⁾.

Къ Мышковскому пишетъ онъ веселыя и фамильярныя стихотворенія, но въ нихъ, кромѣ того, сквозитъ признательность къ нему, искреннее желаніе быть всегда въ его обществѣ, высшая степень довѣрія и привязанности. Кохановскій считаетъ себя болѣе всего обязаннымъ Мышковскому, его услугъ поэтъ не забудеть даже послѣ смерти. Дружба съ нимъ Кохановскаго не прекращалась и послѣ ихъ разлуки.

II.

Предложенія Кохановскому принять духовный санъ. Его отказъ. Эротическія произведенія этого периода. Отношеніе Кохановскаго къ Дудычу. Стихотвореніе „Ad Musas“. Желаніе оставить придворную службу. *Sagmen Macaronicum*,

По свидѣтельству Старовольскаго²⁾, Кохановскому неоднократно предлагали принять духовный санъ. Объ этомъ, вѣроятно, особенно старались епископы Паднѣвскій и Мышковскій, въ особенности послѣдній, предложившій ему бенефицію съ познанскаго прихода, какъ подготовительную ступень къ рукоположенію. Какъ видно изъ „Sagmen Macaronicum“, поэтъ долгое время колебался прежде чѣмъ дать рѣшительный отвѣтъ. Біографъ Кохановскаго выставляетъ причиной отказа то, что нашъ поэтъ не считалъ себя въ силахъ свято исполнять священническія обязанности и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не хотѣлъ быть плохимъ ксендзомъ. На нашъ взглядъ эта причина могла быть только приличной отговоркой, тогда какъ, въ сущности, Кохановскому въ данномъ случаѣ мѣшало глубокое убѣженіе въ несостоятельности целибата католического духовенства, что онъ и выразилъ въ извѣстныхъ намъ элегіяхъ и въ некоторыхъ фрашкахъ³⁾. Трудно допустить, чтобы его прежніе взгляды на этотъ вопросъ такъ рѣшительно измѣнились. Въ нихъ, по всей вѣроятности, должна была еще больше укрѣпить его присущая ему отъ природы влюблчивость.

¹⁾ См. W. P. III. 204.

²⁾ См. Przyborowski. Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego str. 49.

³⁾ См. Fraszki. ks. I. 21, 43, 49, 55. II 19, 20, 25. III. 15, 17, 56.

И при королевскомъ дворѣ Кохановскаго окружала та самая обстановка гуманизма и добрыхъ товарищей, какъ раньше, и здѣсь ему приходилось переживать тѣ же самыя житейскія случайности, успѣхи и неудачи. Здѣсь только онъ сталкивался съ новыми лицами и приобрѣталъ новый симпатіи, которымъ онъ посвящалъ произведенія своей музы.

Вотъ напримѣръ IX пѣснь фрагментовъ¹⁾, въ которой онъ восторженно описываетъ красоту какой-то „pani“, не называя ея имени. По словамъ поэта, она похожа на ангела; гдѣ она,—тамъ рай; куда она ни станетъ, вездѣ выростаютъ розы и лиліи. Ради нея деревья даютъ обильную тѣнЬ, умѣряя палящій лѣтній зной. Она такъ поражаетъ всѣхъ, привлекаетъ и властвуетъ, какъ солнце цвѣткомъ подсолнечника, или магнитъ желѣзомъ. Счастливъ тотъ, кто любуется этой „pani“, красота которой превосходитъ прелести Елены и всѣхъ прежнихъ и будущихъ женщинъ.

Послѣднее выраженіе является, конечно, сильно натянутымъ преувеличеніемъ, тѣмъ не менѣе цѣлому стихотворенію нельзя отказать въ литературныхъ достоинствахъ. Образность, правда, не блещетъ въ немъ яркостью и новизной красокъ, но всетаки вполнѣ соответствуетъ чувству поэта. Приведенное стихотвореніе не вносить ни одной новой черты въ любовную лирику Кохановскаго.

Въ тѣ годы нашъ поэтъ не былъ занятъ исключительно своей собственной любовью. И чужое чувство иногда находило откликъ въ его сердцѣ.

Въ восьмой пѣсни фрагментовъ²⁾ Кохановскій разсказываетъ, какъ онъ, однажды, выйдя раннимъ утромъ на берегъ Вислы, увидѣлъ молодую женщину, сидѣвшую въ высокой башнѣ. Она съ грустью повѣдала ему, что имѣеть мужа, противнаго ей, „какъ грѣхъ“, а тотъ, кого она любитъ, уѣхалъ далеко. Ее принудили выйти за немилаго и она, вслѣдствіе этого, глубоко несчастна, не имѣя ни вѣкомъ ни друга, ни помощи, ни утѣшенія. Мужъ не любить ея, чemu она и не удивляется. Въ заключеніе она просить брата, чтобы онъ, по примѣру своего дяди, отомстилъ за ея обиду и за свое безчестіе, и о себѣ говорить:

¹⁾ См. W. P. II. 473.

²⁾ См. W. P. II. 472.

Jać abo zdrowia w tym frasunku zbedę,

Abo nakoniec twoją żoną będę.

Сюжетомъ для разбираемой пѣсни послужила общеизвѣстная въ XVI вѣкѣ романическая исторія Гальшки Острожской¹⁾, которая, будучи влюблена въ князя Семена Слуцкаго, была противъ воли выдана замужъ за графа Лукаша Гурницкаго. Мужъ заключилъ ее въ свой замокъ въ Шамотулахъ на Вартѣ въ 1559 году, а въ 1560 году умеръ князь Семенъ Слуцкій.

Кохановскій, по своему обыкновенію, старательно складилъ всякия черты изъ дѣйствительности, опустилъ имена героевъ романа и Варту замѣнилъ Вислой. Въ первыхъ стихахъ заключительной строфы:

A ty mój bracie, wzorem stryja twego

Pomści mej krzywdy i zeżżenia swego.

нельзя видѣть никакого намека на дѣйствительное событие, какъ это предполагаетъ проф. Тарновскій²⁾. Здѣсь мы имѣемъ обыкновенный литературный пріемъ Кохановскаго, состоящій въ маскировкѣ современного события классической вѣшнностью. Если ближе присмотрѣться къ данному выраженію, то оказывается, что, въ примѣненіи къ Семену Слуцкому и княжнѣ Острожской, оно не имѣетъ никакого значенія: у насъ совершенно нѣтъ фактическихъ данныхъ, что князь Слуцкій имѣлъ какого-то дядю, который отомстилъ бы за свою обиду. При такомъ толкованіи этихъ словъ получается очевидная натяжка, такъ какъ даже эпитетъ „брать“, по отношенію къ князю Семену, не можетъ имѣть того значенія, которое придается ему Тарновскій. Здѣсь просто Кохановскій беретъ сюжетъ изъ VIII героиды Овидія о Герміонѣ и Орестѣ, которая во многомъ совпадаетъ съ произведеніемъ нашего поэта. Положеніе дѣйствующихъ лицъ въ ней такое же, какъ и въ пѣсни Кохановскаго: дочь Менелая и Елены, Герміона, была помолвлена съ Орестомъ. Ее похитилъ Пирръ-Неоптолемъ. Тогда Герміона обращается изъ своего заточенія къ брату (сыну Агамемнона) Оресту, съ просьбой отомстить за ея обиду, при чёмъ она указываетъ ему на примѣръ его дяди Менелая, отомстившаго за похищеніе Елены. Иная мѣста Кохановскій цѣликомъ взялъ у Овидія, какъ напримѣръ:

¹⁾ См. Beata und Halszka, eine polnisch-russische Geschichte aus dem XVI Jahrh. von I. Caro. Breslau 1883.

²⁾ Op. cit. 269 p.

Flere licet certe

Has (lacrimas) solas habeo semper, semperque profundo.

и:

Jednęż mam wolność w swej ciężkiej niewoli,

Że się wždy mogę napłakać do woli

I mnie nieszczęsne łzy moje wydają,

Które mi z oczu płynąć nieprzystają.

или:

Per genus infelix juro.

Aut ego praemoria primoque extinguar in aevo

Aut ego Tantalidae Tantalis uxor ero.

и:

Jać albo zdrowia w tym frasunku zbędę,

Albo na koniec twoją żoną będę.

Эта пѣснь не лишена значительныхъ литературныхъ достоинствъ. Въ ней съ психологической вѣрностью изображено женское чувство. Какъ хорошо, напримѣръ, выражено оно въ слѣдующихъ словахъ:

Jednęż mam wolność w swej ciężkiej niewoli,

Że się wždy mogę napłakać do woli.

Съ какой трогательной беспомощностью говоритъ она, что не съ кѣмъ подѣлиться ей своимъ горемъ. Прекрасная душа должна была быть у этой женщины, если она, при всемъ отвращеніи къ своему мужу, говорить о немъ:

Ja go nie sądzę, ani mi przystoi.

Глубокой психологической правдой отличаются также слѣдующія слова ея о мужѣ:

Mił mi nie będzie, bych dziś umrzeć miała.

Къ ея сильной натурѣ, очевидно, не подходитъ, господствующая во всѣ времена, банальная сентенція: „стерпится—слобится“. Силу ея характера подтверждаетъ также слѣдующее выраженіе:

Rece mógł związać, myśli niezniewoli.

Однинадцатисложный стихъ прекрасно передаетъ жалобы несчастной женщины. По формѣ это стихотвореніе не оставляетъ желать ничего лучшаго. Въ немъ встречается оборотъ, заимствованный Кохановскимъ, очевидно, изъ пословицы:

Trzeźwy w pijanych sprawy nieugodzi.

Кромѣ любовныхъ стихотвореній въ этомъ періодѣ Кохановскій писаль и другія. Изъ послѣднихъ интересна въ біографическомъ

отношениі двадцать шестая фрашка второй книги¹⁾ къ Петру Ключовскому, который собирался тогда ѿхать въ Италію. Это стихотворение, во первыхъ, показываетъ, что нашъ поэтъ не сразу отрекся отъ духовнаго сана, во вторыхъ, здѣсь Кохановскій говоритъ о своемъ нежеланіи вторично сопровождать заграницу Петра Ключовскаго. Странно въ послѣднихъ словахъ видѣть указаніе на то, что нашъ поэтъ всего только одинъ разъ ѿздилъ въ Италію²⁾. Ихъ скорѣе нужно понимать слѣдующимъ образомъ: совершенно не касаясь своей первой самостоятельной поѣздки, поэтъ говоритъ, что *разъ уже сопровождалъ* Петра заграницу и лишь *вторично не хочетъ сопровождать*. Упоминаемъ въ немъ Андреемъ былъ, во всякомъ случаѣ, не Нидецкій, который въ 1565 году, когда было написано это стихотвореніе, находился въ Польшѣ. Этимъ Андреемъ могъ быть и Дудычъ, съ которымъ также связывали Кохановскаго дружескія отношенія.

Въ 1565 году, вмѣстѣ съ Курцбахомъ, прїѣхалъ Дудычъ, во главѣ австрійскаго посольства, прибывающаго съ цѣлью склонить короля къ примиренію съ королевой Катериной и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обеспечить польскую корону за австрійскимъ домомъ послѣ смерти бездѣтнаго Сигизмунда Августа. Молодого пріятеля—епископа Дудыча привѣтствуетъ Кохановскій стихотвореніемъ, въ которомъ высказываетъ, по поводу его неожиданнаго прїѣзда, живѣйшую радость. (Foricoenia 63)³⁾ Не имѣя возможности видѣться съ нимъ, поэтъ посыаетъ ему свой портретъ, снятый съ него еще въ молодости, когда онъ не былъ до такой степени измѣженъ тоской и работой.

Дудычъ, сложивши съ себя въ 1567 году епископскій санъ, женился. Кохановскій по этому поводу написалъ шестнадцатую элегію третьей книги.⁴⁾ Въ ней поэтъ сообщаетъ правдивую новость о бракѣ блестящаго императорскаго послы Дудыча. Одна изъ дѣвицъ завладѣла тѣмъ, чего многія пламенно, но тщетно добивались. Ни итальянки, ни нѣмки, ни француженки не могли покорить его сердца. Одной только сѣверной красавицѣ удалось это. Ради нея Андрей отрекся отъ епископской митры и всѣхъ богатствъ. Откуда такая страсть

¹⁾ См. W. P. II. 370.

²⁾ St. Tarnowski. Op. cit. p. 274.

³⁾ См. W. P. III. 220.

⁴⁾ См. W. P. III. 140.

въ человѣческомъ сердцѣ? Или, можетъ быть, правдивъ старый миѳ о великанахъ, состоявшихъ изъ двухъ сросшихся между собой половинъ? Легенда повѣстуетъ, что разгнѣванный Юпитеръ за какіе-то ихъ проступки разсѣкъ каждого изъ этихъ великановъ на двое. И стали съ тѣхъ поръ разрозненная половина отыскивать по свѣту другъ друга. Этимъ поискамъ придала Венера особенную сладость и такимъ образомъ облагодѣтельствовала человѣческій родъ. Такъ произошла любовь. На землѣ каждый ищетъ своей половины. Нашедши свою, Дудычъ сталъ цѣлымъ человѣкомъ. Въ качествѣ друга поэтъ желаетъ ему вѣчнаго счастья. (Миѳъ объ андрогинахъ заимствованъ Кохановскимъ изъ „Пира“ (*Συμπόσιον*) Платона).

Станиславъ Тарновскій, отстаивая правовѣрность католическихъ убѣжденій нашего поэта, считаетъ эту элегію прямо неприличной и объясняетъ ее путаницей понятій того времени о религіозныхъ вопросахъ.¹⁾ По его словамъ, многіе католики XVI вѣка не были до такой степени знакомы съ догматами своей вѣры, чтобы не считать брака послѣ таинства священства грѣхомъ противъ церковныхъ постановленій. Кромѣ того, Кохановскій могъ написать это стихотвореніе исключительно ради дружбы съ Дудычемъ.

Дѣло объясняется на нашъ взглядъ гораздо проще тѣмъ убѣженіемъ Кохановскаго, которое помѣшало ему сдѣлаться священникомъ. Слѣдовательно, тутъ не при чемъ смѣщеніе понятій, царившее въ его время. Скорѣе можно допустить въ нашемъ поэте сочувствие нѣкоторымъ протестантскимъ убѣжденіямъ, чѣмъ ревностный католицизмъ. Какъ мы выше упоминали, даже нѣкоторыя духовныя лица были тогда на сторонѣ реформаціи. Самъ Дудычъ, какъ видно, во первыхъ, изъ его женитбы и, во вторыхъ, изъ латинскаго двустишія, переведеннаго Кохановскимъ въ 43 фрашѣ первой книги²⁾ „Na swiѣtego ojca“, склонялся на сторону протестантизма. Едва ли ревностный католикъ рѣшился бы писать или переводить насыпшку надъ главой своей церкви, хотя бы и жившимъ въ прошломъ столѣтіи.

Не въ одной только элегіи къ Дудычу отразилось знакомство нашего поэта съ философіей Платона. Идеологія великаго греческаго мыслителя послужила канвой для шутливаго стихотворенія Коханов-

¹⁾ Op. cit. p. 275 – 280.

²⁾ См. W. P. II. 347.

скаго „Broda“.¹⁾ Содержаніе его состоить въ слѣдующемъ: гдѣ-то въ заоблачныхъ сферахъ идеальная, абсолютная борода, отраженіемъ которой служать всѣ земныя бороды, ведетъ безпрестанную борьбу съ такими-же усами. Послѣднимъ удается склонить на свою сторону зодиакальнаго Водолея, который чувствуетъ какую-то злобу противъ бороды и берется ее наказать.

Здѣсь, вѣроятно, скрыта какая-нибудь аллегорія или намекъ, значеніе которыхъ для насъ не понятно. Вслѣдствіе этого стихотвореніе теряетъ значительную долю остроумія и не производить на насъ вполнѣ благопріятнаго впечатлѣнія.

Къ этому времени придворная служба начинаетъ тяготить Кохановскаго; ему хочется оставить дворъ и уѣхать въ Чернолѣсъ, но Мишковскій удерживаетъ его. Основаніемъ для такого предположенія служитъ эпиграмма нашего поэта „Ad Musas“ (Foricoenia)²⁾, гдѣ Кохановскій называетъ себя бѣглецомъ, измѣнникомъ по отношенію къ музамъ; но пусть онъ не судить его за это слишкомъ строго, такъ какъ его не увлекла перспектива митры и богатства. Суровая добродѣтель Мишковскаго и расположение его, превышающее дѣйствительныя заслуги поэта, обязываетъ послѣдняго посвятить себя иной службѣ. Кохановскій считаетъ для себя недостойнымъ пользоваться досугомъ, когда его благодѣтель несетъ неусыпные труды. Тѣмъ не менѣе, поэта не оставляетъ надежда, что онъ, въ награду за свою дѣятельную жизнь, получить возможность вернуться, наконецъ, въ священные рощи музъ, передъ лицомъ которыхъ ему хотѣлось бы и жить и умереть.

Къ тому же времени относится, вѣроятно, „Carmen Macaronicum“³⁾. Это стихотвореніе очень важно въ біографическомъ отношеніи. Приводимъ его содержаніе.

Поэтъ, томимый лѣтнимъ зноемъ, направляется къ дубовому лѣсу, расположенному на берегу Вислы, около Кракова. Погрузившись въ размышенія о выборѣ для себя образа жизни и рода занятій, онъ замѣчаетъ приближающихся къ нему четырехъ мужей. Одинъ изъ нихъ одѣтъ въ сѣрую рясу, подпоясанную грубой веревкой, на головѣ его сіяла огромная лысина, а ноги были обуты въ

¹⁾ См. W. R. II. 210.

²⁾ См. W. R. III. 271.

³⁾ См. W. R. II. 481.

деревянные башмаки. На другомъ былъ длинный черный костюмъ, доходившій до пятъ, собранный во множество складокъ. И у него была лысина, которую покрывалъ черный беретъ, съ нависшими, по итальянской модѣ, краями. Третій былъ одѣтъ въ широкій бархатный плащъ, желтый кафтанъ и кожаные рейтезы, желтый колетъ, сапоги, шпагу и беретъ съ перьями; на шеѣ у него была золотая цѣпь, такъ что все на немъ было желтаго цвѣта. Четвертый носилъ одежду маковаго цвѣта, спитую просто и украшенную только парой серебряныхъ застежекъ и двѣнадцатью пуговицами, цѣнной работы, по шести въ каждомъ ряду. Встрѣтившись съ поэтомъ, всѣ они поздоровались съ нимъ. Первымъ обратился къ нему тотъ, что былъ опоясанъ веревкой: „по твоему лицу я вижу, сынъ мой, что у тебя есть какая-то забота. Повѣдай мнѣ ее, можетъ быть, благой совѣтъ найдется у меня подъ сѣрой рясой“. Поэтъ отвѣчаетъ ему: „не мучить меня ни жажда къ наживѣ, ни честолюбіе; не хочу я епископской митры. Я не имѣю долговъ и возлюбленная не завладѣла моимъ умомъ. Благодаря Бога, отъ всего этого свободно мое сердце. Меня беспокоитъ одна только мысль, какъ устроить свою жизнь. Если ты такъ добръ, дай мнѣ хороший совѣтъ“.

Монахъ отвѣчаетъ ему: „счастье твое, молодой человѣкъ, что ты не полагаешься на слѣпую судьбу и рѣшаешься дѣйствовать по собственному размыщенію и по добруму совѣту. Слушай и сохрани мои слова въ глубинѣ твоей души. Видишь, какъ вѣтеръ вырываетъ съ корнемъ громадные дубы? Такъ, сынъ мой, бываетъ и въ людскихъ дѣлахъ: кто стремится къ высокимъ почестямъ, тотъ подвергается суровымъ ударамъ судьбы, а кто держится ближе къ землѣ, тому они не опасны. И я также, будучи лѣтъ пятнадцати отъ рода, пережилъ такія же заботы, какъ и ты. Можетъ быть, я и согрѣшилъ бы, такъ какъ людскіе помыслы не мудры. Уже лукавый искушалъ меня женитьбой или придворной службой. Но во снѣ мнѣ явился св. Бернардъ и склонилъ меня къ поступленію въ монастырь его ордена. То же слѣдуетъ сдѣлать и тебѣ, мой сынъ, если ты не хочешь знать скверны міра сего и желаешь сподобиться сладости будущей жизни. Но напрасно не жди, чтобы тебѣ явился во снѣ св. Бернардъ, или добрая божества. Такъ бывало прежде, но не теперь, когда ни постовъ не соблюдаются, ни мѣша уже не пользуется уваженiemъ“.

Послѣ монаха говорить ксендзъ. Смысль его рѣчи состоить въ томъ, что монахи и ксендзы, совершая однѣ и тѣ же службы, наход-

дятся въ одинаковой близости къ небу; въ осталномъ же послѣдніе имѣютъ то преимущество надъ монахами, что могутъ принимать участіе въ веселыхъ бесѣдахъ и пользоваться услугами молодыхъ кухарокъ.

Придворный выражаетъ нежеланіе видѣть молодого человѣка ни въ монашеской, ни въ священнической рясѣ, такъ какъ теперь наибольшую ненависть вызываютъ къ себѣ ксендзы, а монахи возбуждаютъ отвращеніе. Даже епископовъ не охраняютъ отъ этого ихъ святительскія облachenія. Проклятъя потеряли свою силу, и сами діаволы уже не боятся креста. Поэтому онъ не совѣтуетъ молодому человѣку гнаться за духовнымъ хлѣбомъ, когда есть еще иной путь, на которомъ, будучи полезнымъ себѣ и своимъ ближнимъ, можно не подвергаться ненависти и людскими насыпкамъ.

Землевладѣлецъ, отдавая должное каждому изъ вышеупомянутыхъ званій, говорить о необходимости выбрать себѣ родъ жизни исключительно по внутреннему влечению. Кто можетъ сдержать клятву и вести чистую жизнь, пусть дѣлается священникомъ. Въ противномъ случаѣ, незачѣмъ подвергать себя опасности мщенія разгневанныхъ боговъ. Мы всѣ люди, для настѣ не грѣхъ жениться, однимъ только священникамъ это запрещено. Хотя нужно удивляться, почему для нихъ грѣшино имѣть добродѣтельную жену, а „..... choware kucharkam“ не грѣхъ. Довольно обѣ этомъ. Подобная загадка не по нашему разуму. Скорѣе нужно разрѣшить, на какомъ родѣ жизни лучше остановиться: на придворной ли службѣ, или на поприщѣ землевладѣльца. Достаточно присмотрѣться къ тому, что дворяне дѣлаются, а не къ тому, что говорятъ. Они, правда, хвалять свою жизнь, но, вдоволь отвѣдавши королевской милости, въ концѣ концовъ возвращаются къ плугу. Ничего неѣть лучше собственного угла: „ни передъ кѣмъ я не сгибаю колѣнъ, я свободенъ, никому не служу, тѣшусь своей вольностью и покоемъ. Неѣть у меня большого богатства, но я и не стремлюсь къ нему. Довольный судбою, я обрабатываю своими волами собственную землю, которая поддерживаетъ и кормитъ меня. Мои дѣти вмѣстѣ съ добродѣтельной женою, которая готова переносить со мною вмѣстѣ все, что только принесетъ намъ счастье, прислуживають мнѣ у стола. Вдали отъ меня зависть, сплю я безмятежнымъ сномъ и живу для себя. Мнѣ кажется, что скорѣе такъ жили люди въ золотомъ вѣкѣ, чѣмъ наслаждаясь молочными рѣками и медоносными деревьями“. Пусть эти неѣсколько словъ послужатъ въ

похвалу сельской жизни, а если кто-нибудь станет отговаривать от нея молодого человѣка, тотъ совершенно не желаетъ ему счастья.

Все это стихотвореніе представляетъ мѣткую сатиру на духовенство и придворныхъ. Поэтъ въ рѣчи монаха подчеркивается въ особенности праздность этого сословія и бanalъная, стереотипная нравоученія, съ которыми они обращаются къ каждому. Въ ксендзахъ онъ порицаетъ ихъ излишнюю свѣтскость, лицемѣrie и распутную жизнь. Проникнутыя горечью слова о прелестяхъ придворной похлебки доказываютъ, что жизнь при дворѣ начинала уже тогда сильно тяготить Кохановскаго. Еще меныше привлекалъ его священническій санъ, который, вопреки всякимъ нравственнымъ законамъ, не позволялъ „*cnotliwam ducere zonam*“. Необходимо отмѣтить здѣсь легкую иронію надъ чудесами, когда поэтъ словами монаха описываетъ явленіе св. Бернарда и говорить о невозможности такихъ фактовъ въ нашъ нечестивый вѣкъ. Разобранное стихотвореніе названо макароническимъ въ подражаніе изобрѣтателю этой литературной формы, распространенной во всей Европѣ того времени¹⁾, итальянцу Теофилу Фоленго: „*Ars ista poetica nuncupatur ars macaronica a macaronibus derivata, qui macarones sunt quoddam pulmentum farina, caseo, butyro compaginatum, grossum, rude et rusticum*“.

Она состоитъ въ смѣшніи латинскихъ словъ съ латинизированными народными.

Всѣ симпатіи нашего поэта уже склоняются къ сельской жизни, которую онъ рисуетъ самыми привлекательными чертами. Въ этомъ стихотвореніи ясно выражается та житейская философія умѣренности, которая видѣтъ счастье въ спокойной и беззаботной жизни, отсутствій тяжелыхъ обязанностей и въ полной свободѣ.

¹⁾ Примѣромъ макаронического стиха могутъ служить нѣкоторыя мѣста изъ „Энеиды“ Котляревскаго.

III.

Прямота и нелицепріятіе Кохановскаго. Стихотвореніе „O nowych fraszkach“. Непріязнь къ Кохановскому со стороны придворныхъ. Мелкіе уколы его самолюбія и обиды. Оставленіе поэтомъ королевской канцеляріи вмѣстѣ съ Мышиковскимъ. Гипотезы Бронислава Хлѣбовскаго и Станислава Тарновскаго о причинѣ этого событія. 15 элегія III книги и 13 той же книги, какъ программа сельской жизни Кохановскаго.

Не лицамъ служилъ Кохановскій, когда онъ писалъ свой „Satyry“, „Zgode“ и другія политическія произведенія, въ которыхъ онъ смѣло высказывалъ свои убѣжденія, и глубоко скорбѣлъ о внутреннихъ неурядицахъ Рѣчи Посполитой. Мы уже видѣли, какія мѣры предлагать онъ для ихъ устраниенія, открыто бичуя свободнымъ и искреннимъ словомъ различные недостатки своихъ современниковъ. Въ этомъ отношеніи нашего поэта не стѣсняла ни знатность происхожденія тѣхъ, противъ кого онъ вооружался, ни ихъ общественное положеніе, ни богатство. Даже королю высказывалъ Кохановскій горькія истины:

Pocznisz rząd sam od siebie, a uskrom chciwości,
Niechaj będą posłusze rozumnej zwierzchności. . .

W przyjacielu się kochaj i każdą przestroge
Wdzięcznie od niego przyjmuj: bo śmiele rzecz mogę,
Królowie inszych rzeczy wszech obfitość mają,
Samej prawdy tam do nich namniej przynaszą.
Przeto niechaj nie lubi ucho twe cnotliwe
Pochlebstwa, które, jako zwierciadło fałszywe,
Rozną twarz tych postępków tobie ukazuje...¹⁾

Прекрасно сознавая призрачность королевской власти при господ, ствовавшей тогда анархіи, Кохановскій пишетъ смѣлу и въ высшей степени остроумную эпиграмму „O nowych fraszkach“, подъ которыми онъ подразумѣваетъ королевскія привилегіи:

Nie teraz po mych fraszkach, bo insze nastały,
Króych poczet na každy dzień widzę niemały.
Więc je na pargaminie nadobnie pisano,

¹⁾ См. W. P. t. II str. 56—57.

A niektóre i złotym prochem posypano.

U każdej orzeł i pstra czysta sznura długa,

Spytaj że Aristarcha: fraszka jako druga¹⁾.

Такія смѣлія слова въ устахъ бѣднаго, неродовитаго шляхтича весьма естественно не могли нравиться блестящимъ царедворцамъ, въ средѣ которыхъ вращался поэтъ въ качествѣ королевскаго секретаря. Ни почетная должность, ни покровительство Мышковскаго не могли спасти Кохановскаго отъ мелкихъ, но тѣмъ не менѣе весьма чувствительныхъ уколовъ самолюбія, которымъ подвергали его на каждомъ шагу задѣтые имъ за живое знатные магнаты. Нерѣдко случалось поэту обивать пороги какого-то Павла, тщетно пытаясь застать его дома²⁾. Нерѣдко приглашали Кохановскаго на ужинъ и совершенно забывали объ этомъ, отпуская его домой не солено хлѣбавши³⁾.

Бѣднаго королевскаго секретаря не разъ обходили приглашеніями, на что онъ горько жалуется въ своей эпиграммѣ „Ad lectorem“⁴⁾:

Si quid in hoc, lector, deprendes forte libello,

Naturam tituli non redolere sui,

Non haec culpa mea est, qui nullo segnior adsum,

Ad coenam si quis me sibi forte vocet.

Sed magis accusandi ii sunt, qui saepe vocari

Quaerentem medio praeteriere foro.

Nam coenare domi et foricoenia scribere tantum est,

Ac si ad aquae cyathos ebria verba sones.

Не лучше бывало поэту, когда случалось ему попадать на пышную трапезу какого-нибудь важнаго магната. Здѣсь относились къ бѣдному Яну съ пренебрежительнымъ невниманіемъ, какъ видно изъ слѣдующихъ строкъ:

Ad coenam invitatis me, Firleu, deinde sopori

Te das; haec dubia est coena procul dubio.

Все это мелочи, на которые, какъ-будто, и вниманія обращать не стоитъ. Но если онъ повторялись на каждомъ шагу, если онъ демонстративно подчеркивали разницу въ общественномъ положеніи бѣднаго шляхтича—поэта и знатныхъ вельможъ, то этого было

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 390.

²⁾ См. W. P. t. II, str. 421, fr. 42

³⁾ См. W. P. t. III, str. 216 и t. II, str. 349, fr. 51

⁴⁾ См. W. P. t. III, str. 223.

вполнѣ достаточно, чтобы глубоко оскорбить и не такую чуткую патуру, какая была у Кохановскаго. И дѣйствительно, тяжело жилось нашему поэту въ этой холодной обстановкѣ напыщенности и чванства, среди вельможъ, гордыхъ своимъ богатствомъ и знатностью, и убогихъ по уму и нравственнымъ качествамъ, себялюбивыхъ, преданныхъ личнымъ интересамъ, а не служенію родинѣ, за судьбы которой болѣла душа Кохановскаго. Называя свои придворныя эпиграммы холодными, съ горькимъ чувствомъ говорить поэтъ Яну Фирлею:

*Hos ego versiculos feci, sed sub Iove, Firleu,
Si frigent, non plus ipse poeta calet.* ¹⁾

Можетъ быть и болѣе крупныя огорченія приходилось переживать Кохановскому при королевскомъ дворѣ. Въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ можно видѣть ясные намеки на это.

Вотъ, напримѣръ, въ 20 фразкѣ III книги „Do Jana“ ²⁾ (къ самому себѣ) поэтъ утѣшаетъ себя той мыслью, что злымъ людямъ будетъ отомщена его обида, которую онъ потерпѣлъ за свое расположение къ нимъ, какъ-будто бы не зналъ людей и думалъ, что отъ терновника можно ожидать иныхъ плодовъ, кромѣ колючихъ терній. Обиду эту поэтъ хочетъ скрыть отъ свѣта. Хорошо бы было совершенно забыть ее, чтобы она не удручила сердца тяжелой скорбью. Нужно быть мужественнымъ и не обращать вниманія на соболѣзнованія и крокодиловыя слезы обидчиковъ.

Это стихотвореніе написано очевидно послѣ того, какъ поэтъ нѣсколько охладѣлъ уже къ своему горю, но оно всетаки дышитъ болью и показываетъ, что какая-то обида дѣйствительно была кѣмъ то нанесена Кохановскому.

Очень можетъ быть, что поэта огорчила чья-либо неблагодарность или зависть, какъ можно судить на основаніи тридцать второй фразки первой книги „O zazdrosci“ ³⁾. Ни друзья, ни золото, ни добродѣтель не спасутъ человѣка отъ несчастья:

*Przeklęta zazdrość dziwnie się frasuje,
Kiedy u kogo co nad ludzi czuje.*

Если ей не удастся укусить, она лаетъ. Ее легко можно перехитрить, ничего не относя къ себѣ и твердо выдерживая всѣ ея на-

¹⁾ См. W. P. t. III, str. 243.

²⁾ См. W. P. t. II, str. 411.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 344.

падки. Послѣдняя мысль связываетъ эту фразку съ предыдущей „Do Jana“.

Въ 1569 году Мышковскій покидаетъ Краковъ, будучи назначень епископомъ на Плоцкую каѳедру. Такимъ образомъ Кохановскій остался безъ могущественного покровителя одинъ среди чуждыхъ ему по духу людей, всецѣло предоставленный ихъ насыщкамъ и оскорблениямъ. Естественнымъ выходомъ изъ такого положенія было оставленіе нашимъ поэтомъ королевской канцеляріи, что онъ и не замедлилъ сдѣлать, распрошавшись съ придворной службой и отправившись къ себѣ въ Чернолѣсъ.

Здѣсь мы позволимъ себѣ сдѣлать маленькое отступленіе по поводу мнѣнія Бронислава Хлѣбовскаго¹⁾ и его послѣдователя въ данномъ вопросѣ Станислава Тарновскаго²⁾, которые считаютъ одной изъ главнѣйшихъ причинъ оставленія Кохановскимъ двора неудачную любовь нашего поэта къ какой-то дѣвушкѣ (Хлѣбовскій прямо называетъ Ганну Тарновскую). По нашему мнѣнію, съ этимъ едва ли можно согласиться, во-первыхъ, потому что Кохановскій, будучи пламеннымъ патріотомъ и имѣя возможность вслѣдствіе близости къ королю оказывать непосредственное вліяніе на политическіе судьбы своей родины, никогда не пожертвовалъ бы общественнымъ благомъ ради личнаго чувства. Во-вторыхъ, эротическія стихотворенія, которыя *ипотетически* могутъ быть отнесены къ занимающему нась періоду жизни Кохановскаго (9 фр. III кн., 11, III, 13. III, 3 эл. III кн., 30 фр. III кн.) вовсе не отличаются большей силой и индивидуальностью, чѣмъ разобранныя нами произведенія, посвященные Лидіи. Слѣдовательно, свою новую избранницу поэтъ любилъ (если только это было въ дѣйствительности) ничуть не сильнѣе, чѣмъ Лидію, къ которой онъ пыталъ своей *первой* юношеской страстью. Если тогда въ Падуѣ, потерпѣвшіи въ своемъ чувствѣ неудачу, поэтъ не бросилъ своихъ научныхъ занятій, чтобы забыться отъ своего горя въ сельской глупи, то тѣмъ менѣе оснований поступить такимъ образомъ имѣть онъ теперь, обладая вполнѣ сложившимся характеромъ и принимая непосредственное участіе въ государственныхъ дѣлахъ своей родины.

По вопросу о причинѣ оставленія Кохановскимъ двора мы можемъ высказать слѣдующее предположеніе: лишившись своего непо-

¹⁾ См. Bronislaw Chlebowski. Jan Kochanowski w świetle własnych utworów, str. 94.

²⁾ Op. cit. p. 289.

средственного покровителя Мышковского, изъ устъ котораго онъ получалъ инструкціи для составленія политическихъ памфлетовъ въ родѣ „Сатира“, нашъ поэтъ очутился не у дѣль, такъ-какъ не могъ разсчитывать на поддержку со стороны своихъ богатыхъ и знатныхъ сослуживцевъ, отношеніе которыхъ къ Яну ясно видно изъ выше-приведенныхъ стихотвореній. Въ виду этого онъ никогда не могъ разсчитывать на успѣхъ, если бы, оставаясь при дворѣ, онъ вздумалъ высказывать въ стихотвореніяхъ свои собственные политические идеалы, не утвержденные санкціей болѣе сильнаго авторитета, чѣмъ званіе королевскаго секретаря и слава поэта при незнанности происхожденія и имущественной бѣдности. Такимъ образомъ намъ кажется что Кохановскій оставилъ дворъ, чувствуя себя здѣсь совершенно лишнимъ человѣкомъ.

Вскорѣ послѣ оставленія королевской канцеляріи поэтъ уже въ Чернолѣсѣ пишетъ 15 элегію III кн.¹⁾), гдѣ слѣдующими чертами рисуетъ прелести придворной службы:

Patria rura colo, nunc fallax aula manebis.
Hic ego nec nutum alterius, nec limina servo
Infrigens duris molle latus foribus.
Nec votis exopto famen incoenatus herilem,
Nec cuiquam in turba pugno aperire viam.

Далѣе слѣдуетъ красноречивое описание радостей свободной деревенской жизни, посвященной наукамъ, земледѣлію и скотоводству. Поэтъ рассматриваетъ всѣ отрасли сельского хозяйства и въ заключеніе совѣтуетъ продавать плоды своихъ трудовъ, строя корабли и сплавляя на нихъ пшеницу и другіе хлѣба внизъ по теченію Вислы для продажи. Здѣсь особенно любопытны слѣдующія строки:

Materiam silvis fabricandae convehe navi
Irato Satyrus frendeat ore licet.

Очевидно подъ вліяніемъ чисто практическихъ соображеній Кохановскій въ данномъ случаѣ отказался отъ высказанного имъ раньше въ „Сатирѣ“ отрицательного отношенія къ вырубкѣ лѣсовъ.

Слѣдовательно, нашъ поэтъ не былъ узкимъ доктринеромъ, а всегда считался съ требованіями живой дѣйствительности

¹⁾ См. W. P. t. III, str 136.

Нѣсколько раньше этой элегіи, еще до пріѣзда въ Чернолѣсъ, Кохановскій пишетъ тринадцатую элегію третьей книги³⁾, гдѣ онъ начертываетъ программу своей будущей деревенской жизни. Мышковскій совѣтывалъ ему оставить латинскія стихотворенія и заняться преимущественно польскими. Объ этомъ повѣствуетъ начало вышеупомянутой элегіи, гдѣ поэтъ говоритъ музамъ о своемъ намѣреніи покинуть красивые берега Аніена, перенестись къ Карпатскимъ вершинамъ и роднымъ стихомъ, если онъ только въ силахъ, украсить Сарматію.

Nec primus rupes illas peto: Reius eandem

Institit ante viam, nec renuente Deo.

Et meruit laudem, seu parvum fleret Ioseph

Leto fraterna pene datum invidia.

Sive Palingenii exemplum Musamque secutus,

Quid deceat caneret, dedebeatque viros.

Concinit acceptos superis Tricesius hymnos,

Linguarum praestans cognitione trium

Et quae de mundi perscripsit origine Moses,

Ignota esse suaе non patitur patriae.

Laude sua neque Gornicium fraudavero; namque hic

Orphaea fingit carmina digna lyra,

Germanosque canit magno certamine victos,

Commitens lyricis Martia bella modis.

По ихъ слѣдамъ и онъ хочетъ стать народнымъ поэтомъ, къ чему его побуждаетъ „patriae dulcis amor“. Далѣе онъ проситъ Мышковскаго, чтобы послѣдній позволилъ ему провести остатокъ дней своихъ съ музами и Сократомъ. У поэта явилась потребность изслѣдовать причины всего, что происходитъ въ природѣ и, наконецъ, что дѣлаютъ и гдѣ находятся души послѣ ихъ разлуки съ тѣломъ. Къ разрѣшенію этихъ вопросовъ склоняютъ его примѣры гуманистовъ, древнихъ и новыхъ философовъ и поэтовъ, по стопамъ которыхъ и Кохановскій хочетъ попытаться ближе подойти къ невѣдомой истинѣ. Ниже мы увидимъ, привелъ ли онъ въ исполненіе свои намѣренія, думая воспользоваться для этого свободнымъ, независимымъ положеніемъ небогатаго землевладѣльца и спокойнымъ идиллическимъ уединеніемъ въ глухи родимаго Чернолѣса.

¹⁾ См. W. R. t. III, str. 130.

жесъ съ тѣхъ амъ этой, это стечениемъ ли удача сквозь эти послѣднія дни, когда онъ вспоминалъ о ней, отъ которыхъ стѣ поглощены были въ сокрушеніи, съ тою же ясностью, какъ и первоначально, и въ то же время съ еще болѣе ясностью, какъ и въ первоначальномъ виде. Но и въ это время, и въ то время, когда онъ вспоминалъ о ней, онъ не могъ забыть, что въ душѣ его въсѣдѣла одна изъ самыхъ злыхъ и беспощадныхъ силъ, и это неизгладимое впечатлѣніе, какъ будто бы онъ былъ въ рукахъ врага, не позволяло ему забыть о ней. И въ то время, какъ онъ вспоминалъ о ней, онъ не могъ забыть, что въ душѣ его въсѣдѣла одна изъ самыхъ злыхъ и беспощадныхъ силъ, и это неизгладимое впечатлѣніе, какъ будто бы онъ былъ въ рукахъ врага, не позволяло ему забыть о ней. И въ то время, какъ онъ вспоминалъ о ней, онъ не могъ забыть, что въ душѣ его въсѣдѣла одна изъ самыхъ злыхъ и беспощадныхъ силъ, и это неизгладимое впечатлѣніе, какъ будто бы онъ былъ въ рукахъ врага, не позволяло ему забыть о ней. И въ то время, какъ онъ вспоминалъ о ней, онъ не могъ забыть, что въ душѣ его въсѣдѣла одна изъ самыхъ злыхъ и беспощадныхъ силъ, и это неизгладимое впечатлѣніе, какъ будто бы онъ былъ въ рукахъ врага, не позволяло ему забыть о ней.

ГЛАВА V.

Сельская жизнь Кохановскаго до его брака.

I.

Состояніе духа Кохановскаго въ теченіе первого времени его деревенской жизни. Остатки прежняго горькаго чувства и ихъ выраженіе. 17 пѣснь второй книги. Однинадцатая той же книги. Третья, девятнадцатая, девятая той же книги. Желаніе заглушить свое горе въ веселой компаніи. Девятая пѣснь первой книги. Двадцать четвертая той же книги. Возвращеніе къ спокойствію духа. Вторая пѣснь первой книги и шестнадцатая той же книги. Третья элегія четвертой книги. V ода. Пѣснь „*Patrzaj jako śnieg*“. XI ода. Стихотвореніе къ Музѣ и 24 пѣснь II книги.

Почувствовавъ себя лишнимъ и принужденный оставить дѣятельность, которой онъ думалъ сначала посвятить всѣ свои силы, Кохановскій несомнѣнно перенесъ душевное потрясеніе, которое не могло безслѣдно пройти для его нѣжной и чуткой натуры. Долгое время испытывалъ онъ горькое состояніе обиженнаго человѣка; сознаніе несправедливости и обманутыхъ надеждъ угнетало его. Даже спокойная уединенная жизнь въ тиши родимаго Чернолѣса, подъ сѣнью развѣистой липы, вдали отъ бурь и треволненій суетнаго свѣта, не приносila ему сразу желаемаго облегченія.

Семнадцатая пѣснь второй книги¹⁾ выражаетъ горячее негодованіе на шумный свѣтъ. Ни одинъ разумный человѣкъ не долженъ

¹⁾ См. W. P. t I, str. 323.

ставить свою судьбу въ зависимость отъ него, такъ какъ въ немъ не на что разсчитывать навѣрняка. Жизнь измѣнчива, какъ море, и только обладающій компасомъ спасается отъ гибели во время бури. „Добродѣтель мой компасъ“, восклицаетъ поэтъ: „она указываетъ мнѣ умѣренность, какъ единственное условіе безмятежнаго счастья.“

Въ одиннадцатой пѣсни II книги¹⁾, написанной въ подражаніе третьей оды II кн. Гораций, поэтъ совѣтуетъ сохранять твердость въ несчастии, утѣшаться тѣмъ, что даетъ настоящее, и не заботиться о будущемъ. Даже въ веселыхъ мгновеніяхъ не нужно забывать, что человѣкъ—вѣчный скитаецъ на землѣ и долженъ готовиться къ смерти. Здѣсь мысль о смерти соединяется съ призывомъ къ наслажденію, что производить въ высшей степени сильное впечатленіе и показываетъ, что сердце поэта переболѣло, ему хочется заглушить отзвуки пережитой боли, но они въ минуты искусственного веселья еще громче заявляютъ о себѣ и, какъ огненная надпись на пиру Валтасара, служать грознымъ предзнаменованіемъ бренности земныхъ утѣхъ и радостей.

Въ третьей пѣсни второй книги²⁾ поэтъ также совѣтуетъ не вѣрить судьбѣ, такъ какъ несчастье царитъ надъ всѣмъ. Одна только добродѣтель представляетъ вѣчное сокровище, котораго ничто не можетъ отнять у человѣка. Какъ бы продолженіемъ и развитиемъ этой мысли служить девятнадцатая пѣснь второй книги³⁾, которая совѣтуетъ къ концу жизни позаботиться о доброй славѣ, объ оставленіи послѣ себя доброго имени и придерживаться достойнаго заобра мыслей:

Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie,
не жить, какъ безсловесныя твари, отъ которыхъ Богъ отличилъ людей разумомъ, а всюду распространять добрые нравы, водворять порядокъ, уничтожать раздоры, охранять законы и, кто чувствуетъ себя въ силахъ, сражаться съ врагами. Мысль о высокомъ назначеніи человѣка мы встрѣчали почти въ тѣхъ-же самыхъ словахъ въ поученіи Хирона въ „Сатирѣ“. Съ этой прекрасной пѣсни поэтъ начинаетъ уже постепенно успокаиваться; энергія и жажда жизни

¹⁾ См. W. P. t. I, str. 317.

²⁾ См. W. P. t. I, str. 307.

³⁾ См. W. P. t. I, str. 326.

возвращаются къ нему; взгляды на жизнь становятся шире. Еще болѣе яснымъ выраженіемъ перемѣны въ состояніи духа нашего поэта служитъ девятая пѣснь второй книги¹⁾. Поэтъ предлагаетъ въ ней всѣмъ, кто только упалъ духомъ, не терять надежды, такъ какъ солнце заходитъ не въ послѣдній разъ и на смѣну холодной зимы придетъ благодатная весна²⁾ Можетъ быть, къ добру честовѣку приходится испытывать горе, такъ какъ въ счастьи его одолѣваетъ гордость. (Здѣсь невольно бросается въ глаза сходство съ мыслью изъ Премудрости Соломона: „егоже аще любить Господъ,—наказуетъ.“) Затѣмъ Кохановскій приводитъ положеніе древнихъ философовъ объ одинаковомъ отношеніи ко всѣмъ превратностямъ судьбы и заканчиваетъ свою пѣснь чисто христіанскимъ упованіемъ на милость Божію:

SiГa Bóг moГe wywroГciГ w godzinie,

A kto mu kolwiek ufa, nie zagine,

Послѣдняя строка очень похожа на окончаніе знаменитой хвалебной пѣсни св. Амвросія, епископа Медіоланскаго: „на Тя, Господи, уповаю, да не постыдимся во вѣки.“

Въ стихотвореніи этомъ виденъ человѣкъ, уже совершенно успокоившійся послѣ пережитыхъ душевныхъ тревогъ и печалей, успѣвшій отдохнуть отъ волненій и примириться со своею судьбой.

Глядя на эти стихотворенія, можно подумать, что процессъ возстановленія равновѣсія въ душѣ поэта и примиренія его съ жизнью произошелъ постепенно, путемъ послѣдовательныхъ размышлений, безъ особенной борьбы и уклоненій въ обратную сторону. Но противъ этого говоритъ другая группа стихотвореній, въ которыхъ подъ шумнымъ весельемъ скрывается такая горечь, какъ будто несчастный поэтъ, въ порывѣ безнадежнаго отчаянія, очертя голову, бросался въ пучину бурныхъ утѣхъ и наслажденій, съ однимъ только желаніемъ, хоть какъ-нибудь забыться отъ гнетущаго горя, отъ которого надрывалось его бѣдное сердце. Такова, напримѣръ, девятая пѣснь первой книги³⁾, повидимому, вся проникнутая жаждой разгула

¹⁾ См. W. P. t. I, str. 315.

²⁾ Эта мысль близко напоминаетъ одну изъ стихиръ Иоанна Дамаскина, приведенную въ Тріоди Цвѣтной. Она звучитъ слѣдующимъ образомъ: „страстей напасть и помышленій буря тако да отженется, и да процвѣтеть весна вѣры“.

³⁾ См. W. P. t. I, str. 278.

и пьянства. Между тѣмъ, сомнѣніе во всемъ и отвращеніе къ жизни сквозить въ каждомъ ея словѣ: „кто знаетъ, что намъ готовить завтрашній день? Самъ Богъ смѣется при видѣ человѣка, погруженаго въ заботы больше, чѣмъ слѣдуетъ. Напрасны стремленія тѣхъ, которые хотятъ до всего дойти своимъ разумомъ, напрасны усиленія смертныхъ разрѣшить вѣчные вопросы“. Эти слова дышать горькимъ скептицизмомъ, который быль бы въ пору даже Гамлету или Фаусту. Здѣсь нѣть мѣста для обращенія къ Богу, Который смѣется надъ человѣческой слабостью и несовершенствомъ. Гдѣ тутъ

Krzyżem padać i świętych przenajdować dary,

съ горькой ироніей восклицаетъ поэтъ. Одна только стоическая философія, равнодушная къ перемѣнамъ судьбы, можетъ прійти на помощь къ извѣрившемуся во всемъ человѣку. Она успокоить совѣтомъ окружить себя неприступной стѣною своей добродѣтели, ограничиться скромнымъ достаткомъ, не стремиться къ большему и наслаждаться вѣрнымъ счастьемъ, если-бы даже оно и не было вѣчнымъ.

Вторая, восьмая и десятая строфа этой пѣсни представляютъ почти дословный переводъ 29—32, 53—56, 57—64 стиховъ двадцать девятой оды третьей книги Горация.

Почти такимъ же скептицизмомъ проникнута двадцать четвертая пѣснь первой книги¹⁾. „Ustap melankolia“, такъ какъ не стоитъ грустить, ни къ чему это не ведеть. „Для Бога каждый человѣкъ—глупецъ“. Человѣкъ—игрушка въ Божихъ рукахъ, всѣ мысли наши и стремленія—„to jawne bledy“. Лучше пусть принесутъ намъ вина, отъ котораго рождаются хорошия мысли,

A frasunek podlany

Taje, by śnieg zagrzany.

Всякое самое глубокое горе и отчаяніе должны имѣть свой конецъ. Исцѣляющая рука времени слаживаетъ воспоминанія о нѣкогда пережитыхъ мукахъ и душевныхъ потрясеніяхъ. И эти бурныя проявленія отчаянія, о которыхъ мы только что говорили, постепенно уступали мѣсто болѣе спокойнымъ размышленіямъ, расходившимся страсти улеглись и въ мятежной душѣ поэта воцарился тотъ желанный покой, ради котораго онъ удалился въ сельское уединеніе своей

¹⁾ См. W. P. t. I, str. 298.

Чернолѣсской усадьбы. Первое дыханіе весны оживило окрестныя поля, разбудило дремучіе лѣса и покрыло нивы зеленої озимью. И въ душѣ поэта отразилось пробужденіе природы.

Во второй пѣсни первой книги¹⁾ съ радостью смотрить онъ на свѣжую зелень окрестныхъ полей и лѣсовъ, на душѣ у него ясно, сердце свободно отъ былой тоски, и такъ ему становится хорошо что веселая шутка срываются съ его устъ. Онъ проситъ благодушіе, (*dobra myśl*), которое служитъ основой его счастья и не пренебрегаетъ его скромной бесѣдкой, чтобы оно всегда было при немъ, трезвъ ли онъ или пьянъ.

Такой-же искренней веселостью отличается двадцатая пѣснь первой книги²⁾, которая смѣется надъ церемонностью и приглашаетъ слугу сѣсть около своего господина. „Будь сегодня веселъ“, говорить поэту: „потому что о завтрашнемъ днѣ не стоитъ думать, такъ какъ судьба его уже давно предрѣшена Богомъ на небесахъ, и къ Его совѣту не допустятъ смертнаго“. Такъ разсуждаетъ поэтъ, сидя за столомъ въ кругу веселыхъ товарищѣй, которые, слушая его, забываютъ подливать ему вина. Онъ шутливо сердится на нихъ за это и спрашиваетъ:

Znał kto kiedy poetę trzeźwego?

Nie uczyni taki nic dobrego.

Изъ послѣднихъ словъ, однако, не слѣдуетъ дѣлать заключенія, что Кохановскій въ веселой компаніи забывалъ мѣру и напивался до излишества. Противъ этого свидѣтельствуетъ самый складъ его характера, деликатный, умѣренный. Во многихъ своихъ произведеніяхъ онъ вооружается противъ пьянства, какъ, напримѣръ, въ восемнадцатой пѣсни первой книги³⁾, которая написана въ это время, насколько можно судить по изображеніямъ тамъ картинамъ сельской жизни.

Серіознымъ выраженіемъ спокойствія и душевнаго равновѣсія, достигнутаго, наконецъ, поэтомъ, служитъ шестнадцатая пѣснь первой книги⁴⁾, представляющая вольный переводъ Горація, мысли

¹⁾ См. W. P. t. I, str. 27.

²⁾ См. W. P. t. I, str. 293.

³⁾ См. W. P. t. I, str. 289.

⁴⁾ См. W. P. t. I, str. 286.

котораго, вѣроятно, совпали со взглядами Кохановского въ этотъ періодъ его жизни и онъ воспользовался ими, нѣсколько приспособивши ихъ къ своему положенію. Жажда спокойствія и уединенія, которая много разъ томила нашего поэта во время его придворной службы, осуществилась и перешла въ убѣжденіе, въ руководящій жизненный принципъ, правда, заимствованный у другихъ, но въ достаточной степени передѣланный и приспособленный къ его потребностямъ. Въ тринацдатой элегіи третьей книги, обращаясь къ Мышковскому, поэтъ начертілъ ему планъ своей сельской жизни, въ который, между прочимъ, входили размышленія о началѣ мірозданія, о его законахъ, о вѣчной загадкѣ человѣческаго рожденія и смерти. Въ сельскомъ уединеніи своего Чернолѣса, съ однимъ изъ Фирлеевъ вѣль поэтъ бесѣды обѣ этихъ вопросахъ. Содержаніе ихъ изложено имъ въ третьей элегіи четвертой книги 1). Поэтъ выражаетъ въ ней свои установившіяся философскія убѣжденія, въ которыхъ мысли мудрецовъ древняго міра согласуются съ христіанскими идеями. На всѣ вопросы у поэта имѣется готовый отвѣтъ. Элегія эта представляетъ подробнѣйшее выраженіе философскихъ идей Кохановского.

Простымъ спокойнымъ тономъ говорить онъ сначала о чудесныхъ явленіяхъ природы на землѣ и на небѣ. Затѣмъ переходитъ къ чудесамъ въ физической и нравственной природѣ человѣка, въ безконечномъ разнообразіи ея характеровъ и стремленій; далѣе онъ говоритъ о различіи человѣка отъ животныхъ, о превосходствѣ его намъ ними. Все это приводитъ Кохановского къ вопросу: для человѣка ли сотовренъ міръ и если не для него, то для кого или для чего? Антропоцентристическая точка зреїнія противорѣчитъ разуму: животныя имѣютъ одинаковое съ человѣкомъ происхожденіе и потребности и если онъ превосходитъ ихъ по своимъ умственнымъ дарованіямъ, то опять таки неизмѣримо выше, чѣмъ онъ, стоять въ этомъ отношеніи небесные духи. Если Богъ создалъ вселенную для человѣка, то почему существуютъ въ ней дикие звѣри, вредные для людей? Для чего зной, стужа, ливни, бесплодная почва и тому подобныя явленія, затрудняющія человѣческое существованіе? Для чего голодъ, моровая повѣтря и, наконецъ, смерть, не щадящая даже новорожденныхъ младенцевъ? Въ отвѣтъ на эти вопросы Коханов-

¹⁾ См. W. P. t. III, str. 171.

скій сходится съ мыслями, выраженными Цицерономъ въ „Тускуланскихъ бесѣдахъ“. Поэтъ считаетъ слишкомъ себялюбивымъ того, кто думаетъ, что міръ созданъ для человѣка. Ближе къ истинѣ стоитъ тотъ, кто полагаетъ, что самодовѣрющій Промыслитель и Создатель міра въ данномъ случаѣ смотрѣлъ на Себя и хотѣлъ осуществить Свою цѣль. Всю эту неизмѣримую громаду сотворилъ Онъ такъ, чтобы созданіе было достойно Творца, отличалось такой же безконечной красотою, силой и мудростью, какими обладаетъ Онъ Самъ. Думая, что вся вселенная принадлежитъ намъ, мы поступаемъ какъ богачъ, который украсилъ свой домъ всевозможной роскошью и тѣшится своимъ достояніемъ, а смерть готова указать ему, что онъ не будетъ вѣчно владѣть этими благами, что наслѣдникъ уже смѣется надъ нимъ. Раздутое болѣзnenное себялюбіе заставляетъ людей думать, что міръ существуетъ для нихъ. Для Себя создалъ Богъ этотъ необозримый храмъ, а мы, люди, только благороднѣйшіе изъ рабовъ нашего Господа. По Его повелѣнію высшіе духи правятъ высшими сферами, люди господствуютъ на землѣ и, какъ руда, каждый изъ нихъ созданъ для своего предназначенія, для особой цѣли. Кто надлежащимъ образомъ исполняетъ свое призваніе, украшаетъ свою родину, какъ можетъ, и повинуется богамъ, тотъ въ правѣ надѣяться, по совлечению земного тѣла, быть вознесеннымъ выше. Кто пренебрежетъ полученными дарованіями, ничѣмъ не послужить своей родинѣ и будетъ жить какъ трутень между пчелами, тотъ послѣ смерти, какъ свидѣтельствуетъ Пиѳагоръ, поселится между свиньями и жабами, или будетъ подвергаться бичеваніямъ Эринній. Хотя есть мудрецы, отрицающіе бессмертіе души, однако больше тѣхъ, которые признаютъ его. Несмотря на Божью справедливость, въ этомъ мірѣ хорошіе люди страдаютъ, а дурнымъ все удается. Значитъ, или Богъ несправедливъ, чего не можетъ быть, или душа должна быть бессмертной.

Эти аргументы и даже общее теченіе мысли взято у древнихъ мудрецовъ, но идеи ихъ приближены къ христіанству. По тону и стилю эта элегія очень напоминаетъ Лукреція. Она отличается очень красивымъ изложеніемъ и возвышеннымъ характеромъ.

Къ тому же періоду жизни нашего поэта относится, вѣроятно, V ода къ Фирлею¹⁾, одно изъ лучшихъ произведеній нашего поэта,

¹⁾ См. W. R. III. 266

написанныхъ на латинскомъ языке. Кохановскій начинаетъ свое стихотвореніе описаніемъ лѣтняго зноя:

Agros et silvas dira premit sitis,
Aurarumque silent fiabra fugacium;
Solis densa cicadis
Arbusta undique personant.

Для спасенія отъ палящихъ лучей лѣтняго солнца поэтъ приглашаетъ Фирлея отдохнуть въ густой тѣни развѣсистаго явора, усѣвшись на землѣ, среди алыхъ розъ и бѣлыхъ лилій, съ кубками старого вина, наливаемаго изъ покрытыхъ мхомъ сосудовъ. Послѣ благородныхъ даровъ Вакха заботы о государственныхъ обязанностяхъ уступать мѣсто желанію танцевъ, пѣсень и любви. Такъ совѣтуетъ Кохановскій своему гостю провести день наканунѣ приготовленій къ войнѣ¹⁾. При всѣхъ своихъ литературныхъ достоинствахъ эта ода носить явные слѣды реминисценцій изъ Горация, у которого часто встречается покрытый мхомъ кувшинъ старого вина. Самое ими Хлои взято у него же. Въ это же время, по всей вѣроятности, написано было Кохановскимъ стихотвореніе „Partzaj jako śnieg“²⁾.

Начинается оно прекрасной зимней картиной:

Patrzaj, jako śnieg po górah się bieli,
Wiatry z północy wstają,
Jeziora się ścinają,
Zórawie czując zimę precz lecieli.

Поэтъ приказываетъ принести дровъ для камина и на столъ поставить вино, говоря, что не слѣдуетъ заботиться о будущемъ. Лучше пользоваться настоящимъ:

Nam, gdy raz młodość minie,

Już na wiek wiekom ginie,

A zawsze gorsze lata przypadają.

Все стихотвореніе состоитъ изъ пяти строфъ, по четыре строки въ каждой, при чемъ первый и четвертый стихъ состоятъ изъ одиннадцати

¹⁾ Въпольской литературѣ существуетъ прекрасный переводъ этой оды, принадлежащей перу Сырокомли (Кондратовича).

²⁾ См. W. P. I. 284.

цати слововъ, съ цезурой послѣ пятаго, а второй и третій изъ семи безъ всякой цезуры.

Тогда же написана ода „Къ коню“¹⁾, въ которой поэтъ повѣствуетъ, какъ благородный конь свалилъ своего господина и чуть-чуть не отправилъ его не берега Стикса, гдѣ онъ могъ бы встрѣтиться съ Ипполитомъ, Фаэтономъ и другими потерпѣвшими отъ лошадей. Надъ этой случайностью поэтъ уже смѣется и угрожаетъ коню отдать его въ упряжку для тяжелыхъ и безславныхъ работъ.

Къ тому же времени нужно отнести стихотвореніе „Къ музѣ“²⁾, въ которомъ поэтъ говоритъ, что пѣснь его звучитъ вмѣстѣ съ стрекотаниемъ полевыхъ кузнечиковъ, другихъ слушателей у него нѣтъ. Вѣроятно, поэту пришлось испытать какую-нибудь непріятность, такъ какъ онъ даетъ музамъ обѣтъ въ вѣрности и выражаетъ надежду, что потомство лучше оцѣнитъ его, чѣмъ современники. Это мѣсто отличается силой, смѣлостью и правдой, безъ всякихъ преувеличеній: естественно было и психологически вѣрно узнатъ себѣ пѣну въ уединеніи.

Сюда же относится 24 пѣснь II книги³⁾. Кохановскій говоритъ въ этомъ стихотвореніи о двойственной природѣ поэта, одна часть которой не подвержена смерти. Обращаясь къ Мынковскому, нашъ поэтъ сулитъ себѣ вѣчную славу; онъ чувствуетъ уже, какъ у него выростаютъ крылья:

Już mi skóra chropawa padnie na goleni,
Już mi w ptaka białego wierzch się głowy mieni;
Po palcach wsz『dy nowe piórka się puszczają,
A z ramion s『żeniste skrzydła wyrastają.

Тогда, подобно Икару, несомый быстрыми крылами, поэтъ навѣстить пустынныя берега Босфора и Киренейскіе холмы, посвященные музамъ и холодныя сѣверныя страны:

O mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatarowie
I różnego mieszkańców świata, Anglikowie,
Mnie Niemiec i waleczny Hiszpan, mnie poznają,
Którzy głęboki strumień Tybrowy piją.

¹⁾ См. W. P. III. 276.

²⁾ См. W. P. II. 28.

³⁾ См. W. P. I. 330.

Въ заключительной строѣ поэтъ проситъ, чтобы при его погребеніи не было напрасныхъ выражений горя и траурныхъ богослуженій:

Niech przy próżnym pogrzebie żadne narzekanie,

Żaden lament ne będzie, ani uskarżanie;

Świec i dzwonów zaniechaj i mar drogo słanych

I głosem żałobliwym zołtarzów śpiewanych.

По мысли эта пѣснь является подражаніемъ извѣстной одѣ Горацийа „Exegi monumentum“. Здѣсь мы встрѣчаемъ интересную особенность, рисующую Кохановскаго, какъ истаго платоника: онъ говоритъ о первыхъ, которая выростаютъ на немъ. Эта мысль цѣлкомъ взята изъ учения великаго греческаго мыслителя о томъ, что душа философа получаетъ опереніе и крылья, чтобы вознести въ заоблачныя сферы, гдѣ царитъ идея вѣчной красоты и блага. Послѣдняя строфа кажется намъ проникнутой протестантскими убѣжденіями, которая, какъ извѣстно, отрицаютъ заупокойное богослуженіе. Изъ всѣхъ этихъ стихотвореній мы видимъ, что въ душѣ Кохановскаго воцарились полное равновѣсіе и проснулись свѣжія творческія силы. Не чувствуя губительнаго дыханія людской зависти и злобы, нашъ поэтъ подъ сѣнью своей развѣистой липы поетъ, какъ вольный соловей, поетъ и самъ любуется своими пѣснями, вѣщими окомъ предвидя ихъ грядущую славу и бессмертіе своего имени въ памяти народа.

II.

Политическія события въ Польшѣ отъ 1569—1574 гг. и отношеніе къ нимъ Кохановскаго. „Proporzec“, „Omen“, „Wrózki“. Начало перевода „Псалтыри“. Смерть Сигизмунда-Августа. Первое безкоролевье. Стихотворенія къ королю Генриху Валуа.

„Marszałek“.

Поселившись въ Чернолѣсѣ, Кохановскій не жилъ тамъ безвыѣздно; онъ не оставался въ сторонѣ отъ выдающихся явлений политической и общественной жизни, которая волновали въ то время всю Польшу.

На сеймѣ 1569 года въ Люблинѣ, гдѣ присутствовалъ и папа поэтъ, состоялась унія Литвы съ Короной и тогда же была дана ленная присяга герцога Пруссаго въ вѣрности польскому королю.

Можно было ожидать, что первое событие произведетъ большее впечатлѣніе на Кохановскаго, благодаря своему важному историческому значенію, между тѣмъ въ его произведеніяхъ отразилось гораздо ярче и сильнѣе послѣднее, которому онъ посвящаетъ стихотвореніе, подъ заглавіемъ „Proporzec“¹⁾.

Вступленіе къ этому произведенію очень удачно и красиво написано; оно отличается торжественнымъ тономъ и вполнѣ передаетъ чувства тогдашняго поляка при видѣ ленной присяги, даваемой чужимъ государемъ его королю. „Proporzec“ служитъ выраженіемъ спокойнаго, счастливаго, гордаго собою польскаго патріотизма. Но изъ возвышенного лирическаго тона, въ которомъ это стихотвореніе должно было бы продолжаться до конца и вслѣдствіе этого имѣть болѣе сжатую форму, поэтъ впадаетъ въ растянутость, давая подробное и сухое описание знамени Пруссакаго герцога. Въ изображеніи Кохановскаго это знамя представляеть чуть ли не цѣлую географическую карту Пруссии и ея исторію въ картинахъ: теченіе Вислы и всѣ важнѣйшія битвы съ крестоносцами. Здѣсь, очевидно, нашъ поэтъ хотѣлъ подражать Гомеру и изобразить знамя по образцу описанія щита Ахиллеса. Въ художественномъ отношеніи эта часть стихотворенія вышла слабой, но съ исторической стороны она представляеть большой интересъ. Въ заключеніи помѣщена политическая мораль, ради которой, можетъ быть, было написано цѣлое стихотвореніе. Кохановскій хочетъ, чтобы унія вошла въ сознаніе народа, а не оставалась только на бумагѣ, потому что это единеніе въ высшей степени необходимо какъ для Польши, такъ и для Литвы:

Bo co waży pargamin i gęste pieczęci,
Przy piśmie zawieszone, jeśli niemasz chęci?
Co tedy prawem inszy, co nas przysięgami
Wiążali, ty nas sercem zepni i myślami.

A niechaj już Uniję w skrzyniach nie chowamy,
Ale ja w pewny zamek do serca podamy,
Gdzie jej ani mól ruszy, ani pleśń dosięże,
Ani wiek wszytkokrotny starością dolęże,
Ale, synom od ojcow przez ręce podana,
Nieogarnione lata przetrwa niestargana.

¹⁾ См. W. P. II. 242.

Ихъ согласие во время Ягеллы положило конецъ могуществу крестоносцевъ. Къ этому же средству нужно прибѣгнуть и теперь, чтобы одолѣть враговъ. Изъ вѣшнихъ непріятелей больше всѣхъ страшить поэта Московское государство, изъ внутреннихъ—разладъ.

Подобные политические взгляды, какъ видно изъ писемъ Мышковскаго, были распространены въ королевской канцелярии при Сигизмундѣ Августѣ. Политическая теорія Кохановскаго заимствована у Цицерона, у котораго онъ беретъ иногда цѣликомъ отдѣльныя мысли, какъ, напримѣръ, слѣдующая (изъ „Somnium Scipionis“):

... porzadne rzeczypospolite

Nad co ku zachowaniu ludzkiej spolecznosci

Nie ma swiat nic lepszego z boskiej opatrznosci.

На практикѣ, примѣнительно къ Польшѣ, Кохановскій проповѣдуетъ для безопасности единство вѣры и короля:

A ludzi jednej wiary i pana jednego

Przywiedz do zwiasku wczla nieroztargnionego.

Tem nieprzyjacielowi serce masz zepsować

A rzeczypospolitej pokój ugruntować.

„Proporzec“ интересенъ, какъ единственное современное непосредственное литературное отраженіе Люблинской унії.

Еще болѣе горячимъ патріотизмомъ проникнуть „Omen“¹⁾ Кохановскаго, написанный, насколько можно судить по увѣренности въ политическомъ могуществѣ Польши, одновременно съ предыдущимъ стихотворенiemъ.

Gdzieś to piękne boginie tak łaskawe były,

Żebych ja ile chęci, tyle miał i siły

Służyć ojczyźnie miłej a jej sprawom sławnym,

Nie dopuszczał zamierzkać w ciemnym wieku dawnym.

Такими словами, полными самой искренней любви къ отечеству, начинаетъ поэтъ свой „Omen“. Всюду, куда онъ не взглянетъ, видны памятники польской силы:

Tu do Czarnego morza jeszcze świeże szlaki,

Tu droga znakomita przez śnieżne Bałchany,

Tu Psie Pola a sam brzeg pruski zwojowany.

²⁾ См. W. P. II. 301.

По поводу этого Кохановский вспоминаетъ о великомъ прошломъ славянского народа, который господствовалъ отъ Сѣвернаго моря до Адріатики. Въ послѣднихъ словахъ устами нашего поэта говоритьъ не одинъ только польскій патріотизмъ: въ нихъ видна горячая вѣра въ могущество всего славянскаго міра. Здѣсь Кохановский выступаетъ въ качествѣ первого польскаго поэта съ національнымъ славянскимъ самосознаніемъ. Заключительныя слова этого стихотворенія должны служить лозунгомъ для истинныхъ поборниковъ всеславянской идеи, которая должна осуществиться, должна привести къ тому, чтобы

... .od zmarzлego morza po brzeg Adryański
Wszystko był opanował cny naród słowiański.

Однако патріотизмъ не ослѣплялъ поэта, который прекрасно видѣлъ всѣ недостатки своей родины и указывалъ на нихъ въ своихъ произведеніяхъ.

Таковы, напримѣръ, его „Wrózki“¹⁾ (Предсказанія), написанныя въ это же время, такъ какъ въ нихъ упоминается Сигизмундъ Августъ и говорится объ уніи, какъ о совершившемся фактѣ.

Это небольшое прозаическое произведеніе написано въ излюбленной тогда діалогической формѣ. Содержаніе его отчасти совпадаетъ съ нѣкоторыми мыслями Ожеховскаго, Моджеевскаго и Рея. Предсказываетъ оно очень грустныя события: упадокъ Польши и гибель ея независимости.

Землевладѣлецъ спрашиваетъ своего приходскаго священника: отчего послѣдній возлагаетъ такъ мало надеждъ на Польское государство? Священникъ отвѣчаетъ, что всѣ государства приходятъ въ упадокъ такъ же, какъ и всѣ вещи, отъ двоякаго рода причинъ: внутреннихъ и внешнихъ. Къ послѣднимъ нужно отнести насилие или вторженіе непріятелей, а первыхъ значительно больше, но всѣ онѣ, какъ ручи къ главной рѣкѣ, приводятъ къ несогласіямъ, благодаря которымъ государства разрушаются. У насъ есть сосѣди, которые подстерегаютъ нашу гибель (здѣсь Кохановский подразумѣваетъ турокъ), а другихъ доброжелательныхъ къ намъ мы не цѣнимъ должнымъ образомъ. (Можетъ быть рѣчь идеть объ Австріи, такъ какъ на выборахъ Генриха нашъ поэтъ былъ на сторонѣ австрійскаго претендента на польскій престолъ). Внутри же, различными вѣрами и

¹⁾ См. W. P. II. 257.

разнообразнымъ толкованіемъ общихъ законовъ, мы пошатнули самое основаніе Рѣчи Посполитой. Нѣть болѣе опасной вещи для государства, какъ религіозная несогласія: они часто приводятъ къ междоусобнымъ войнамъ и поддаются усмиренію съ большимъ трудомъ. Примѣромъ въ данномъ случаѣ можетъ служить Франція. Кто нарушаетъ единство вѣры въ государствѣ, тотъ подкапывается подъ самыя его основы. Не меньшимъ зломъ является порча нравовъ. (*Moribus antiquis stat res Romana virisque*). Наши нравы и люди таковы, что мы только кажущимся образомъ поддерживаемъ Польшу, которая въ дѣйствительности уже погибла, потому что, гдѣ порокъ остается безнаказаннымъ, тамъ несомнѣнно должны господствовать распущенность и произволъ; если лучшая государственная должности достаются за деньги, то нѣтъ ничего удивительного въ распространеніи среди общества жадности и любостяжанія; гдѣ молодежь не получаетъ воспитанія, тамъ, вслѣдствіе праздности, возрастаетъ роскошь и расточительность; гдѣ добродѣтель не получаетъ награды, тамъ гаснетъ любовь къ отечеству. Въ такихъ случаяхъ испорченные и разнужданные нравы приводятъ государство къ гибели. Они влекутъ за собою небрежность къ общественному достоянію; вслѣдствіе этого войско остается безъ вознагражденія, границы лишены обороны, законы не исполняются, король не имѣеть наследника, а мы не хотимъ выработать порядка избранія нового короля, и дѣло кончится тѣмъ, что на выборахъ мы будемъ уже имѣть нѣсколькихъ королей (т. е. Кохановскій хочетъ сказать, что сосѣдня державы, пользуясь смутами во время выборовъ, раздѣлятъ Польшу между собою на части. Правда, опасенія его сначала оказались совершенно напрасными. Однако, за нимъ нужно признать удачное выясненіе опасности при существовавшей въ его время системѣ выборовъ). Хорошо ознакомившись заграницей съ крѣпкимъ монархическимъ строемъ сосѣднихъ государствъ, Кохановскій является противникомъ польскихъ сеймовъ, чemu въ значительной степени способствовали политическая теорія древнихъ мыслителей, большинство которыхъ выступало въ защиту монархического принципа. „Худо, гдѣ многіе принимаютъ участіе въ управлѣніи; пусть будетъ одинъ король“, говорить онъ и прибавляетъ, что о Польшѣ когда-нибудь скажутъ: *multitudo medicorum occidit principem*. Противъ сеймовъ онъ приводить выдержку изъ какой-то римской комедіи:

—Quomodo rempublicam vestram amisistis?

—Proveniebant oratores novi, stulti, adolescentuli.

Здесь Кохановский удачно попалъ въ самое больное мѣсто поляковъ, изъ которыхъ каждый стремился выступить въ качествѣ оратора и разсуждалъ о государственныхъ вопросахъ, не имѣя никакой политической опытности. Эти слова не должны были нравиться его современникамъ, благодаря своей горькой правдѣ. Къ числу опасныхъ для государственной жизни явленій Кохановскому относитъ также пемѣну, происшедшую въ музыкѣ, которая прежде носила серіозный характеръ и была приспособлена въ костелахъ для богослуженія. За послѣднее время она сдѣлалась легче, ушла изъ подъ вліянія костела, стала служить для увеселенія и танцевъ. Музыка является какъ бы руководительницей нашихъ мыслей и если она измѣнится, то это легко можетъ повлечь за собою упадокъ нравственности и законности. Подобное опасеніе Кохановского, конечно, не должно считаться серіознымъ съ нашей точки зрењія, но для гуманиста, какимъ былъ онъ, насквозь проникнутаго идеями Пиѳагора и Платона, ставившихъ музыку краеугольнымъ камнемъ воспитанія, мысль эта имѣла первостепенную важность.

Въ заключеніи своей брошюры самъ авторъ обнаруживаетъ наиболѣе слабое ея мѣсто. Землевладѣлецъ ставитъ священнику въ упрекъ, что онъ умѣетъ только порицать, а положительныхъ мѣръ для исправленія всѣхъ этихъ недостатковъ не указываетъ¹⁾). Священникъ отвѣчаетъ, что это не его ума дѣло, но все таки онъ, какъ сумѣетъ, въ другой разъ поговорить объ этомъ. Неизвѣстно, дѣйствительно ли Кохановскій думалъ продолжить эту брошюру, или такое окончаніе было простымъ литературнымъ пріемомъ, только продолженіе ея никогда на свѣтѣ не являлось. Въ этомъ произведеніи Кохановскій показалъ много политической опытности при глубокомъ знаніи положенія своей родины. Въ немъ видна также дальновидность, которая рѣдко встречается у артистическихъ натуръ.

Въ 1571 году пишетъ нашъ поэтъ письмо къ Станиславу Фогельведеру, въ которомъ, между прочимъ, сообщается, что у него есть уже тридцать переведенныхъ псалмовъ. Въ этомъ же письмѣ Коха-

¹⁾ Этимъ страдаетъ большинство морально-политическихъ сочиненій того времени.

новскій о чёмъ то просить своего пріятеля, но такъ скромно, что нужно предположить въ немъ очень деликатную и самолюбивую натуру. Такимъ же характеромъ, деликатнымъ и скромнымъ, отличается одиннадцатая элегія третьей книги¹⁾, касающаяся того же самаго дѣла и, следовательно, написанная въ то же время, какъ и письмо. Поэтъ ожидаетъ чего-то отъ короля. Станиславъ (Фогельведеръ) долженъ просить Сигизмунда Августа о чёмъ-то, или, по крайней мѣрѣ, узнать, стоитъ ли просить. Желанія поэта въ высшей степени умѣренны и скромны:

Tu mentem indaga regis, sensusque latentes,
Non mihi nil dederit, si citus abnuerit,

Вѣроятно, дѣло это имѣеть для поэта громадное значеніе, потому что онъ ждетъ отвѣта съ нетерпѣніемъ влюбленнаго, подруга котораго долго не приходитъ на условленное свиданіе. Это удачное сравненіе сдѣлано имъ въ шутливомъ и нѣсколько патетическомъ тонѣ, въ которомъ написано и все стихотвореніе. Здѣсь поэтъ вспоминаетъ придворную жизнь, съ ея непріятными случайностями и спасительными средствами, въ родѣ займа у еврея, къ которому нерѣдко прибегаетъ Фогельведеръ:

Intempestive forsan jocor, et tibi Moses
Quispiam ad occlusas excubat usque fores,
Nescio quid secretam instillaturus in aurem,
Quin tu te auritas dicis habere manus?

Шутливый тонъ, когда дѣло идеть о какой то нуждѣ поэта, доказываетъ, что онъ и при просьбѣ не потерялъ ни юмора, ни чувства собственного достоинства, ни расположенія къ другимъ. Неизвѣстно, была ли исполнена просьба поэта, или нѣтъ.

Въ 1573 году умеръ Сигизмундъ Августъ. Удивительно, что объ его смерти Кохановскій упорно молчитъ въ своихъ произведеніяхъ. Этотъ фактъ рѣшительно не поддается никакому объясненію. Опасенія поэта относительно смуты при безкоролевїи оказались пока напрасными. Все осталось въ прежнемъ положеніи съ самыми незначительными измѣненіями. Избраніе королемъ Генриха Валуа должно было обрадовать спокойную натуру поэта, во первыхъ, потому что все такимъ обра-

¹⁾ См. W. R. III. 124.

зомъ благополучно закончилось и нашелся хороший исходъ для труднаго положенія государства, во вторыхъ, личность молодого короля, какъ представителя европейской образованности, горячимъ сторонникомъ которой былъ напѣ поэтъ, должна была быть ему симпатичной. За королемъ выѣхало блестящее посольство, которое долго не возвращалось. Въ ожиданіи изъ далекихъ краевъ короля, таѣ много обѣщающаго для Польши, Кохановскій пишетъ прекрасную первую оду „Ad Henricum Valesium morantem“¹⁾. „Pelle procul moram“, говоритъ ему поэтъ:

Et te parentis sollicitae pio
Evolve complexu anxiarum et
Falle fuga lacrimas sororum.

и спѣши за двойной короной. Полякъ и литвинъ тоскуютъ по тебѣ. Молва о твоемъ прїѣздѣ смирила Москву и татаръ; садись на коня и веди свое войско. Когда я увижу тебя, съ тріумфомъ вѣзжающаго въ Польшу, меня не превзойдутъ тогда своимъ пѣнiemъ ни Линъ, ни Орфей.

Tum me nec Orpheus, nec fidicen Linus
Vincat canendo, saxa licet lyra
Uterque dicatur canora
Et rigidas agitasse quercus.“

Тѣмъ же чувствомъ довольства избраннымъ королемъ проникнута 69 фрашка III кн.²⁾ къ Конарскому, епископу познанскому, которыйѣзилъ въ Парижъ съ посольствомъ за королемъ. Въ этомъ стихотвореніи поэтъ перечисляетъ всѣ заслуги епископа и его предковъ, хвалитъ безкорыстную любовь Конарского къ отечеству. О посольствѣ его во Францію Кохановскій такъ говоритъ:

Świeżo (ciebię słuchał) i król Francuski sławny, z której
strony
Przywiódłeś nam Monarchę pod zimne Triony.

Когда Генрихъ прибылъ въ Польшу, Кохановскій написалъ два стихотворенія: „Ad regem Cracoviam venientem“³⁾ и „In Aquilam“⁴⁾.

¹⁾ См. W. P. III. 257.

²⁾ См. W. P. II. 429.

³⁾ См. W. P. III. 241.

⁴⁾ Ibidem.

Въ первомъ изъ нихъ поэтъ, обращаясь къ королю, говоритъ:
„цѣлый городъ вышелъ тебѣ навстрѣчу, народъ и сенатъ привѣт-
ствуютъ тебя радостными кликами“.

Spectaclo delectatus per inane volantes
Igneus auricomos Sol inhibebat equos;
Nox non passa moram puro se effudit Olympo,
Ut te mille oculis ipsa quoque aspiceret.

Во второмъ „На орла“, который, вѣроятно, украшалъ тріумфальныя
ворота при вѣзѣ Генриха, поэтъ въ ліліяхъ герба дома Валуа ви-
дитъ предзнаменованіе расцвѣта Польши.

Неизвѣстно, былъ ли Кохановскій лично знакомъ съ королемъ
Генрихомъ, или нѣтъ. Если ему и приходилось являться ко двору,
то, во всякомъ случаѣ, онъ не оставался тамъ долго, какъ видно изъ
стихотворенія „Marszałek“¹⁾:

Odpuść prze Bóg, marszałku, a swego urzędu
Nie rozciągaj nademną dla mojego błędu.
Nie śmiechem ci to czynię, że się nie ukażę
Tak dugo . . .

Можетъ быть, его вызывали туда, или онъ по собственному побуж-
денію оправдываетъ свое отсутствіе, въ точности неизвѣстно. Одно
только ясно: должностъ или обычай обязываютъ его быть при дворѣ,
а онъ сидить себѣ дома. Въ заключеніе онъ еще разъ проситъ мар-
шалка оправдать какъ-нибудь его отсутствіе. (Надворнымъ маршал-
комъ былъ тогда Андрей Зборовскій). Стихотвореніе это, кажется, го-
ворить о принесеніи королю „бенефицій“, которое происходило именно
тогда въ 1574 году. Поэтъ объясняетъ свое отсутствіе различными
занятіями:

Ale mniemasz podobno, żeby tylko rymu
Poetowie tworzyli: nie wierz temu. I my
Króla musim obierać i my rozkazować,
I my na okazyą musim się gotować.

Придворныя обязанности кажутся ему тягостью, за исполненіе кото-
рыхъ онъ берется весьма неохотно:

1) См. W. P. II. 215.

. . . to człowiek przyrodzeniu swemu
Nie czyni k'woli, ale powodzią porwany
Płynie tam gdzie go niosą pieniste bałwany.

По словамъ поэта, каждому опредѣлено свое призваніе. О себѣ онъ говоритъ:

Ani ja dbam o pompę, ani o infuły:
Uczciwe wychowanie to moje tytuły.

Въ деревнѣ поэта удерживаетъ хозяйство: человѣкъ не живетъ же лудзями и, какъ бы ни были скромны его потребности, онъ долженъ, какъ Тибулль, ходить за плугомъ. Кромѣ этихъ у Кохановскаго есть и болѣе серіозныя основанія:

. . . a bych ci miał wyliczać i głębsze przyczyny,
Pierwiej by w morzu zagasł krąg lotnego słońca,
Niżbych ja w swej powieści przebił się do końca.

Послѣднее стихотвореніе показываетъ, какъ неохотно выѣзжалъ Кохановскій изъ своего Чернолѣса, гдѣ удерживали его не однѣ только хозяйственныя заботы, но и гораздо болѣе важные и дорогіе для него предметы. Тамъ, какъ мы уже видѣли, онъ на свободѣ всецѣло отдавался своей поэтической дѣятельности и писалъ о томъ, что волновало его чуткое сердце.

III.

Мысли Кохановскаго о бракѣ. „Dziewośląb“. Дорота Подлѣдовская. Стихотворенія къ ней. Вторая пѣснь второй книги. Шестая пѣснь фрагментовъ. Первая элегія третьей книги. „Pieśń świętojańska o Sobótce“.

Еще въ „Сатирѣ“ Кохановскій выразился: „*snotę miłość i godność, bo tym państwa stoją*“. Та добродѣтель, которая необходима для поддержки государственного порядка, играетъ также не послѣднюю роль и въ семейной жизни. Безъ нея семья не можетъ правильно исполнять своихъ обязанностей по отношенію къ обществу, что, несомнѣнно, должно самимъ губительнымъ образомъ отразиться и на государствѣ. Слѣдовательно, нашъ поэтъ, ставя своей задачей проповѣдь нравственной чистоты и совершенства, не могъ обойти недостатковъ семейной жизни своихъ современниковъ. Онъ видѣлъ, какъ

мало заботятся они о духовныхъ качествахъ своихъ женъ, какъ материальные интересы заглушаютъ передъ ними внутрення достоинства женщинъ. Достаточно вспомнить распространенная тогда поговорки: „posagu teraz pytają, a o cnotę mało dbają“ или: „żony co teraz szukają: „co z nią dadzą?“ wprzód pytają“, чтобы убедиться, какъ глубоко былъ правъ Кохановскій, вооружившись противъ существующихъ на этотъ счетъ порядковъ своимъ сатирическимъ стихотворенiemъ „Dziewosław“¹⁾.

Начинается оно какъ бы продолжениемъ прерванного разговора:

A ja zaś tak rozumiem, że do ożenienia
Ni stanu wysokiego, nie dobrego mienia,
Nawet ani gładkości tak wam szukać trzeba,
Jako wstydu a cnoty, darów przednich z nieba.

Ни одно изъ виѣшнихъ достоинствъ не можетъ сравняться съ добродѣтелью:

... . . . cnoty nieszczęście żadne nie zhołduje,
Ani wiek zazdrościwy jej krasy ujmuję.
Kto tę ma, tego dobrym człowiekiem mianują,
W tym jednym źli z dobremi spółku nie najdują.

Въ доказательство того, что красота и знатное происхожденіе недостаточны для семейнаго счастья, поэтъ приводить въ примѣръ измѣну Елены Менелаю. Выставляя добродѣтель въ противувѣсь такому губительному примѣру, поэтъ снова перечисляетъ всѣ ея преимущества надъ виѣшними благами, приобрѣтеніе которыхъ зависитъ отъ случая, тогда какъ добродѣтель нужно считать врожденнымъ качествомъ и ставить даже выше добраго имени, такъ цѣнимago, обыкновенно, всѣми.

Въ подтверждение сутиности богатства сравнительно съ нею поэтъ приводить общеизвѣстный миѳъ и Мидасъ. По поводу приданаго Кохановскій указываетъ на законъ Ликурга, заставлявшій отцу невѣсты платить за нее, а не наоборотъ. Признавая могущество любви, поэтъ обращается къ ней съ мольбою избавить его отъ неудачнаго выбора:

¹⁾ См. W. P. II. 153.

do ciebie, miłości,
Przystępuję, która masz siła ztąd zazdrości,
Że ludziom snać źle radzisz. Ale iż i w niebie
I na ziemi nikt nie jest bespieczen od ciebie,
A twym strzałom trudno się pawczą zasłonić,
Ani uciekać, aby rozumem się bronić.
Proszę cię, miało li by kiedy przysiąć do tego,
Niechaj nic nie miuję, co jest szkaradnego.
Ostatek na twoją łaskę puszczaam. . . .

Нѣтъ ничего хуже, какъ измѣна со стороны жены. Въ образецъ супружеской вѣрности Кохановскій ставить Диону, не пожелавшую принадлежать Іарбу послѣ смерти своего мужа. Для взаимнаго равенства поэтъ, вмѣстѣ съ Марціаломъ, рекомендуетъ братъ себѣ въ жены дѣвушку болѣе низкаго происхожденія, чѣмъ самъ женихъ:

Podlejszą żonę pojmi, tak ja radzę tobie,
Bowiem inaczej równi niebędziecie sobie.

Въ такомъ случаѣ у жены устраниется возможность противорѣчить своему мужу. По этому поводу Кохановскій намекаетъ на распространеннуюпольскую побасенку о сварливой женѣ. Въ оставшемся онъ совѣтуетъ положиться на Бога и заканчиваетъ свое стихотвореніе слѣдующими словами:

Tom ja pisał na siostry swej miłej żądanie,
Które u mnie tak ważne, jako roszkazanie
I sama sie do tego dobrze przyłożyła,
Naleść rym, to nawietza moja praca była.

Это живое и мѣстами весьма остроумное стихотвореніе показываетъ, что поэтъ и самъ не прочь былъ, несмотря на свои 44 года, найти себѣ достойную подругу жизни и оживить семейнымъ счастьемъ одиночество своего Чернолѣса. Вѣроятно, въ данномъ случаѣ дѣло не обошлось безъ различныхъсовѣтовъ, предложеній и разговоровъ на тему о бракѣ между Кохановскимъ и его сестрами. Должно быть, одна изъ нихъ особенно настаивала на женитьбѣ поэта, и онъ облечъ всѣ эти бесѣды въ стихотворную форму, результатомъ чего явился „Dziewosław“. Какъ бы то ни было, въ этомъ произведеніи мы видимъ собственные взгляды Кохановскаго на бракъ и въ данномъ случаѣ оно представляетъ для насъ значительный интересъ не только съ

литературной точки зренія, но и какъ материалъ для біографіи поэта.

Здѣсь Кохановскій высказываетъ трезвыя, практическія мысли, полныя житейской мудрости. Ему не нужно страстной романической любви, которую онъ уже пережилъ; онъ довольствуется крѣпкой привязанностью, хорошей хозяйствкой и дѣтьми для полноты семейнаго счастья. Мысли нашего поэта о бракѣ основаны на его философскихъ взглядахъ, главной особенностью которыхъ была умѣренность и скромность желаній; онъ близко подходитъ къ подобнымъ же возврѣніямъ Рея.

По мнѣнию Кохановскаго, самымъ важнымъ качествомъ жены должна быть добродѣтель. При этомъ женѣ слѣдуетъ быть здоровой и миловидной; хорошо, если у нея есть какое-нибудь приданое; но большого не нужно. Гораздо лучше братъ жену бѣднѣе себя, въ противномъ случаѣ не будетъ равенства между супругами. (Можетъ быть, Кохановскаго заставляетъ разсуждать такимъ образомъ собственный горькій опытъ). По происхожденію она должна быть не изъ знатнаго дома, а изъ средней шляхты, чтобы бракъ съ Кохановскимъ казался ей достойной партіей. Кромѣ того, ей слѣдуетъ быть красивой и хоть сколько-нибудь любимой своимъ будущимъ мужемъ.

Неизвѣстно, остановился ли на комъ-нибудь выборъ нашего поэта, когда онъ писалъ это стихотвореніе. Ясно только, что намѣреніе жениться уже созрѣло въ Кохановскомъ.

Дорота Подлѣдовская, которую впослѣдствіи онъ избралъ себѣ въ подруги жизни, была по происхожденію ровня ему. Сосѣдскія и, можетъ быть, дружескія отношенія связывали семью Кохановскаго съ ея родителями. Приданое за ней давалось небольшое, вполнѣ однако достаточное для поэта-философа. О томъ, что она была красива и что Кохановскій любилъ ее и даже пользовался взаимностью, свидѣтельствуетъ вторая пѣснь второй книги¹⁾. Не нужно удивляться, что молодая дѣвушка увлеклась поэтомъ, которому уже исполнилось 44 года. Помимо того, что онъ, какъ образованный человѣкъ своего времени, обладалъ искусствомъ нравиться женщинамъ, въ пользу его говорилъ также поэтическій ореолъ, окружавшій его имя, извѣстность, которой онъ пользовался въ то время. Самый возрастъ его не счи-

¹⁾ См. W. P. I. 305.

тался тогда позднимъ для брака. Въ упомянутой нами второй пѣсни поэтъ уже увѣренъ въ любви къ себѣ избранницы своего сердца, онъ веселъ, гордится одержанной побѣдой: онъ превзошелъ Орфея и Амфиона, покоривши сердце Дороты своими пѣснями. За нею онъ признаетъ новое привлекательное качество—умъ:

Ja chcę się podobać w mowie
Nauczonej białej głowie.

Въ стихотвореніи этомъ еще отзывается воспоминаніе о прежней симпатіи поэта, которая

. . . . na plac jedzie
Z herby domów starożytnych.

Но это все уже миновало, и онъ съ радостью ожидаетъ пріѣзда Дороты:

Teraz najweselsze czasy:
Zielenią się pięknie lasy,
Zająca już nie znać w życie.

Къ ней же написана шестая пѣснь фрагментовъ¹⁾. Обращаясь къ своей Ганнѣ, поэтъ говоритъ, что она, благодаря своей молодости, и не заботится о томъ, долго ли при ней останется ея красота, которая, какъ и все на свѣтѣ, также подвержена губительному вліянію времени. „Widzialem, продолжаетъ онъ:

ja po ranu piękny kwiat przyjemny,
A widziałem zaś wieczór zwiędły i nikczemny;
I drzewa, które teraz odziały się w liście,
Złupi z tego ubioru mróznej, zimy przyście.
W temże prawie i człowiek, a w gorszem; bo kwiaty
I drzewa w rok wetują zawѣdy swej utraty,
Odmładzając się znowu, ale człowiekowi
Kiedy się raz na twarzy zima postanowi,
A włos śniegiem przypadnie, gęsta wiosna minie,
Niżli z głowy przeziębłej ten zimny rok zginie.

Животныя въ этомъ отношеніи одарены большими преимуществами, нежели человѣкъ: олень мнѣяетъ свои рога, ужъ линяетъ каждую

¹⁾ См. W. P. II. 467.

весну. Желаніе обновить свое старое тѣло погубило нѣкогда Фессалійскаго царя.

Przeto póki panuje wiosna w twarzy twojej,
Daj się, Hanno, napatrzyć wdzięcznej krasy swojej,
Która nie da nic naprzód ani Fosforowi,
Kiedy napiękniej z morza wynika ku dniowi.

Не будучи въ состояніи изобразить прелестей своей Ганны ни кистью, ни рѣзцомъ, поэтъ проситъ объ этомъ знаменитѣйшихъ художниковъ древняго міра, Зевксиса и Фидія.

Ale wierszem ozdobnym i rymy gładkimi,
Mam nadzieję, że z mistrzmi porównam dobremi.
Temi ja przeciw długim latom się zastawię,
A za chęcią cnych bogiń imię twe wybawię
Z niepamięci nieszczęsnej, że o twej urodzie
Będzie wiek późny wiedział i po naszym schodzie.

Нашъ поэтъ не боится потерять, подобно Гомеру зреїнія при описаніи красотъ своей возлюбленной, которая онъ считаетъ Божьими дарами.

Przeto tusz dobrze, Hanno urodziwa, sobie:
Z twoich darów znać, że Bóg jest łaskawym tobie,
Króry, jako ozdoba i piękność szacuje,
Ten czyn niezmierzonego świata okazuje.

Доказательствомъ того, что источникомъ красоты является Самъ Богъ, поэтъ указываетъ на всю природу:

 kto sklepowi temu
Nadobnemi gwiazdami slicznie sadzonemu
Nadziwować się może? kto nocoswietnego
Miesiąca abo słońca niespracowanego
 Napatrzył się dowolej, lubo rano wstaje,
Lubo ku wieczorowi predki bieg podaje;
Taki więc z swej łóżnice nowy oblubieniec
Wychodzi, na nim złoty płaszcz i złoty wieniec
 Perłami przeplatany, gore znakomity
Jego ze wszech namilszej dar niepospolity.
Ale i ziemia nie jest bez swojej ozdoby,
Bo i tę Bóg oszlachcił dziwnemi sposoby:

To górami, to lasy, to kryształowemi
Rzekami, to łąkami pięknie kwitnącemi,
A w poły ją przepasał morzem urownanem
Prosto, jakoby pasem srebrem okowanym.

Таковъ видимый міръ, какимъ же долженъ быть тотъ, который недоступенъ нашимъ очамъ,

 gdzie myśl, która niebem toczy,
Gdzie sama piękność świeci i kształty wszech rzeczy?

Слѣдовательно, красоту нужно считать за одинъ изъ лучшихъ Божьихъ даровъ, которого не можетъ получить человѣкъ путемъ личныхъ усилий и стараний.

Въ этомъ стихотвореніи есть много поистинѣ художественныхъ строкъ. Описаніе красоты природы напоминаетъ подобныя мѣста изъ псалмовъ, откуда поэтъ почерпаетъ иногда цѣлые образы. Страна о заоблачномъ невидимомъ мірѣ взята изъ идеологии Платона и показываетъ основательное знакомство нашего поэта съ произведеніями великаго греческаго мыслителя.

Въ латинскихъ элегіяхъ онъ, обыкновенно, называетъ свою невѣсту „Pasiphile“—всѣмъ милая. Первая элегія третьей книги¹⁾ относится къ ней. Нѣкоторые комментаторы думаютъ, что это стихотвореніе написано около 1567 или 1568 года, такъ какъ въ ней упоминается война съ Москвою. Противъ такого предположенія говоритъ имя Пасифилы и обращеніе поэта къ ней, какъ къ невѣстѣ, чего не могло быть раньше 1570 года, когда также въ Польшѣ шла рѣчь о войнѣ съ Москвою изъ за Инфлянтовъ.

Элегія начинается прекраснымъ обращеніемъ къ Венерѣ, въ которомъ поэтъ проситъ богиню избавить его отъ сумасбродныхъ выходокъ молодости. Ему не пристало теперь всю ночь проводить у запертыхъ дверей и прибѣгать къ лести, или къ угрозамъ:

Haec fieri potuere olim, maturior

His alias mores postulat et studia.

Поэтъ не собирается участвовать въ войнѣ, которую замышляетъ король противъ Москвы:

At mihi nil opus est externum quaerere bellum,

Intus adest hostis, qui mea corda ferit.

¹⁾ См. W. P. III 87.

Hic malo defendit clipeus, male tela, male enses,
Nec prosunt vires, nec ratio ulla fugae est.

Его сердце занято Пасифилой, къ которой онъ обращается со слѣ-
дующими проникнутыми искреннимъ чувствомъ словами:

Tu mihi, si tantum non dedignaris amari,
Usque ad supremos cura futura rogos.
Tu domui praeſis, tibi res mea serviat uni,
Quantulacunque quidem est, serviat illa tibi.

Пока поэтъ будетъ пользоваться ея взаимностью, ему не нужно даже
блестящихъ королевскихъ скипетровъ. Съ полными страсти словами
обращается онъ къ ней:

Tecum nec duro glebas invertere aratro,
Nec grave pascentes sit comitare greges.
Quid me perpetuis juvat empta pecunia curis?
Aut quid Erythraeo concha reperta salo?
Solliticis animis auri vis nulla medetur,
Omniaque incerto fors levis orbe rotat.
Tecum, Pasiphile, liceat mihi vivere, et olim
In gremio vitam deposuisse tuo.

Мотивъ о вѣрности до гроба мы встрѣчали уже въ элегіяхъ падуан-
ского периода и въ польскихъ эротическихъ стихотвореніяхъ. Новымъ
здесь является только желаніе поэта подѣлиться съ Пасифилой своимъ
скромнымъ достаткомъ и насыщливое отношение къ грѣхамъ своей
молодости.

Къ циклу стихотвореній въ честь Дороты должна быть отне-
сена также „Sobótka“. Время ея возникновенія можетъ быть опре-
дѣлено по слѣдующимъ признакамъ: Дорота присутствуетъ на этомъ
празднествѣ въ качествѣ гостьи, прославленію ея красоты посвящена
восторженная пѣснь, самъ поэтъ въ одномъ мѣстѣ, очевидно, намекая
на себя, говоритъ, что иной старикъ поспоритъ съ женихами. Всѣ
эти указанія даютъ основаніе предположить, что „Sobótka“¹⁾ была
написана еще въ то время, когда Дорота Подлѣдовская была невѣ-
стой Кохановскаго.

¹⁾ Слово „Sobótka“ проф. Рымаркевичъ сближаетъ со словомъ суббота, „ше-
бет“—Саваоѣ и доказывается, что оно восходить къ глубокой древности и обо-
значаетъ праздникъ солнца.

„Pieśń świętojańska o Sobótce“²⁾ основана на народномъ обрядѣ зажиганія огней подъ Ивана Купала. Она состоитъ изъ вступленія, въ которомъ поэтъ описываетъ, какъ происходило это народное празднество въ его Чернолѣсѣ, какъ изъ толпы зрителей выступили впередъ 12 дѣвушекъ, одинаково одѣтыхъ и опоясанныхъ стеблями чернобыльника, необходимой принадлежности всякаго стариннаго языческаго обряда, и изъ двѣнадцати пѣсень, каждая изъ которыхъ поется поочередно вышеупомянутыми дѣвушками.

Первая поетъ о необходимости свято соблюдать старинные обычай и праздники, такъ какъ, благодаря этому, прежніе люди пользовались большимъ счастьемъ. Въ заключеніе она приглашаетъ подругъ почтить эту Ивановскую ночь кострами, пѣснями и танцами.

Ея мысль подхватываетъ вторая дѣвушка, главнымъ недостаткомъ которой, по ея собственнымъ словамъ, является любовь къ плясѣ. Съ этой цѣлью она приглашаетъ музыканта, бьющаго въ бубень, показать все свое искусство, хоть бы ради своей зазнобы, которая, несомнѣнно, здѣсь присутствуетъ и сумѣеть отблагодарить его. Съ неудержимымъ весельемъ подзадориваетъ она своихъ подругъ

Za mną, za mną piękne koło,
Opiewając mi wesoło!
A ty się czuj, czyja kolej,
Nie maszli mię wydać wolej.

Ея припѣвъ подхватываетъ слѣдующая дѣвушка, которая не уступаетъ своей подругѣ въ весельѣ. По ея словамъ,

Sam ze wszystkiego stworzenia
Człowiek ma śmiech z przyrodnienia.
Insy wszelaki zwierz niemy
Nie śmieje się, jako chcemy.
Nie ma w swem szaleństwie miary,
Kto gardzi pańskiemi dary;
A bodaj miał płakać siła,
Komu dobra myśl niemiła!

²⁾ См. W. P. I. 335.

Она не гонится за особенно глубокимъ остроуміемъ. Описаніе забавы „тянуть кота“¹⁾ вполнѣ удовлетворяетъ ее.

Четвертая дѣвушка поетъ о любви къ своему милому, для котораго она свила вѣночекъ.

Wlóz na piękna głowę twoję

Tę rozkwitłą pracę moją,

A mnie samę na sercu miej,

Toż i o mnie sam rozumiej.

Всѣ ея помыслы заняты имъ однѣмъ. Она надѣется на его взаимность, но ее смущаютъ подруги, она боится, какъ бы какая-нибудь изъ нихъ не отняла у нея ея единственного счастья:

O wszelaką inszą szkodę

Łacno przyzwolę na zgodę,

Ale kto mię w miłość ruszy,

Wiecznie będzie krzyw mej duszy.

Предметомъ пѣсни пятой дѣвушки служитъ также любовь, но только съ менѣе серіознымъ оттенкомъ. Она хорошо знаетъ измѣнчивость своего Шимка, шутливо ревнуетъ его за это, но стоитъ только Шимку вернуться къ ней, она забудетъ все.

Шестая дѣвушка поетъ о жатвѣ подъ лучами лѣтняго солнца, о поднесеніи хозяину вѣнка изъ колосьевъ и сладкому отдыху послѣ полевыхъ трудовъ.

Слѣдующая дѣвушка тоскуетъ по своемъ возлюбленномъ—охотникѣ. Не желая разставаться съ нимъ, она готова служить ему собакой, отыскивать для него звѣря и всюду слѣдовать за своимъ милымъ.

Восьмая дѣвушка прощается съ волами, которыхъ она пасетъ въ послѣдній разъ, такъ какъ она уже обручилась съ парнемъ. Заключительная строфа ея пѣсни, представляющая перефразировку первой строфы, показываетъ, что ей жаль разстаться для неизвѣстнаго будущаго съ дѣвичьей свободой и привольемъ луговъ.

¹⁾ Въ чёмъ состояла эта забава, въ настоящее время трудно определить. Проф. Брикнеръ полагаетъ, что она происходила слѣдующимъ образомъ: кого-нибудь заставляли нести на рукахъ черезъ воду человека, къ которому былъ привязанъ котъ, издававший при этомъ оглушительный крикъ. (Archiv für slavische Philologie VIII. B. 480 S.).

Слѣдующая девятая пѣснь посвящена горю обманутой невинной дѣвушки, судьба которой сопоставлена съ извѣстной легендой о Филомелѣ.

Десятая дѣвушка поетъ о любви къ воину, который долженъ покинуть свою милую. По этому поводу она желаетъ всякаго зла тому, кто первый выдумалъ войну:

Jakie ludzkie głupie sprawy,
Szukać śmierci przez bój krvawy!
A ona i tak czowieczy
Upad ma na dobrej pieczy.

Она готова раздѣлить военные труды своего возлюбленнаго. Ей хочется только одного, чтобы онъ вернулся и сохранилъ ей свою вѣрность.

Одиннадцатая дѣвушка обращается къ музыканту съ просьбой воспѣть на гусляхъ прелести Дороты, которая сравнивается далѣе съ мѣсяцемъ между звѣздами. Ея лицо подобно цвѣтамъ розъ и лилій, чело какъ мраморъ, очи черныя, какъ уголь, уста, какъ кораллы. Главнымъ ея достоинствомъ является отсутствие гордости, очень рѣдкое при такой красотѣ. О Доротѣ говорить поэтъ:

Tymeś ludziom wszytkim miła
I mnieś wiecznie zniewoliła,
Przeto cię me głośne strony
Będą sławić na wsze strony.

Двѣнадцатая заключительная пѣсня посвящена описанію радостей сельской жизни:

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdola,
Kto twe wczasy, kto pozytki
Może wspomnieć zaraz wszytki?
Cz³owiek w twej pieczy uczciwie,
Bez wszelakiej lichwy żywie,
Pobożne jego staranie
I biezpieczne nabycianie.

Въ слѣдующихъ прекрасныхъ строкахъ говорить поэтъ о деревенскихъ занятіяхъ:

Oracz p³ugiem zarznie w ziemię,
Ztąd i siebie i swe plemię,

Ztąd roczna czeladź i wszytek
Opatruje swój dobytek.

Jemu sady obradzają,

Jemu pszczoły miód dawają,

Nań przychodzi z owiec wełna

I zagroda jagniąt pełna.

По окончаніі трудовъ начибаются веселыя пѣсни и танцы. На до-
сугѣ хозяинъ можетъ развлечься охотой или рыбной ловлей. Его
подруга тѣмъ временемъ также несетъ свои обязанности:

Za tym sprzedna gospodynî

O wieczerzy pilnośc czyni,

Majac doma ten dostatek,

Že się obejdzie bez jatek.

Ona sama bydło liczy,

Kiedy z pola idac ryczy,

Ona i spuszczac pomoże;

Męza wzmagac jako może.

Ея примѣръ пріучаетъ дѣтей къ такому же трудолюбію.

Въ подобныхъ пѣсняхъ прошла цѣлая ночь:

Dzień tu; ale jasne zorze

Zapadłyby znowu w morze,

Niżby mój głos wyrzekł wszytki

Wieśne wczasy i pozytki.

Такими словами заканчиваетъ поэтъ свое произведение.

Какъ цѣлое, „Sobótka“ очень красива. Въ рядѣ веселыхъ, груст-
ныхъ, любовныхъ, шутливыхъ и даже дидактическихъ пѣсенъ пре-
красно отразились различныя настроения и чувства.

Одна изъ дѣвушекъ пуста и шаловлива:

To moja najwiêksza wada,

Že tańcuję bardzo rada.

Работа при лѣтнемъ зноѣ не омрачаетъ ея веселости. Никакая лю-
бовная забота не отравляетъ ея хорошаго настроения духа. За-
ней слѣдуютъ двѣ влюбленныя, при чёмъ каждая имѣть свою осо-
бенность. Одна (четвертая), нѣжная и серіозная, рветъ цвѣты для
своего пастуха, думаетъ о немъ во снѣ и на яву; хотя она и увѣ-
ренна въ его взаимности, но, все таки, чего-то боится, она просить
подругъ не разрушать ея счастья, она—ревнива. Другая съ весе-

льмъ легкомысліемъ жалуется на своего вѣтреннаго поклонника, зарекается вѣрить ему и говорить, что глупа была, когда его слушала, но стоитъ только Шимку вернуться къ ней,—она, правда, не станетъ вѣрить ему, но, всетаки, будетъ охотно слушать его сладкія рѣчи. Третья влюблена въ охотника, которому готова служить даже собакой, лишь бы онъ бралъ ее съ собою на охоту:

Żadna gęstwa, żadne głogi
Nie przekażą mojej drogi,
Tak lato, jako śrzeżogę
Przy tobie ja wytrwać mogę.

Здѣсь подчиненіе и любовь доходятъ до полнаго самоотверженія. Десятая дѣвушка съ грустью жалуется, что ея возлюбленный ушелъ на войну. Она проявляетъ не менѣе сильное самоотверженіе, чѣмъ та, которая готова всюду слѣдовать за охотникомъ. Ея любовь также не знаетъ границъ. Гораздо красивѣе слова тѣхъ дѣвушекъ, которыя не думаютъ о Шимкахъ, охотникахъ и солдатахъ, а поютъ простыя пѣсни въ честь теплого лѣта, зеленыхъ лѣсовъ и зреющаго хлѣба. Въ этихъ пѣсенкахъ слышится живая и горячая любовь къ природѣ и, можетъ быть, невольное для самого автора изображеніе чисто польского народнаго быта. „Wieś spokojna, wieś wesoła“ это уже не Лациумъ, не Аркадія, а простая польская деревня. Таковы, напримѣръ, шестая пѣсня, восьмая и, въ особенности, послѣдняя. Между ними есть одна, которую поютъ, очевидно, не дѣвушки, а самъ поэтъ. Это именно пѣсня о Доротѣ. Одннадцатая пѣсня возникла подъ сильнымъ вліяніемъ Ариоста, который въ VII пѣсни Орlanda слѣдующими словами описываетъ прелести чаредѣйки Альчины:

Sola di tutti Alcina era piu bella
Si come è bello il sol piu d'agni stella.

Кохановскій говоритъ о Доротѣ:

Co miesiąc między gwiazdami
Toś ty jest między dziewczami.

Даже такой чисто народный образъ, какъ:

Twoja kosa roczosana,
Jako brzoza przyodziana.

въ первой своей части заимствованъ у Ариоста:

Con bionda chioma lunga et annodata.

Вторая половина этой строфы нашего поэта также имѣеть себѣ аналогію въ итальянскомъ текстѣ:

Spargeasi per la guancia delicata
Misto color di rose e di ligustri

Слѣдующій образъ:

Bwi wyniosle i czarniawe
A oczy dwa węgla prawe.

также взяты у Ариоста:

Sotto due negri e sotillissimi archi
Son due negri ochi.

Если прослѣдить далѣе за отдѣльными образами Кохановскаго, то почти всѣмъ имѣ можно найти соотвѣтствіе у Ариоста, напримѣръ: зубы Дороты „szczere perłowe“, у Алльчины также:

Quivi due filze son di perle elette.

szyja pełna okazała=il collo e tondo; piersi jawne=il petto colmo e largo; ręka biała=e la candida man spesso si vede.

Въ этой пѣснѣ одно только выраженіе:

A kiedy cię poałauję.

Trzy dni w gębie cukier czuże.

не можетъ считаться вполнѣ удачнымъ. Образы, которыми Кохановскій описываетъ Дороту, намъ уже неоднократно встрѣчались въ его эротической лирикѣ.

Главную заслугу [этого произведенія составляетъ его чисто национальный характеръ. Ничего здѣсь нѣтъ аркадскаго и буколическаго. Кругозоръ этихъ дѣвшушекъ, ихъ представлѣнія и чувства, ихъ горе и радости, взяты цѣликомъ изъ сельской народной жизни. Парень, ушедшій на войну, охотникъ, цѣлые дни проводящій въ лѣсу—все это живые люди, далекіе отъ условности аркадскихъ пастушковъ. Встрѣчающіеся во всѣхъ двѣнадцати пѣсняхъ только два античныхъ образа, Филомелы и лѣсныхъ фавновъ, ничуть не вредятъ оригинальности этого произведенія. Ему присущи национальные черты, благодаря тому, что поэтъ живя въ Чернолѣсѣ, близко присмотрѣлся къ народной жизни, изучилъ ея обычай, пѣсни и нравы. Не мало также выигрываетъ „Sobótka“, благодаря звучному и легкому восьмисложному размѣру, переходящему мѣстами въ настоящій хорей.

Нѣкоторые критики придаютъ только что разобранному нами произведенію аллегорическій характеръ, въ духѣ славянской миѳологии¹⁾. Двѣнадцать дѣвшукъ, по словамъ Рымаркевича, представляютъ символы двѣнадцати мѣсяцевъ года, четыре времена котораго изображаютъ четыре стадіи любви солнца къ землѣ. Все это объясненіе кажется намъ нѣсколько натянутымъ въ примѣненіи къ произведенію Кохановскаго. Не подлежитъ сомнѣнію, что оно со-здано, дѣйствительно, на фонѣ обрядовой поэзіи, слѣды которой разсѣяны въ отдѣльныхъ пѣсняхъ этого произведенія, но утверждать, чтобы оно цѣликомъ основывалось на культѣ солнца, кажется намъ слишкомъ смѣлой и малоубѣдительной гипотезой, такъ какъ ни въ одной изъ его пѣсенъ мы не видимъ ясно выраженныхъ намековъ на славянскую миѳологію. Во всякомъ случаѣ, „Sobótka“ имѣетъ громадное значеніе въ польской литературѣ, какъ первый опытъ изображенія народной жизни. Еще одно остается намъ сказать о ней: здѣсь, въ девятой пѣснѣ о Филомелѣ, мы имѣемъ первую балладу на польскомъ языке.

IV.

Второе безкоролевье и отношеніе къ нему Кохановскаго. Четвертая ода. Четырнадцатая пѣснь второй книги. Ода „In conventu Stesicensi“. Рѣчь Кохановскаго на сеймѣ и возраженія противъ нея Сѣнницкаго. Пятая пѣснь второй книги. Эпиграфія Станиславу Струсу. Ода „In conventu Varsoviensi“. Восьмая пѣснь второй книги. Стихотвореніе „Gallo Crocianti“. Басня „О пѣтухѣ“ по рукописи, открытой проф. Брикнеромъ.

Въ то самое время, когда состоялась свадьба Кохановскаго съ Доротой Подлѣдовской (въ 1575 г.), когда его завѣтныя желанія исполнились и въ душѣ воцарился ясный покой семейнаго счастья, политической горизонтъ его родины покрывался грозными тучами, предвѣщавшими опасную будущность для Рѣчи Посполитой. Недавно избранный королемъ Генрихъ Валуа уѣжалъ ночью во Францію тайкомъ, какъ воръ, навлекши страшный позоръ на Польшу, корону которой онъ бросилъ, какъ ненужную вещь. Къ этому прибавились еще обычныя смуты безкоролевья, снова выдвинулась впередъ австрійская кандидатура, уже съ императоромъ во главѣ; снова шведы, русскіе и турки обратили все свое вниманіе на беззащитную

¹⁾ Rymarkiewicz. Jana Kochanowskiego „Pieśń Świętojańska o sobótce“. Poznań. 1884.

Польшу, терзаемую внутренними религиозными и политическими раздорами. Шляхетская партия держалась за Пяста, сенаторы за императора, некоторые желали возвращения Генриха, одни выставляли шведскую, другие московскую кандидатуру. Въ виду такого положения дѣлъ нашъ поэтъ, хотя и переживалъ минуты полнаго личного счастья, всетаки не могъ оставаться равнодушнымъ къ судьбѣ горячо любимаго отечества. Его пугало неизвѣстное будущее. Прежде всего Кохановскаго должна была возмущать царившая повсюду путаница понятій и разногласіе во мнѣніяхъ. Въ политическихъ дѣлахъ, также какъ и въ своей частной жизни, онъ считалъ хорошимъ только то, что отличается постоянствомъ, спокойствиемъ и находится въ равновѣсіи. Внутрення и внешня неурядицы глубоко западали въ чуткую душу поэта, который всѣми силами старался помочь своимъ союзникамъ, какъ разобраться во всѣхъ этихъ затрудненіяхъ. Свое слово по поводу данного вопроса высказалъ онъ въ четвертой одѣ „Ad Concordiam.“¹⁾ Будучи увѣренъ въ томъ, что разногласіе и раздоры вредны, въ особенности въ рѣшительныя и трудныя для государства минуты, онъ выступилъ снова съ горячей проповѣдью единодушія. Такое стремленіе къ согласію было его искреннимъ убѣжденіемъ, которое онъ выразилъ гораздо раньше, при менѣ тяжелыхъ обстоятельствахъ, въ стихотвореніи „Zgoda.“ Ода „Ad Concordiam“ начинается также молитвой къ богинѣ согласія, „лучше котораго нѣть ничего на землѣ“, чтобы она взглянула благосклоннымъ окомъ на поляковъ, усмирила слѣпые раздоры народа, а готовое обагриться братскою кровью оружіе обратила противъ татаръ и турокъ. Судя по этому окончанію, оду можно отнести ко времени уже послѣ Стенжицкаго сѣзда, но одинаково возможно гидѣть здѣсь поэтическое прозрѣніе результатовъ несогласія.

Можетъ быть, въ это же время, когда всюду господствовали интриги и возмущенія, когда даже сенаторы, поглощенные исключительно своими личными интересами, не могли похвалиться безкорыстиемъ, была написана четырнадцатая пѣснь второй книги²⁾, которая вошла въ видѣ второго хора въ драму „Odprowa posѣow greckich.“

¹⁾ См. W. P. III. 264.

²⁾ См. W. P. I. 321.

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono
I zwierzchności nad stadem bożem zwierzono,—
Miejcie to przed oczyma zawždy swojemi,
Żeście miejsca zasiedli Boże na ziemi,
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy,
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy.

Такими словами, полными величия и правды, нашъ поэтъ призываєтъ людей, правящихъ государствомъ, не забывать своей ответственности передъ Богомъ,

Któremu kiedykolwiek z spraw swych uczynić
Poczet macie, trudnoż tam krzywemu winić.
Nie bierze ten pan darów, ani się pyta,
Jeśli to chłop, czyli się grofem poczyta,
W siermiędzeli go widzi, w złotychli głowach,
Jeśli namniej przewinił, być mu w okowach.

Съ ихъ грѣхами не могутъ сравниться проступки частныхъ лицъ, которые не имѣютъ значенія для государства, между тѣмъ какъ

Przełożonychъ występkii miasta zgubiły
I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły.

Эта пѣснь упрекаетъ тѣхъ, которые находятся у кормила власти. Въ Польшѣ всегда имѣли руководящее значеніе въ дѣлахъ правленія сенаторы, влияние которыхъ особенно усиливалось во время безкоролевья. Множественное число лицъ, къ которымъ обращено это стихотвореніе, можетъ обозначать, правда, королей вообще, но подъ ними могли подразумѣваться польские магнаты, бывшие полно-властными государями въ своихъ обширныхъ имѣніяхъ.

Если-бы Кохановскій имѣлъ въ виду однихъ только королей, онъ не выразился бы такъ, что Богъ не смотрить на то, „czy kto chłop, czyli się grofem poczyta“. Можетъ быть, къ этимъ графамъ относится ядовитый намекъ, что Богъ не беретъ даровъ, что передъ Нимъ невозможно вывернуться, что придется дать Ему отчетъ въ своихъ дѣлахъ, что не слѣдуетъ заботиться исключительно о своихъ личныхъ интересахъ.

Эта пѣснь написана въ строго выдержанномъ классическомъ стилѣ, полна серіозности и мудрой простоты.

Всѣ разногласія, о которыхъ мы говорили, достигли особенной силы на Стенжицкомъ съѣздѣ. Тамъ царствовалъ полный хаосъ: сторонники Генриха мечтали о его возвращеніи, приверженцы Австрійскаго императора разсчитываютъ одержать верхъ, вербуютъ на свою сторону все большее и большее количество голосовъ и даже, вопреки обычаямъ, не жалѣютъ денегъ для этой цѣли. Всѣ тянутъ въ разныя стороны: Литва въ одну, Польша въ другую, Пруссія въ третью, сенатъ и рыцарство стремятся къ совершенно противоположнымъ цѣлямъ. Каждый хочетъ поставить на своеи и, предвидя неминуемую неудачу, втихомолку работаетъ надъ тѣмъ, чтобы съѣздъ разошелся безъ всякихъ результатовъ. Присутствуя тамъ, Кохановскій былъ, вѣроятно, на сторонѣ австрійской кандидатуры, за которую стояли его пріятели, Мышковскій, Дудычъ и Николай Фирлей, староста казимирскій. Однако, нашъ поэтъ еще колеблется, какъ видно изъ начала его третьей оды „In conventu Stesicensi.“¹⁾

Въ этой одѣ поэтъ сравниваетъ шляхту, собравшуюся на Стенжицкій съѣздѣ со стадомъ, лишеннымъ настыря:

Pastore qualis grex viduus suo
M aeret, nec herbae, nec laticum memor,
Quem nox et instantes tenebrae
Sollicitantque ferae rapaces.

Далѣе онъ выражаетъ колебаніе, ждать ли возвращенія Генриха, что было-бы самымъ лучшимъ, или оставить всякую надежду на это. Въ послѣднемъ случаѣ сарматамъ придется выбирать новаго кормчаго для своего государственного корабля. При этомъ онъ совѣтуетъ своимъ согражданамъ не льститься на щедрыя обѣщанія:

Virtute ad amplos niti honores,
Non opibus decuit dolosis.

и усиленно просить ихъ научиться повиноваться тому королю, который будетъ избранъ. Въ заключеніе онъ совѣтуетъ не бояться враговъ, но и не относиться къ имъ черезчуръ легкомысленно. Здѣсь, какъ мы видимъ, Кохановскій еще допускаетъ возможность возвращенія Генриха и желаетъ этого, такъ какъ поляковъ связываетъ данная ему присяга и, кромѣ того, оставленіе короны позорно для

¹⁾ См. W. R. III. 261.

нихъ. Если Богъ не исполнить этого желанія, поэтъ предостерегаетъ своихъ согражданъ отъ денегъ, которыя будутъ предлагать имъ различные кандидаты на престолъ. Слова о необходимости повиноваться, очевидно, вызваны видомъ царившей тогда анархіи.

8 іюня разошелся Стенжицкій съѣздъ безъ всякихъ результатовъ. Осенью долженъ былъ собраться сеймъ для выбора новаго короля. Тѣмъ временемъ исполнились мрачныя предсказанія Кохаховскаго: состоялся опустошительный набѣгъ татаръ, угрожавшій даже Krakowу и Великой Польшѣ. Тогда именно, было написано одно изъ самыхъ патріотическихъ стихотвореній нашего поэта: пятая пѣснь второй книги.¹⁾

Wieczna sromota i nienagrodzona
Szkoda, Polaku: ziemia spustoszona
Podolska lezy, a pohaniec sprosny,
Nad Niestrem siedzacy, dzieli kup załosny.

Невѣрный турокъ спустилъ своихъ собакъ, которыя напали на польскихъ ланей, и забралъ ихъ вмѣстѣ съ дѣтьми; одни изъ послѣднихъ проданы за Дунай туркамъ, другія загнаны въ орду. Шляхетскія дочери стелятъ ложа для бусурманскихъ псовъ. На Польшу нападаютъ дикія орды разбойниковъ, подобно тому, какъ волки кидаются на брошенное стадо, лишенное пастуха и чуткихъ собакъ. „Гдѣ намъ сладить съ турками, если мы не можемъ одолѣть такого ничтожнаго врага, какъ татары“.

Zetrzy sen z oczu a czuj wszas o sobie
Cny Lachu!

восклицаетъ поэтъ съ гордымъ негодованіемъ, призываю своихъ соотечественниковъ смыть непріятельской кровью тяготѣющій надъ ними позоръ. Wsiadamy? съ ироніей продолжаетъ онъ:

Czy nas pôlmiski, trzymaja?
Biedne pôlmiski, czego te czekaja?

Затѣмъ, въ порывѣ пламенного патріотизма, поэтъ обращается къ полякамъ:

Skujmy talerze na talery, skujmy
A żołnierzowi pieniadze gotujmy!

¹⁾ См. W. P. I. 310.

Dajmy—a naprzód dajmy sami siebie!

Въ заключеніи поэтъ опять впадаетъ въ разочарованіе и съ горечью говоритъ:

Nową przypowieść Polak sobie kupi,

Że i przed szkodą i po szkodzie głupi.

Къ этому же времени относится эпитафія Струсю (49 фразка III книги.)¹⁾

Поэтъ говоритъ, что не новость для семейства Струсей заваливать своими тѣлами дорогу злымъ ворогамъ: такъ гибли всѣ предки и родственники Станислава Струса, который также погибъ славной смертью въ крови язычниковъ:

Stanisław Struś tu leże, nie wchodź poganińie!

Sprawiedliwa waśń i po śmierci nieominie.²⁾

7 ноября открылся въ Варшавѣ избирательный сеймъ, а 25 ноября впервые выступилъ здѣсь Янъ Кохановскій въ качествѣ публичнаго оратора.

По свидѣтельству Ожельскаго, „рѣчь его, человѣка неглупаго, казалась не соотвѣтствующей его славѣ. Однако-же, изъ уваженія къ поэту, ее выслушали благосклонно“.

Кохановскій началъ свою рѣчь упоминаніемъ о необходимости при выборѣ короля помнить предостереженіе, данное Богомъ, еврейскому народу. Такое вступленіе носитъ чисто теоретическій, даже нѣсколько проповѣдническій характеръ. Сѣнницкій, подкоморій холмскій, перебиваетъ поэта возраженіемъ, что небесное и земное царство двѣ совершенно разныя вещи. Кохановскій продолжаетъ свою рѣчь и выражаетъ ту мысль, что выборъ своего согражданина, а не чужеземца, дастъ основаніе всѣмъ придавать такому факту совершенно иное объясненіе, будто польская корона такая ничтожная вещь, о которой никто не хочетъ заботиться. Маршалокъ снова перебиваетъ поэта, торжественно указывая ему на посольства отъ иностранныхъ

¹⁾ См. W. P. II. 422.

²⁾ На его смерть написалъ прекрасное стихотвореніе, проникнутое горя чимъ чувствомъ, Николай Шажинскій. Это произведеніе стоить несравненно выше эпитафіи Кохановскаго.

государей, домогающихся польской короны. Когда Кохановский говорить далъе, что надежда, которую имѣть каждый шляхтичъ на получение польской короны, не можетъ привести къ добру, Сѣнницкій прерываетъ его такимъ аргументомъ, который долженъ быть по нравиться всей шляхтѣ: „разумѣется, если шляхтичъ будетъ достоинъ того“. Наконецъ, когда поэтъ предлагаетъ кандидатуру младшаго сына царя Иоанна Грознаго и совѣтуетъ избрать его, чтобы онъ заранѣе могъ пріучиться къ повиновенію сенату, какъ жеребенокъ, котораго объѣзжаетъ умѣлый Ѣздокъ, маршалокъ приводить наиболѣе популярный тогда аргументъ противъ этого: „наши паны-Ѣздоки разной фантазіи, и настроенія и руководство ихъ не безопасно“. Однимъ словомъ, Кохановскій, при первомъ-же своемъ выступленіи на ораторское поприще, не смотря на всю искренность своихъ словъ и обширную гуманистическую эрудицію, потерпѣлъ полное пораженіе со стороны Сѣнницкаго, опытнаго парламентариста и популярнаго главы шляхетской партіи.

Причины, побудившія Кохановскаго примкнуть къ сторонникамъ Австрійскаго императора, были, по всей вѣроятности, таковы: прежде всего ему хотѣлось покрыть позоръ, нанесенный польской коронѣ бѣгствомъ Генриха Валуа. Это могло быть, съ его точки зрењия, достигнуто согласiemъ самого императора сѣсть на польскомъ престолѣ. Озаренная его блескомъ, Польша импонировала бы Франціи, Турціи и Московскому государству. Кромѣ того, Кохановскій, присмотрѣвшись къ порядку, царившему во всѣхъ европейскихъ государствахъ, надѣлся, что Австрійскій императоръ, привыкшій къ сильной наслѣдственной власти, разсѣть анархію, свившую себѣ прочное гнѣздо въ Рѣчи Посполитой. Избраніе же короля изъ поляковъ казалось нашему поэту опаснымъ, потому что вызывало зависть и вражду къ новому королю со стороны тѣхъ, которые имѣли равныя съ нимъ права на корону. Какъ мы уже выше замѣтили, на подобные взгляды поэта могли вліять его друзья, въ разсчеты которыхъ входило склонить на свою сторону Кохановскаго, такъ какъ его имя пользовалось тогда большой популярностью. Легко убѣжденный ихъ доводами, онъ примкнулъ къ австрійской партіи и сказалъ свою рѣчь на сеймѣ, побуждаемый къ тому Дудычемъ и Мышковскимъ. Рѣчь Кохановскаго сохранилась только въ пересказѣ Ожельскаго, который передаетъ также и рѣчь, произнесенную въ сенатѣ Мышковскимъ. Между этими двумя рѣчами мы видимъ такое же сходство, какъ

между „Сатиromъ“ Кохановского и рѣчю подканцлера на сеймѣ 1563 г. Такъ, напримѣръ, неясное въ рѣчи нашего поэта упоминаніе о предостереженіи Божьемъ еврейскому народу встрѣчается также у Мышковскаго въ слѣдующемъ видѣ: „Самъ Богъ предсказалъ Самуилу, что Пясть установить королевское право и станетъ братъ у подданныхъ коней, сыновей и слугъ.... и немногого королей пястовъ, отличныхъ отъ него (Саула), насчитывали евреи“. Какъ видно изъ этого примѣра, Мышковскій позволяетъ себѣ громадную натяжку въ толкованіи данного мѣста изъ священнаго Писанія, гдѣ рѣчь идетъ не о царѣ евреѣ, а о царѣ вообще. Въ дальнѣйшемъ развитіи мысли у Кохановскаго также встрѣчается сходство съ Мышковскимъ. Очевидно, послѣдній, не имѣя возможности лично говорить среди представителей шляхты, поручилъ это нашему поэту. Однако послѣдній не во всемъ согласился съ Плоцкимъ епископомъ, обнаруживая иногда нѣкоторую самостоятельность въ сужденіяхъ. Мышковскій совершенно исключаетъ кандидатуру Московскаго царевича, а Кохановскій ставитъ сначала австрійскую и, въ случаѣ ея неудачи, предлагаетъ московскую. Послѣдняя мысль могла быть вызвана, главнымъ образомъ, желаніемъ добиться безопасности Инфлянтовъ и Литвы. Въ томъ же духѣ была написана популярная тогда рѣчь Цѣсѣльскаго „Ad Equites, Legatos etc“, который совѣтывалъ избрать преемникомъ бездѣтному Сигизмунду Августу или сына Иоанна Грознаго, или эрцгерцога Эрнеста. Вѣроятно, и эта рѣчь повліяла на Кохановскаго, который оказался, однако, менѣе наивнымъ, чѣмъ ея авторъ, мечтавшій, что Иоаннъ дастъ за сыномъ часть своего государства, примыкающую къ Литвѣ. Какъ бы то ни было, рѣчь нашего поэта имѣла свои разумныя основанія и вовсе не была такъ недостойна славы Кохановскаго, какъ выставляетъ это Ожельскій. Въ ней нашъ поэтъ показалъ даже политическую дальновидность, которая выразилась въ мнѣніи, что надежда каждого шляхтича на корону принесетъ дурные результаты. Послѣ неудачи, понесенной Кохановскимъ въ качествѣ оратора, онъ выступаетъ уже только исключительно въ стихотвореніяхъ. Къ концу сейма написана имъ ода „In conventu Varsoviensi“¹⁾, которую поэтъ начинаетъ вопросомъ, будетъ ли повелителемъ Сарматіи императоръ, или скіпетръ достанется храброму Баторію. (Эти оба кандидата остались до конца

¹⁾ См. W.. Р. III. 268.

сейма). Поэтъ впадаетъ въ равнодушіе, онъ не слишкомъ уже заботится о томъ, кто получить корону. Объ одномъ только онъ молитъ Бога, чтобы тотъ король, который сядетъ на польскомъ престолѣ, былъ хороши, исцѣлилъ раны отечества и разномысліе привелъ къ единомышленію, чтобы возстановилъ „древній порядокъ“ (обычный ретроспективный идеалъ Кохановскаго), прекратилъ роскошь и распущенность, возобновилъ правосудіе, уничтожилъ мздоимство, возродилъ въ сердцахъ молодежи рыцарскій духъ и прогналъ скиовъ за Донъ.

Эта ода отличается холоднымъ, академическимъ характеромъ и показываетъ, что поэтъ, въ самомъ дѣлѣ, уже не заботился съ прежней энергией о томъ, кому выпадетъ на долю стать королемъ Рѣчи Посполитой.

Почти тѣмъ же фаталистическимъ характеромъ отличается восьмая пѣснь первой книги¹⁾, написанная къ Фирлею.

Nie frasuj sobie Mikołaju głowy,

Kto ma byc królem . . .

говорить поэтъ, потому что уже готовый декретъ давно лежитъ передъ Богомъ. Напрасно поляки заботятся объ избраниі, не лучше ли положиться на судьбу, повѣсить въ полѣ на столбѣ корону, чтобы она досталась, если не самому мудрому, то самому счастливому. Въ послѣднихъ словахъ нѣть уже равнодушія, которое замѣнилось горькой ироніей на обычную случайность избраниія. Какъ бы въ доказательство своихъ послѣднихъ словъ, что тотъ получитъ корону, кто больше за нею поспѣшитъ, онъ пишетъ эпиграмму на императора¹⁾, за котораго самъ недавно стоялъ на варшавскомъ сеймѣ:

Jam regale potens gestat diadema Batorrheus

Tu, magne Caesar, da veniam, cessator es.

Вскорѣ послѣ бѣгства Генриха одинъ изъ его приближенныхъ, Депортъ, сочинилъ злое стихотвореніе: „Adieux à la Pologne“, насквозь проникнутое клеветою, съ цѣлью оправдать неблагородный поступокъ французскаго короля. Кохановскій принялъ близко къ сердцу это новое оскорблѣніе и жестоко отомстилъ за него стихотвореніемъ

¹⁾ См. W. P. I. 472.

²⁾ См. W. P. III. 252.

янъ кохановскій.

„Gallo eruditant“¹⁾). Самое имя Gallus имѣть здѣсь тройкое значеніе: французъ, пѣтухъ и развратникъ. Кромѣ этого въ данномъ стихотвореніи заключается немало другихъ ядовитыхъ намековъ.

Спрашивая бѣгущихъ французовъ о причинѣ ихъ позорного поступка, поэтъ говоритъ, что Польша не Тринакрійскій берегъ и не какая-нибудь земля, пользующаяся дурной славой. Польша самый гостепріимный край, она только тирановъ не можетъ сносить:

. . . ei verba prius, nunc terga dedisti
Continuasque fugam, quasi musca agitare canina.

Бѣглецы оправдываются сѣверными холодами, чemu поэтъ тѣмъ болѣе удивляется, что французы, происходя отъ благородной крови троянцевъ, обѣщали прогнать татарскія орды къ Ледовитому океану и пойти войною на Москву:

Atqui Galle prius quam sit tibi copia Moschi,
Et prius in Scythia tua quam tentoria figas,
Perque lacus magnos, perque humani inscia cultus
Arva, nivesque altas glaciemque et flumina vasta
Ire necesse habeas, et densas ducere turmas:
Ut tibi non tantum cum Moschis atque Tataris
Sit depugnandum: sed hiems quoque saeva domanda
Et Boreas raptor, bellatori aemulus Austro.

„Теперь, продолжаетъ поэтъ, вы, французы, грѣетесь у теплого очага. Что, если-бы война въ самомъ дѣлѣ потревожила васъ? Вы бы на-вѣрио обратились въ позорное бѣгство:

O vere Galli: nam quorsum est dicere Gallae
Maeonio ritu: Galli, inquam, quaerite coelum
Mitius, et patriam cursum convertite ad Idam.

Ваше дѣло принимать участіе въ оргіяхъ въ честь Цибелы:

Ite sacrum aucturi numerum, famulique Cybelles,
Magnam semimari matrem stipate corona.

Для нашего края нужны мужи, которые не боялись бы зимы. Прежде, чѣмъ отзываться съ такимъ пренебреженіемъ о Польшѣ, зайдите въ наши гостепріимныя хаты и посмотрите, что въ нихъ дѣлается:

¹⁾ См. W. P. III. 354.

Femina cum pueris cubat una, susque nefrendes
Propter alit, stabulant vithli: Gallos quoque, amice
Claudimus his iidem septis, totamque cohortem,
Ni faciamus, hiems leviter praefocet amictos.

Тѣ упреки въ чванствѣ и легкомыслии, которыми вы награждаете насъ, составляютъ неотъемлемое качество вашего народа. Вы хотѣли дать намъ короля.... Рассказывать подробно обо всемъ я не стану, предоставляя это потомкамъ....

Perpoti mensis instertimus: Immo ita somnum
Demersi fumus (nam quis sperasset) in altum,
Ut cum per tacitam subrepstis moenia noctem
Tota cohors atque immissis fugeretis habenis,
Nostrum sentiret nemo, vigilesque lateret.

Ты, французъ, не станешь отрицать, какъ хорошо мы тебя приняли и всѣми силами старались показать свое расположеніе къ вамъ,

Tu vero ingratus fugitivus, barbarus, hospes
Officium in vitium trahis, et temeto conspergis
Non tantum me, sed proprios etiam ebrie versus“.

Далѣе поэтъ радуется тому, что такой широкій пиръ до охмѣленія произошелъ не во Франціи, гдѣ, заснувшись, можно павѣки не просыпаться. (Здѣсь Кохановскій намекаетъ на Варѳоломеевскую ночь).

„Unde autem“ продолжаетъ онъ:

 sit paupertas tam cito nostra
Cognita, mirari nequeo satis, optine Galle.
Per breve enim certe nobiscum tempus eratis,
Nec spatum explorandi habuistis, si qua Polono
Terra ferax frugum, si quod mare, si qua metalla,
Munitaeve forent turbes.

Вѣдь французы думали раньше, что всякаго изъ нихъ, будь онъ даже пѣтухъ, поляки встрѣтятъ съ удивленіемъ и станутъ осипать золотомъ.

 Hanc ubi frustra
Spem se aliuisse vident, natibusque incedere nudis
Magnanimos Heroas et, velut ante, necesse,
Paupertatis nos damnent, Irosque salutent,

Vulpes ut trabe dependens farcimen ab alta
Restim appellabat, quod contrectare nequibat.

Въ заключеніе поэтъ молитъ боговъ, чтобы французъ никогда не возвращался въ Польшу,

Magna suum potius vobis Germania regnum

Deferat: ut sceptris insignitosque coronis

Clam fugere in patriam, titulosque referre fugaces

Ipse quoque aspiciat Rhenus, quod Vistula vidit.

Уже впослѣдствіи, когда въ Кохановскомъ успѣло остыть то искреннее негодованіе, которымъ проникнуто было вышеупомянутое стихотвореніе, онъ въ 1577 году написалъ, посвященную Николаю Фирлею, каштеляну Бѣцкому, сатирическую басню: „На избраніе, коронацію и бѣгство пѣтуха“.

Это стихотвореніе начинается воспоминаніемъ о собакѣ, избранной нѣкогда венгерцами въ короли. Пользуясь всевозможной роскошью и рѣдкими блудами, она не могла побѣдить въ себѣ природной склонности и бросилась съ престола за костью. Подобный же случай произошелъ въ Польшѣ, когда Августъ былъ призванъ въ селенія боговъ. Тамъ, именно, рыцарство и многочисленный сенатъ провозгласили королемъ пѣтуха. Какъ только онъ надѣлъ на свой гребень золотую корону, тотчасъ же направился въ великолѣпный дворецъ, съ надменнымъ видомъ ударяя огромной шпорой свое приспущенное крыло и беспокойнымъ взглядомъ окидывая свой золотистый хвостъ. Затѣмъ онъ усѣлся между сенаторами, сіяя жемчугомъ и дорогими каменями. Когда начали предлагать различные законы для удовлетворенія государственныхъ нуждъ, обратились и къ нему съ просьбой высказать свое мнѣніе. Мгновенно вездѣ воцарилось молчаніе. Пѣтухъ поднимается, приглашиваетъ перья и чистить хвостъ своимъ острымъ клювомъ. Когда ему показалось, что онъ уже достаточно красивъ, онъ взъерошилъ свои перья. Между тѣмъ поляки насторожили все свое вниманіе и подготовили книжечки, чтобы записать мудрую рѣчь короля. Вдругъ онъ взлетѣлъ на столъ, трижды взмахнулъ крыльями и такъ рѣзко запѣлъ, что могъ бы разбудить утреннюю зарю и спящихъ коней солнца. Отвѣтомъ ему послужилъ оглушительный хохотъ. Бирючи тщетно стараются водворить порядокъ. Придворная молодежь оглашаетъ королевскій дворецъ невообразимымъ шумомъ. Испуганный владѣлецъ его старается спастись бѣгствомъ. Видя запертую дверь, онъ бросается въ окно и скрывается въ воздухѣ.

Это произведение состоитъ изъ 58 латинскихъ стиховъ, въ которыхъ соблюдена форма классическихъ басенъ. Съ эпической подробностью описываетъ поэтъ кичливость пѣтуха, его щегольство и пронзительный крикъ. Интересную черту даетъ намъ Кохановскій въ этой баснѣ,— именно, записываніе выдающихся рѣчей нѣкоторыми изъ присутствовавшихъ на сеймѣ. Не смотря на всѣ достоинства вышеупомянутаго произведенія, Кохановскій, очевидно, не предназначалъ его для печати. Оно сохранилось только въ двухъ рукописяхъ, найденныхъ въ Петербургской Императорской Публичной Библіотекѣ проф. А. Брикнеромъ. Это стихотвореніе показываетъ, что Кохановскій могъ быть и баснописцемъ, если-бы только захотѣлъ писать въ такомъ родѣ.

Во второмъ безкоролевѣ Кохановскій сыгралъ выдающуюся и почетную роль: онъ выразилъ тогда въ своихъ произведеніяхъ чувства цѣлаго народа, отклинулся на нанесенную ему обиду, на его несчастье и указалъ тѣ грѣхи, которые вызвали разбойническое вторженіе дикихъ татарскихъ полчищъ. Онъ сумѣлъ понять, какъ губительны для государства внутренніе раздоры и напомнить о необходимости крѣпкой власти и повиновенія ей. Онъ первый отмѣтилъ опасность искушенія, которое представляется при возможности каждому шляхтичу получить польскую корону. Вообще этотъ періодъ жизни Кохановскаго очень много принесъ для польской литературы. Въ немъ окончательно установился складъ понятій нашего поэта, который достигъ теперь полной зрѣлости своего дарованія.

жыртомъ да зѣйтъ ажидансе ѿѣ аѣтъ отъ иѣнъ, якои отъ
матеріаў познанія. Э тѣко ажидансе къ иѣроѣ зиданѣю
бываѣтиеющи и бывшіе отъ вѣтъ ажидансе аѣтъ ажидансе
— тѣко ботъ язъ пілаконской аїви аѣтъ тири отъ зорти. И таңкъ
зівотъ зорти съ пілаконской аїви ажидансе зівотъ зорти
съ ю. Ажидансе иѣтъ отъ зорти зорти и ю. Ажидансе зорти
пілаконской. И та же зорти зівотъ зорти иѣтъ, якъ озътъ зорти зорти
и ю. Ажидансе зорти зівотъ зорти и ю. Ажидансе зорти зорти
зівотъ зорти зорти и ю. Ажидансе зорти зорти и ю.

ГЛАВА VI.

Послѣдніе годы жизни Яна Кохановскаго.

I.

Событія 1577—1578 годовъ. „Odrzawa poslów grecckich“. Ея содержаніе. Характеристика дѣйствующихъ лицъ. Слабость драматической композиціи. Вліяніе классическихъ произведеній. Элементы польской жизни, изображенныя въ ней. Ея литературное значеніе. „Orpheus Sarmaticus“.

Мы видѣли, что Кохановскій подъ конецъ элекціи былъ совершенно равнодушенъ къ вопросу, кого выберутъ польскимъ королемъ. Однако, когда корона досталась Стефану Баторію, онъ относится къ послѣднему въ высшей степени сочувственно и даже съ такимъ восторгомъ, котораго до тѣхъ поръ не высказывалъ ни передъ кѣмъ. Неизвѣстно, чѣмъ было вызвано такое отношеніе нашего поэта къ новому королю, съ которымъ онъ сталкивался, вѣроятно, весьма рѣдко, такъ какъ проводилъ большую часть времени у себя въ Чернолѣсѣ.

Не меныше расположенія начинаетъ высказывать Кохановскій къ Замойскому, имя котораго впервые встрѣчается въ его произведеніяхъ только послѣ избрания Баторія.

Всегда готовый откликнуться на нужды своей родины, нашъ поэтъ не переставалъ слѣдить за политическими событиями. Въ 1577 году произошло восстаніе въ Гданскѣ; желая усмирить его и обезпечить польскія границы съ востока, Баторій рѣшилъ объявить наступательную войну Москвѣ, для чего ему необходимо было заручиться согласиемъ сейма по поводу новыхъ налоговъ на военные потребности. Планамъ Стефана сочувствовали лучшіе люди въ государствѣ.

Тѣмъ не менѣе, на сеймѣ 1578 года послы трехъ воеводствъ: Сѣрад-скаго, Краковскаго и Сандомирскаго оказываютъ королю оппозицію, мотивируя ее тѣмъ, что они не получили соотвѣтствующихъ инструкцій отъ сеймиковъ. Опасаясь неудачи, благодаря такому положенію вещей, Замойскій обратился къ нашему поэту съ просьбой написать произведеніе, въ которомъ наглядно подтверждалась бы польза мѣро-пріятій Баторія. Самымъ лучшимъ политическимъ ламфлетомъ могла быть въ данномъ случаѣ драма, которая, будучи представлена на свадьбѣ Замойскаго съ Христиной Радзивилль, въ присутствіи многочисленной публики, могла оказать громадное вліяніе на общественное мнѣніе всей ціяхты.

Въ половинѣ декабря посыпаетъ Замойскій письмо нашему поэту, въ которомъ торопить его, такъ какъ свадьба назначена на 12 янвarya. Нужно раздать роли, устраивать репетиціи.... Словомъ, Кохановскому приходилось страшно спѣшить съ окончаніемъ своего произведенія. Отвѣтное письмо нашего поэта обнаруживаетъ, что онъ опасался какъ за художественную, такъ и за политическую сторону своей драмы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, показываетъ въ немъ большую ли-тературную скромность.

Содержаніе драмы „Odrogawa posłów greckich“¹⁾ состоитъ въ слѣдующемъ: Уліссъ и Менелай, царь спартанскій, прибыли въ Трою въ качествѣ пословъ, отправленныхъ съ цѣлью переговоровъ о воз-вращеніи Елены, похищенной Парисомъ. Одинъ изъ почетнѣйшихъ троянскихъ старѣйшинъ, по имени Антеноръ, принялъ ихъ у себя въ домѣ. Требованія пословъ поступили на разрѣшеніе въ царскій совѣтъ. Между тѣмъ Парисъ изъ личныхъ выгодъ старается всякими незаконными средствами пріобрѣсти себѣ тамъ побольше сторонни-ковъ. Его попытка повліять въ этомъ смыслѣ на Антенора терпитъ полную неудачу. Такова завязка драмы.

Въ самомъ началѣ выступаетъ на сцену Антеноръ и говоритъ о прибытіи греческихъ пословъ, предупреждая троянцевъ, что имъ грозить война, въ случаѣ невыдачи Елены. Въ это время входитъ Парисъ и, желая склонить Антенора на свою сторону, вступаетъ съ нимъ въ горячій споръ, который, однако, не приводить ни къ какимъ результатамъ. Затѣмъ слѣдуетъ хоръ, который выражаетъ сожалѣніе о томъ, что молодость и здравый разсудокъ не всегда согласуются

¹⁾ См. W. P. II. 99.

между собой. А Елена тоскуетъ по своимъ соотечественникамъ и, предчувствуя несчастье, полагается во всемъ на судьбу. Елену утѣшаетъ компаніонка („rapi stara“). Затѣмъ второй хоръ напоминаетъ троянскимъ старѣйшинамъ о важности ихъ обязанностей. Тѣмъ временемъ дурныя предчувствія Антенора и Елены сбываются: сеймъ послѣ бурнаго засѣданія отказывается исполнить требование греческихъ пословъ, о чёмъ Елену увѣдомляетъ вѣстникъ отъ Париса. Она осталась довольна этимъ извѣстіемъ. Тогда хоръ выражаетъ ту мысль, что радость ея преждевременна. Затѣмъ Улиссъ произноситъ монологъ, въ которомъ самыми мрачными красками рисуетъ троянскіе порядки, продажность государственныхъ людей Трои, распущенность и праздность ея молодежи, которая совершенно не способна къ военному дѣлу. Послѣ него Менелай призываетъ въ свидѣтели всѣхъ боговъ въ томъ, что онъ не получилъ отъ троянцевъ справедливаго удовлетворенія. Къ небу взываетъ онъ о мщеніи, желая обагрить свой мечъ кровью Александра. Слѣдующій за нимъ хоръ предсказываетъ осаду Трои. Той же мыслью проникнуто пророчество Кассандры. Пріамъ только тогда подумалъ о защитѣ государства, когда былъ захваченъ греческій плѣнникъ, подтвердившій исполненіе зловѣщихъ предсказаний. Троянскій военачальникъ, въ виду грозящей опасности, въ заключительныхъ словахъ драмы предлагаетъ Пріаму возбудить на экстренномъ сеймѣ вопросъ о наступательной войнѣ.

По своему построению эта драма приближается къ классическому типу, выработанному въ поэтикѣ Аристотеля. Прологъ ея до первого хора описываетъ недостатки Париса, вторая диалогическая часть посвящена Еленѣ, какъ фатальной виновницѣ всѣхъ несчастій, и заканчивается прекраснымъ хоромъ, осуждающимъ вождей народа за ихъ несправедливость. Въ третьей части разсказанъ весь ходъ совѣщанія о Еленѣ и въ концѣ приведенъ хоръ, который говорить, что бракъ Елены съ Парисомъ начался съ раздора и долженъ закончиться несогласіемъ. Четвертая часть и составляетъ, такъ называемый, „ѣздодъ“, который является фатальнымъ результатомъ всего, что произошло раньше.

Въ характеристицѣ дѣйствующихъ лицъ Кохановскій также пользовался греческимъ материаломъ, какъ и въ цѣломъ замыслѣ драмы.

Антеноръ выступаетъ здѣсь, также какъ и въ Иліадѣ, мужемъ совѣта и разума, горячимъ защитникомъ интересовъ своего отечества и смѣлымъ обличителемъ легкомыслія молодежи.

Менелай изображенъ такимъ же широковѣщательнымъ, какъ рисуетъ его Иліада.

Улиссы выражается болѣе отрывисто, преимущественно вопросами, что доказываетъ его хитрость. Елена охарактеризована также согласно Иліадѣ слабой женщиной, которая тоскуетъ по своему первому мужу и по дѣтямъ, но, благодаря своей нерѣшительности, снова радуется, что ей не придется разставаться съ Парисомъ.

Парисъ изображенъ въ драмѣ изнѣженнымъ молодымъ человѣкомъ, для котораго свои личные интересы стоятъ выше всего на свѣтѣ.

Пріамъ — нерѣшительный правитель, который не въ силахъ обуздатъ господствующей на сеймѣ анархіи и только въ самую опасную минуту собирается еще позаботиться о спасеніи государства.

Выбранный Кохановскимъ сюжетъ въ сущности не заключаетъ въ себѣ никакого драматического элемента. Виною самого поэта является также то, что отдельные эпизоды въ этой драмѣ совершенно не связаны между собою. Дѣйствующія лица здѣсь выходятъ на сцену, произносятъ красивые монологи, затѣмъ удаляются и больше не имѣютъ никакого вліянія на ходъ дѣйствія. Къ числу менѣе значительныхъ недостатковъ этой драмы нужно отнести непомѣрно длинное обнимающее около четверти цѣлаго произведенія разсужденіе вѣстника о совѣщаніи троянскихъ вельможъ.

Однако нельзя сказать, чтобы драматическая композиція совершенно отсутствовала въ этомъ произведеніи. Здѣсь она хоть и въ зачаточномъ видѣ, но всетаки существуетъ. Кохановскій былъ слишкомъ хорошо знакомъ съ греческой драмой, чтобы допустить у себя такую капитальную ошибку. Съ большимъ трудомъ, но всетаки можно проплѣдить въ монологѣ Антенора экспозицію; въ сценѣ его съ Александромъ и слѣдующихъ двухъ сценахъ съ Еленой видны очень слабые слѣды акціи, которая тѣмъ временемъ происходитъ за сценой въ вышеупомянутомъ совѣщаніи троянскихъ вельможъ. Результаты этого совѣщанія, переданные Еленѣ, составляютъ усиленіе. Тотчасъ послѣ этого выходитъ Менелай и взываетъ къ богамъ о мщениі за свою обиду. Греки готовятся къ отѣзду. У троянцевъ является

тогда дурное предчувствіе, выражаемое хоромъ, Кассандрай, Пріамомъ и Антеноромъ, которое замѣняетъ катастрофу, указывая ее въ будущемъ.

Материаломъ для драмы послужилъ эпизодъ изъ третьей книги Иліады отъ 121 до 291 стиховъ, разговоръ старцевъ съ Еленой у Скейскихъ воротъ, упоминаніе о посольствѣ Менелая и Одиссея въ Трою по поводу похищенія Елены, ихъ жизнь въ домѣ Антенора и события, предшествовавшія Троянской войнѣ. Изъ Иліады взяты нашимъ поэтомъ даже имена троянскихъ вельможъ, присутствовавшихъ на совѣщаніи у царя Пріама. Все это послужило фономъ для драмы Кохановскаго, который, кроме того, придалъ Еленѣ чувства, выраженные въ XVII Героидѣ Овидія (*Helena Paridis*). Пророчество Кассандры во многомъ заимствовано изъ „Агамемнона“ Сенеки, даже начало его: „*Poco mnie prózno srogi Apollo trapisz?*“ цѣликомъ взято оттуда, а также выраженія: „*blada twarz*“, „*włosy roztargane*“, „*piersi ciężkim westchnieniem pracujące*“, „*komu duch nie mój pożyczeń*“, два солнца и двѣ Трои, которыхъ Кассандра видитъ, Гекуба, воющая послѣ смерти своихъ сыновей, стѣны работы боговъ, одна могила для Гектора и для родины. Нѣкоторыя изъ этихъ выражений встречаются также и въ „Троадѣ“ того же автора. Эпитетъ Ахиллеса — „*srogi trupokurca*“ мы видимъ въ „Александре“ мало известнаго поэта Лиофронса. Сонъ Гекубы, о которомъ рѣчь въ бесѣдѣ Париса съ Антеноромъ, упомянуть Овидіемъ и Цицерономъ (*De divinatione*) и, наконецъ, начало третьаго хора заимствовано изъ „Ипполита“ Эврипида, гдѣ бѣлокрылый корабль привезъ Федру изъ Крита по соленымъ водамъ. Всѣ приведенные заимствованія относятся, большей частью, къ формѣ драмы, а не къ содержанию, которое разработано Кохановскимъ почти съ полной самостоятельностью. Самый выборъ сюжета принадлежитъ исключительно ему, такъ какъ до него никто не пользовался имъ для драматическихъ произведеній. Характеристика действующихъ лицъ, составленная Кохановскимъ на основаніи классическихъ источниковъ, равнымъ образомъ какъ и построение всего произведенія въ стилѣ греческой драмы, объясняется гуманистическимъ литературнымъ направленіемъ, къ которому примыкала наша поэзія.

Не смотря на все стараніе, какъ можно больше приблизить свою драму къ греческимъ образцамъ, Кохановский не могъ совершенно уберечься отъ влиянія народныхъ польскихъ чертъ.

Прежде всего при Еленѣ состоить „stara pani“, что въ обычаѣ у поляковъ даже до нашихъ дней. Равнымъ образомъ, чисто польской чертой нужно считать соблюденіе Еленой извѣстныхъ приличий:

..... a nam białyim głowom jakoś

Przystojniej w domu zawѣdy, niž przed sienią.

Антеноръ, нарисованный совершенно въ гомеровскомъ духѣ, ссылается на донесенія „пограничныхъ старостъ“; онъ также боится суда Божьяго:

..... że się też i dzisia lękać muszę,

Aby to sąd tajemny jakiś Boży nie był.

Картина совѣта троянскихъ старѣйшинъ снята съ натуры съ польскихъ сеймовъ:

..... Potym się już żaden

Długa rzeczą nie bawił; jeden głos był wszystkich

Tak jako Iketaon i tych, co siedzieli,

I tych, co za stołkami stali, głos był jeden:

Tak jako Iketaon. Kilka kroć powstawał

Ukalegon, chcąc mówić, lecz przed hukiem niemogł.

Marszałkowie laskami w ziemię co raz bijąc:

Posłuchajcie, Panowie, Ukalegon mówi!

Nie pomogły nic laski, a nasz Ukalegon

Ukalegontóm mówił, bo nań nic niedbali.

Не меньшей вѣрностью польской дѣйствительности отличаются постоянныя жалобы на испорченность молодежи, которая является виной всѣхъ государственныхъ бѣдствій.

Антеноръ совѣтуетъ Пріаму быть всегда готовымъ къ бою:

..... straż niej i na morzu

I na ziemi, aby cię łaci niеготовымъ

Grekowie nie zastali. To jest rada moja.

Въ заключительныхъ словахъ драмы военачальникъ говоритьъ о наступательной войнѣ. Тѣ же самыя мысли мы видѣли еще въ рѣчи Мышковскаго на сеймѣ 1563 года и въ „Сатирѣ“ нашего поэта, который присоединилъ къ нимъ только совѣты о наступательной войнѣ, чтобы исполнить задачу, возложенную на него Замойскимъ.

Кромѣ своего политического значенія эта драма не лишена и литературныхъ достоинствъ, къ числу которыхъ прежде всего нужно отнести монологи, выдержаные въ строгомъ стилѣ Софокла и Гомера. Не уступаетъ имъ въ этомъ отношеніи споръ Антенора съ Александромъ. Такъ же хороши хоры, которые, совершенно какъ въ греческихъ трагедіяхъ, являются у Кохановскаго выразителями нравственныхъ истинъ, даже послѣдовательность ихъ совершенно совпадаетъ съ классическими образцами, гдѣ сначала идутъ хоры, повидимому, мало связанные съ содержаніемъ драмы, затѣмъ намеки на происходящія на сценѣ события становятся яснѣ и, наконецъ, нравственная тенденція пьесы открыто выражается ими. Особенно заслуживаетъ здѣсь вниманія то обстоятельство, что нашъ поэтъ пытался въ нихъ соблюсти размѣры греческихъ хоровъ. Главнымъ образомъ, интересенъ въ этомъ отношеніи третій хоръ. Онъ дѣлится на двѣ части: одна до 444 стиха заключаетъ въ себѣ жалобы на корабль, привезшій Елену на троянскій берегъ, другая—общія сентенціи о несогласіі, обѣ единобрачіи и т. п. Каждая изъ двухъ частей, которая соотвѣтствуютъ строфамъ въ греческихъ хорахъ, можетъ быть, въ свою очередь, разложена на двѣ половины, какъ бы на строфи и антистрофи, каждая изъ которыхъ содержитъ въ себѣ по десяти стиховъ, только первая половина первой строфы состоить изъ 11 стиховъ. Размѣромъ первой половины служить, обыкновенно, дактиль или амфибрахій съ трохеической стопою, а второй—ямбъ.

Первая строфа этого хора имѣетъ характеръ чисто греческой поэзіи, заключеніе:

. Przydą, przydą
Niedawno czasy, że rozbójce
Rozbójca znidzie; ten mu słodki
Sen z oczu zetrze i bespieczne
Serce zatrwoży, kiedy trauby
Ogromne zagrzmią, a pod mury
Nieprzyjacielskie staną szańce.

проникнуто не только возвышеннымъ признаніемъ нравственного закона, правящаго міромъ, но и спокойной грустью, присущей фаталистическому міросозерцанію древнихъ. Этотъ хоръ уже предчувствуетъ бѣдствія Трои и является дѣйствительно трагическимъ. Не уступаетъ ему по достоинству слѣдующее за нимъ пророчество Кас-

сандры, проникнутое настоящимъ творческимъ вдохновенiemъ. Въ немъ личность Кассандры имѣть всѣ исключительно греческия черты, какъ въ „Агамемнонъ“ Эсхила. Предчувствуя бѣду, она должна была быть именно такой беспокойной, порывистой и выражать свое отчаяніе такимъ неистовыимъ раздирающимъ душу крикомъ. Въ эпической части своего произведенія Кохановскій пользовался тринадцатисложнымъ стихомъ, въ пророчествѣ Кассандры мы видимъ двѣнадцатисложный, а въ діалогахъ одиннадцатисложный съ дактилическимъ ритмомъ и только послѣдняя стопа носить характеръ трохея, благодаря неподвижному ударенію. Въ виду несомнѣнныхъ литературныхъ достоинствъ разобранной драмы, трудно предположить, чтобы она возникла безъ всякихъ подготовительныхъ этюдовъ. Въ произведеніяхъ Кохановскаго мы встречаемся съ отрывками перевода „Альkestы“¹⁾ Эврипида и съ „Единоборствомъ Париса съ Менелаемъ“, которое переведено Кохановскимъ изъ III пѣсни Иліады. Эти двѣ вещи, можетъ быть, и служили нашему поэту первыми попытками подготовленія къ предполагаемой драмѣ. Переводъ отрывка изъ Иліады очень хорошъ и вполнѣ передаетъ духъ безсмертной поэмы Гомера, только риѳмованный стихъ примѣненъ Кохановскимъ для этой цѣли не вполнѣ удачно.

На свадьбѣ Замойскаго, кромѣ вышеупомянутой драмы нашего поэта, исполнялась еще королевскимъ пѣвцомъ, Клабономъ, кантата Кохановскаго, подъ заглавиемъ „Orpheus Sarmaticus“²⁾. Она, очевидно, предназначалась для Баторія, который, не зная польского языка, не могъ понять драмы. Содержаніемъ „Орфея“ служить открытое побужденіе къ войнѣ. „О чемъ вы, земляки, думаете?“ говорить поэтъ: „и какую обманчивую надежду вы лелеете въ своей груди?

¹⁾ Интересное открытие сообщилъ Станиславъ Виндакевичъ на засѣданіи Krakowskoy Akademii Naukъ 4 iюля 1891 года. Онъ отыскалъ въ рукописяхъ Ягеллонской библіотеки польскую трагедію въ классическомъ духѣ, подъ заглавиемъ „Admetus rex“. Она возникла изъ отрывка „Альkestы“ Кохановскаго и задумана на фонѣ его взглядовъ. Материаломъ для нея послужили многія стихотворенія нашего поэта. Въ этой искусственной компиляціи Виндакевичъ нашелъ 26 произведеній Кохановскаго: 13 пѣсней, 5 треновъ, 5 фрагментовъ и 3 эпитафіи. Слѣдовательно, первая попытка нашего поэта въ польской литературѣ создать художественную драму на польскомъ языке не осталась безъ подражателей. (См. Biblioteka Warszawska 1891 г. т. III 617 стр.).

²⁾ См. W. R. III. 370.

Теперь не время для забавъ, танцевъ и бесѣдъ съ Бахусомъ, ссоръ, разсужденій, съѣздовъ и тайныхъ совѣщаній. Вотъ-вотъ наступить войны, непріятель стоять уже у воротъ и не одна война: съ востока грозитъ татаринъ, а съ сѣвера Москва, если сказать вамъ правду, сильная вашей неподготовленностью. Съ Москвою въ союзѣ тѣ, которые выставляютъ себя вашими друзьями, а тайкомъ замышляютъ противъ васъ войну. Кромѣ того, турокъ теперь тихо сидитъ, но всегда жадными глазами смотритъ на подольскія поля. Проснись, сарматъ! продолжаетъ поэтъ, обращаясь къ своимъ землякамъ, стыдно потерять, благодаря своей испорченности, все, что приобрѣли предки. Теперь у поляковъ есть то, чего имъ раньше не доставало: храбрый и готовый на все предводитель — король, не уступающей никому изъ древнихъ героевъ. Подъ его знаменемъ возьмемся за оружіе и пойдемъ на врага“.

Желаніе поэта исполнилось: сеймъ одобрилъ наступательную войну и подати.

Однако, ни пьесы, представленной „знатѣйшими юношами“, ни канцаты не пришлось слышать самому Кохановскому, который въ письмѣ къ Замойскому оправдывалъ свое отсутствіе болѣзнью и выражалъ надежду быть на послѣ свадебныхъ празднествахъ, если ему позволить здоровье.

II.

Пребываніе Стефана Баторія въ имѣніи Замойскаго, Замхѣ. Привѣтственный стихотворенія въ честь короля: „Pan Zamchanus“, „Dryas Zamchana“ и „Dryas Zamechska“. Назначеніе Мишковскаго Краковскимъ епископомъ. Десятая элегія III книги. Двадцатая пѣснь второй книги. Десятая ода „In villam Pramicanam“. Взятіе Полоцка. Ода „De expugnatione Polottee“. „Феномены“ Агата. „Psalterz“. Посвященіе Мишковскому. Эпиграмма Буханану. Зависимость „Псалтыри“ Кохановскаго отъ перевода Буханана. Разнообразіе размѣровъ. Псалмы, возникшіе въ ранніе годы жизни нашего поэта. Псалмы, въ которыхъ отразилась придворная жизнь Кохановскаго. Значеніе его „Псалтыри“ для польской литературы. Пѣснь „Czego chcesz od nas Panie“. Пятая и третья пѣсни фрагментовъ. Значеніе религіозной лирики Кохановскаго.

8 мая 1578 года Стефанъ Баторій опять навѣщаетъ Замойскаго, теперь уже въ его имѣніи, Замхѣ. Для достойной встречи такого высокаго гостя канцлеръ снова обращается къ Кохановскому съ просьбой написать привѣтственный стихотворенія. Нашъ поэтъ пишетъ

два произведенія на латинскомъ языку для такого торжественнаго случая: „Pan Zamchanus“ и „Dryas Zamchana“. Послѣднее онъ переводить на польскій языкъ, подъ заглавіемъ „Dryas Zamechska“. „Pan Zamchanus“¹⁾ привѣтствуетъ Стефана Баторія отъ имени лѣсныхъ божествъ:

Salve rex invicte tuis fortuna benigne
Aspiret votis, tuaque omnia coepta secundet.

Прибытію короля улыбается небо, земля одѣлась различными цвѣтами, пѣніе пташекъ раздается въ густой листѣвѣ тѣнистыхъ деревьевъ:

Ipsae adeo quercus et amictae frondibus orni
Et tiliae pingues, fagique tibi ardua longe
Submittunt capita atque ultrō sua brachia tendunt.

Даже обитатели лѣсовъ и тѣ рады встрѣтить короля и день его прїѣзда на всю жизнь останется торжественнымъ для нихъ,

Dumque per umbrosas agrestia numina silvas
Capripedes Satyri errabunt Faunique fugaces,
Usque tui nostro vivent in pectore vultus.

Затѣмъ Панъ подноситъ Баторію

. pateramque orbemque rotundum,
Et cochleare nitens uno omnia clausa locello,

угощаетъ его яблоками, грушами, вишнями и сливами,

Illa quidem Hesperidum non sunt felicibus hortis
Edita, sed si ori admoveas, vel saccharum aequant.

Все это, по словамъ Пана, долженъ былъ бы приготовить самъ хохянъ, но онъ слишкомъ занятъ государственными дѣлами, чтобы найти время для заботъ объ угощеніи своего короля. Панъ благодарить послѣдняго за такого старосту, какъ Замойскій, который защищаетъ лѣса отъ рубки и не выгоняетъ сатировъ изъ ихъ древнихъ жилищъ, чѣмъ не пользуются ихъ собратья, живущіе въ другихъ мѣстахъ.

„Pan Zamchanus“ нѣсколько напоминаетъ шестую эклогу Виргилия и нѣкоторыя мысли изъ „Сатира“ нашего поэта.

¹⁾ См. W. P. III. 266.

„Дріада“¹⁾ отличается болѣе глубокимъ характеромъ, чѣмъ „Панъ“. Въ ней выражаются убѣжденія людей, хорошо знающихъ положеніе дѣлъ въ Польшѣ.

Она въ этомъ отношеніи очень похожа на „Сатира“, также какъ и онъ вооружается противъ испорченности нравовъ, обвиняя въ этомъ тѣхъ лицъ, которыхъ стоятъ во главѣ государства:

. Z królów rząd: póki Polska miała
Pany rządne, taka więc i szlachta bywała.
Królu, możesz mi wierzyć, że za lat dawniejszych
I ludzie obyczajów byli pobożniejszych,
Nie były takie lichwy, ani waśni takie,
Rychlej mierność i cnoty kwitnęły wszelakie:
O elekcyach sobie głowy nie zmyślali.

Послѣдняя строка обѣ элекціяхъ прекрасно характеризуетъ отрицательное отношение къ нимъ нашего поэта. Въ „Дріадѣ“ Кохановскій высказалъ также свое горячее сочувствіе Баторію и надежды, возлагаемыя на него:

. Znam cię, o zacny królu, chociań bez korony
Ani w różny od inszych ubiór obleczony,
Znam cię, o królu polski, choć tu między lasy
Z dzikim zwierzem przebywam po wszytki swe czasy.

. Bądź zdrów na długie czasy, królu wielowładny!
A w twoich pięknych myślach daj ci Boże snadny
Skutek widzieć!

. tylko prosić trzeba
Aby Bóg dobrej radzie błogosławił z nieba.
Mnie jednej twojej dzielność i twe słysząc sprawy
Serce niemylnie tuszy, że cię z Bolesławym
Równo Polska kłaść będzie.

Нельзя было сдѣлать лучшей оценки личности короля, историческую роль котораго прекрасно угадалъ здѣсь Кохановскій. Любопытный примѣръ приведенъ въ „Дріадѣ“ нашимъ поэтомъ. Пилецкій, когда

¹⁾ См. W. P. II. 234 и III. 362.

то владѣвшій Замхомъ, ъзилъ на медвѣдяхъ, продѣвши въ ихъ ноздри острыя кольца. Ему могъ бы подражать и Баторій:

Łacno swawolą, łacno objezdzić królowi
Prawo kolca twarde:
Komu je na nos włożą, powiodą i harde.

Такъ смѣло и откровенно до сихъ поръ еще никто не выражалъ подобныхъ мыслей. Послѣ этого „Дріада“ какъ-будто испугалась, что сказала лишнее и, мѣняя тонъ, приглашаетъ короля развлечься рыбной ловлей, или охотой.

Переводъ „Дріады“, весьма близкій къ латинскому тексту и еще выразительнѣе касающійся элекціи, показываетъ, что она была написана не для однихъ только своихъ единомышленниковъ, но имѣла также цѣль повліять на умы несогласныхъ съ поэтомъ.

Въ 1578 году Мышковскій вступилъ на Краковскую епископскую каѳедру. Кохановскій по этому случаю пишетъ ему привѣтственное стихотвореніе (10 эл. III кн.)¹⁾.

Здѣсь поэтъ говоритъ о себѣ, что онъ прибылъ навстрѣчу епископу безъ блестящей свиты, которую замѣняетъ ему киѳара Аполлона и хоръ музъ; ими онъ гордится больше, чѣмъ кто-либо другой своимъ богатствомъ или портретами предковъ,

Nam cum essem natus fortuna non ita in ampla,
Nec dictatorum dicerer esse genus;
Ingenio tamen et Musarum munere clarum
Arctoo peperi nomen in orbe mihi.
Audiat hoc livor: Musarum ego munere clarum
Arctoo peperi nomen in orbe mihi.

Онъ говоритъ, что музы его всегда находили благосклонный пріемъ у Мышковскаго. Есть люди, которые прежде, чѣмъ ласково встрѣтить своего стараго друга, спрашиваютъ, кто онъ таковъ и откуда ведетъ свой родъ, но Мышковскій не принадлежитъ къ ихъ числу:

Haec alios tangunt, de te nil tale veretur
Musa hedera molles cincta virente comas,

¹⁾ См. W. P. III. 122.

янъ кохановскій.

Quin tibi fortunam hanc stabilem firmamque precatur,
Utque sit aetati prodiga Parca tuae.

Мышковский вскорѣ постѣ своего прѣѣзда пригласилъ поэта къ себѣ и долго не хотѣлъ отпускать его домой, какъ видно изъ двадцатой пѣсни второй книги¹⁾.

Здѣсь поэтъ описываетъ беспокойство своей жены. Между тѣмъ, какъ онъ самъ находится въ епископскомъ дворцѣ, она объясняетъ причину его отсутствія болѣзнью. Не легко ей также одной нести всѣ тяжести хозяйственныхъ заботъ, которыя они должны раздѣлять поровну между собой. Кто знаетъ, можетъ быть, ее волнуютъ и другія подозрѣнія:

Že na свiecie rodzą się takowe zioła,
Których smak pamięć domu wygładza zgoła,

Že taka jest muzyka i takie strony,
Których człowiek słuchając, już ani żony

Ani dziatek nawiedzi, ale w niewoli

Pod pany sromotnymi wiecznie trwać woli.

Любовь всегда сопровождается тревогою ревности. Поэтому Кохановскій проситъ епископа не разлучать его съ женою, съ которой онъ не хочетъ разставаться до смерти и не причинять никому тревоги, хоть-бы и напрасной:

A ty nie bądź przyczyną, biskupie drogi,
Niczyjej lubo słusznej, lub płonej trwogi.

Эта пѣснь свидѣтельствуетъ какъ о расположениіи Мышковскаго къ нашему поэту, такъ и о привязанности послѣдняго къ своей женѣ. Можетъ быть, ея предполагаемая ревность прибавлена Кохановскимъ, которому, во всякомъ случаѣ, льстила бы любовь молодой женщины и ея подозрѣнія, что онъ можетъ еще нравиться, несмотря на свои солидные годы.

Къ тому же времени относится десятая ода „In villam Pramnicanam²⁾”, написанная по поводу переѣзда Мышковскаго въ епископскую виллу, подъ названиемъ Прондникъ Червонный.

¹⁾ См. W. P. I. 327.

²⁾ См. W. P. III. 275.

Обращаясь къ виллѣ, которая можетъ сравняться съ высокими башнями, построеннымъ легендарнымъ Кракусомъ, поэтъ просить ее благосклонно принять новаго владѣльца:

salve: laborum perfugium, parens

Tranquillitatis, pax animi, quies

Molestiarum, mater otii,

Hospitiumque novem sororum.

и до самой глубокой старости поить его изъ своихъ прозрачныхъ родниковъ.

Въ 1579 году былъ взятъ Полоцкъ. Искреннія желанія поэта исполнились: война, которую онъ такъ горячо проповѣдывалъ, закончилаась побѣдой. Тогда Кохановскій пишетъ XVI оду „De expugnatione Polottei“¹⁾. Стихотвореніе начинается обращеніемъ къ Мельпоменѣ съ просьбой воспѣть на златострунной лирѣ короля, который своими побѣдами возвратить Польшѣ ея былые тріумфы. Баторій не заботится о роскоши, ему не нужно ассирийскихъ благовоній и мягкихъ тирійскихъ ложей; онъ желаетъ только пріобрѣсти себѣ славу своеї образдовой жизнью и неустанными, трудами. Испугавшись такого короля, московскій Марсъ

Praesidiis trepidas per urbes

Firmis relictis, ipse sibi loco

Duxit cavendum, et calcar equo aliti

Subjecit, extenditque cursus

Ad Boreae usque rigentis ortus,

подобно тому, какъ волкъ бросаетъ свою добычу, при видѣ приближающагося льва. Гдѣ только король ни появлялся со своимъ славнымъ войскомъ, все вокругъ пылало страшнымъ огнемъ, все уничтожалъ мечъ безъ всякой пощады,

Ut cum per imbris continuos ruit

Inflatus amnis, spes segetum natant,

Alnique procumbunt, casaeque

Vorticibus rapiuntur atris,

¹⁾ См. W. P. III. 279.

Colles in altos it propere excitus

Prae se universum pastor agens gregem,

Cursumque torrentis sonorum

Aure procul stupet insolenti.

Одинъ только Полоцкъ представлялъ серіозный отпоръ для польского рыцарства. Даже сама природа благопріятствовала осажденнымъ, превративши землю послѣ долгихъ дождей въ сплошное болото, которое не могло выдержать тяжести орудій. Первый ясный день былъ началомъ боя; огнennыя пули подожгли крѣпость сразу въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Радостный кликъ раздался въ королевскомъ войске. Въ заключеніи поэтъ снова обращается къ музѣ, приглашая ее рассказать всѣ чудеса храбрости, которая оказало при этомъ польское войско, благодаря Божьей помощи и мужеству Баторія, котораго

. . . . nos et armis insuperabilem,

Et pace summis principibus parem,

Hunc et fide arguta et canamus

Voce sono fidis audiente.

Не смотря на нѣкоторую сухость и условный характеръ, эта ода не лишена довольно красивыхъ образовъ, какъ, напримѣръ, сравненіе отступленія русскихъ войскъ при видѣ Баторія съ волкомъ, бросающимъ добычу при видѣ льва. Такъ же хорошо сравненіе опустошительной войны съ разлившейся рѣкою. Словомъ, эта ода не такъ уже слаба и холодна, какъ утверждаютъ нѣкоторые критики.

Въ томъ-же 1579 году вышли „Феномены“ Атата¹⁾ въ латинскомъ переводѣ Кохановскаго. Нидецкій въ своемъ изданіи „Фрагментовъ“ Цицерона свидѣтельствуетъ, что польскій текстъ „Феноменовъ“ былъ извѣстенъ ему уже въ 1565 году. Побудительной причиной Кохановскому для двойного перевода этого скучнаго произведенія служило, по всей вѣроятности, свойственное всѣмъ гуманистамъ, боготвореніе личности Цицерона. Можеть быть, другъ нашего поэта, Нидецкій, занимаясь фрагментами этого писателя, среди которыхъ были и отрывки перевода „Феноменовъ“ Атата, принадлежащіе перу самого Цицерона, заинтересовалъ ими Кохановскаго. Въ предисловіи къ латинскому тексту „Атата“ напѣ поэтъ слѣдующимъ образомъ

¹⁾ См. W. R. III. 383.

объясняетъ цѣль своего труда: „великий Цицеронъ переводилъ величайшаго Арату латинскимъ стихомъ, но, къ сожалѣнію, его переводъ сохранился только въ испорченныхъ отрывкахъ. Сверхъ того, знаменитый римскій ораторъ не смогъ сравняться въ своемъ переводѣ съ божественнымъ Аратомъ, такъ какъ онъ придерживался текста своего предшественника на этомъ поприщѣ, Авіена, ближе, чѣмъ греческаго оригинала.“ Для гуманиста XVI вѣка не могло быть высшей чести, какъ реставрировать и пополнить цицероновскіе отрывки и приблизить его текстъ насколько возможно къ греческому оригиналу. Принимаясь за свой трудъ, Кохановскій думалъ: „*non ingratum studiose juventuti futurum, si quae cum integris in hoc genere Graecis conferri possint, integra quoque Latina extarent.*“ Другія основанія выражены имъ въ посвященіи Замойскому. По словамъ поэта, звѣзды указывали путь моряку и время полевыхъ работъ земледѣльцу. Науку ихъ познанія выразилъ въ стихахъ Цицеронъ, трудъ котораго отъ времени пришелъ въ совершенный упадокъ. Вслѣдствіе этого и пахарь, и морякъ потеряли самыя необходимыя для своей дѣятельности свѣдѣнія. Жалѣя ихъ, а также и судьбу творенія Цицерона, Кохановскій рѣшилъ возстановить первоначальный видъ испорченного отъ времени произведенія, чтобы оно могло принести людямъ пользу, а Цицерону славу. Трогательно здѣсь уваженіе гуманиста къ памяти Цицерона, а также искреннее желаніе принести своимъ переводомъ практическую пользу. Послѣдняя мысль указываетъ на то вліяніе, какое могла имѣть на нашего поэта распространенная въ то время вѣра въ астрологію и непосредственную связь судьбы человѣка съ теченіемъ планетъ. Въ этомъ трудѣ Кохановскій обнаружилъ громадныя филологическія способности. Онъ не придерживался стѣпо Нидецкаго и другихъ комментаторовъ Цицерона, а съ критическимъ чутьемъ замѣчалъ и исправлялъ ихъ погрѣшности. Какъ въ латинскомъ, такъ и въпольскомъ текстѣ „Арата“ стихъ „звездѣ“ отличается выдержанностью и гладкостью.

Въ 1579 году была впервые напечатана „*Psalterz*“¹⁾ Кохановскаго. Въ своемъ посвященіи этого перевода Мышковскому поэтъ говорить о себѣ, что ему не разъ приходилось переживать литературныя неудачи. Только у епископа всегда находили радуш-

¹⁾ См. W. P. I. 3.

ный приемъ и надлежащую оценку его оскорбленныя музы. Неизвѣстно, какія именно это были неудачи, какія стихотворенія нашего поэта не пользовались въ свое время успѣхомъ. Изъ этого посвященія видно только, что Мышковскій оказалъ громадную услугу польской поэзіи, поддержавши въ Кохановскомъ вѣру въ его талантъ. По словамъ поэта, онъ

. . . . serca mi dodał, żem się gzymy swemi
Ważył zetrzeć z poety co znakomitrzemi
I wdarłem się na skałe pięknej Kallipy,
Gdzie do tych miast nie było znaku polskiej stopy.

Въ награду за это благодарный поэтъ посвящаетъ ему „żniwa swego pierwszy snop“—Псалтырь.

(Мысль о благосклонности Мышковскаго къ музамъ Кохановскаго мы видѣли еще въ десятой элегіи третьей книги.)

Оригиналомъ для Псалтыри нашего поэта, противъ ожиданія, послужила не Вульгата, а латинскій стихотворный переводъ шотландца, Георга Буханана, напечатанный въ 1565 году, подъ заглавіемъ „*Ragaphrasis psalmorum*.“ Автору этого труда, извѣстному своими рѣзкими нападками на католическое духовенство, посвятилъ Кохановскій восторженную эпиграмму.¹⁾

По словамъ послѣдняго, Бухананъ избавилъ отъ напрасныхъ трудовъ всякаго, кто захотѣлъ бы пріобрѣсти себѣ поэтическую извѣстность посредствомъ перевода гимновъ Иерусалимскаго царя на латинскій языкъ.

Nam quicunque opus hoc aggressi aliquando fuerunt,
Tanto intervalllo tu, Bucanane, praeis
Omnibus, ut veniens aetas quoque non videatur
Ereptura tuis hoc decus e manibus.

Парафраза Буханана сдѣлана по еврейскому оригиналу, который дѣлится на пять книгъ, чего нѣтъ въ Вульгатѣ, гдѣ группировка псалмовъ мѣстами совершенно иная, такъ, напримѣръ, 9 и 10 псалмы еврейского текста соединены въ одинъ 9, 113 составленъ изъ 114 и 115 еврейскихъ псалмовъ. Кромѣ того, 116 еврейскій псаломъ разбитъ въ Вульгатѣ на два: 114 и 115, 146 и 147 еврейскаго текста

¹⁾ См. W. R. III. 225.

слиты здѣсь въ одинъ, такъ что только въ трехъ послѣднихъ псалмахъ числа Вульгаты сходятся съ еврейскимъ текстомъ.

Тѣ же самые внѣшніе признаки имѣеть „Praephysis psalmorum“ шотландскаго поэта, который здѣсь впервые отступаетъ отъ традиціоннаго въ латинскихъ стихотворныхъ переводахъ Псалтыри элективскаго размѣра и прибѣгаєтъ къ самому разнообразному построенію строфъ.

„Psalterz“ Кохановскаго отличается такими же точно внѣшними признаками, даже разнообразіе размѣровъ вполнѣ совпадаетъ со строфами Буханана, у котораго заимствовано нашимъ поэтомъ, въ общей сложности, около восьмисотъ стиховъ. Изъ всѣхъ 150 псалмовъ Кохановскаго свободны отъ вліянія шотландскаго поэта только тридцать три. Это, большей частью, короткіе и бѣдные по содержанию псалмы, переводъ которыхъ не представлялъ особенной трудности, или тѣ, въ которыхъ Кохановскій встрѣчалъ отраженіе своихъ собственныхъ мыслей, чувствъ и душевныхъ состояній. Таковы, напримѣръ, слѣдующіе псалмы: 18, 85, 121, 123, 131, 140 и другіе. Къ той же категоріи самостоятельныхъ псалмовъ нужно отнести тѣ изъ нихъ, которые, по всей вѣроятности, были написаны нашимъ поэтомъ въ ранней молодости, каковы, напримѣръ: 10, 91 и 103. Отдѣльные стихи изъ послѣдняго псалма мы встрѣчали въ двухъ раньше написанныхъ произведеніяхъ нашего поэта: „Zuzanna“ и „Dziewosłab“. Весьма возможно, что нѣкоторые изъ такихъ псалмовъ Кохановскій поправлялъ по тексту Буханана, прежде чѣмъ отдать ихъ въ печать. Слѣды подобной отдѣлки можно замѣтить, напримѣръ, въ 105 и 106 псалмахъ. Переводъ Кохановскаго является плодомъ не одной только ремесленной работы; большая часть его псалмовъ проникнута настоящимъ творческимъ вдохновеніемъ, въ нихъ излилъ поэтъ всѣ свои собственные душевныя тревоги и радости. Въ этомъ отношеніи „Psalterz“ можно рассматривать отчасти какъ субъективное произведеніе, въ которомъ отразились многія стороны жизни Кохановскаго. Ближе присмотрѣвшись къ Псалтыри нашего поэта, нетрудно замѣтить въ ней цѣлый рядъ псалмовъ, посвященныхъ описанію невзгодъ придворной жизни. Особенно любопытенъ въ этомъ отношеніи 35 псаломъ, гдѣ жалобы на тяжелую обстановку, въ которой ему приходилось жить, достигаютъ особенной силы. Возьмемъ, напримѣръ, хоть слѣдующее мѣсто оттуда:

Głodni pochlebce czci mi uwłaczali,
Mną sobie gęby dworni wymywali
Darmozjadowie.

Если мы сопоставимъ эти слова съ посвященіемъ Мышковскому, гдѣ поэтъ говоритьъ:

Jedeneś ty nalezion u którego miały
Miejsce Muzae wzgardzone...

то придворная жизнь Кохановскаго въ Краковѣ получаетъ довольно яркое освѣщеніе.

„Psałterz“ прежде всего поражаетъ совершенствомъ польского языка, который прекрасно передаетъ самыя возвышенныя и глубокія движенія человѣческой души, достигая при этомъ рѣдкой красоты и силы. Здѣсь Кохановскій поставилъ свой родной языкъ на ту высоту, которая сдѣлала доступной для послѣдняго всѣ виды и формы литературныхъ произведеній.

Другимъ достоинствомъ перевода Кохановскаго нужно считать разнообразіе размѣровъ. Чаще всего онъ пользуется тринадцатисложнымъ, какъ наиболѣе свойственнымъ польскому стиху. (Впервые этотъ размѣръ встрѣчается у Рея). Въ наиболѣе грустныхъ и жалобныхъ псалмахъ Кохановскій прибѣгаєтъ къ двумъ размѣрамъ, которые однимъ лишь своимъ необыкновеннымъ видомъ производятъ сильное впечатлѣніе: таковъ, во первыхъ, четырнадцатисложный размѣръ съ двумя цезурами послѣ четвертаго и восьмого слоговъ, во вторыхъ, болѣе разнообразный, который дѣлится на четырехстрочныя строфы. Первый и третій стихъ состоять изъ тринадцати слоговъ, второй и четвертый изъ десяти. Сразу такой размѣръ можетъ показаться недостаточно гармоничнымъ, но, освоившись съ нимъ, не трудно почувствовать его красоту и звучность. Примѣромъ первого размѣра можетъ служить 80 псаломъ, второго—107. Въ хвалебныхъ псалмахъ, гдѣ нѣть скорбнаго тона, Кохановскій прибѣгаєтъ къ сапфическому размѣру, какъ, напримѣръ, въ 65 псалмѣ, два послѣднихъ стиха котораго наиболѣе распространены въ польской поэзіи. Кромѣ того, пользовался Кохановскій иногда шестистрочной строффой, написанной десятисложнымъ размѣромъ (76 пс.)¹⁾. Даже легкія ч-

¹⁾ Примѣръ секстины мы имѣемъ въ седьмомъ псалмѣ.

твёрдостишия, написанныя восьмисложнымъ размѣромъ, съ характеромъ трохея, примѣнялъ иногда нашъ поэтъ къ своимъ переводамъ (79 пс.). Красива также строфа, въ которой два первыхъ стиха состоять изъ шести слововъ, слѣдующіе два переходятъ въ болѣе медленный темпъ и насчитываютъ одиннадцать слововъ (87 пс.). Трудно перечислить всѣ разнообразные размѣры подъ влияниемъ парофразы Буханана применённые Кохановскимъ къ своему переводу. Но „Psalterz“ не лишена нѣкоторыхъ, правда, весьма незначительныхъ недостатковъ, преимущественно въ риѳомовкѣ. Такъ, напримѣръ, здѣсь часто встречаются глагольныя риѳомы, прилагательныя и причастія въ томъ же самомъ родѣ, числѣ и падежѣ; сравнительныя и превосходныя степени также риѳумуются между собой.

Богодухновенные гимны Псалмопѣвца Давида, помимо своего канонического значенія пророческой книги, поражаютъ рѣдкой и возвышенной простотой своей поэзіи. Мало кому изъ стихотворныхъ переводчиковъ удавалось схватить самый духъ этого произведения. Нечего и говорить, что предшественники Кохановскаго, Тшицѣскій и другіе, не могли совладать съ этой задачей. Только нашъ поэтъ достигъ въ данномъ случаѣ такого совершенства, что его псалмы вошли въ молитвенники, сдѣлались достояніемъ народа и еще до сихъ поръ не утратили своей поэтической свѣжести. Даже русская литература обязана Кохановскому переводомъ псалмовъ Симеона Полоцкаго¹⁾, въ 84 псалмахъ котораго размѣръ совершенно сходенъ съ соответствующими псалмами Кохановскаго.

Будучи глубоко религіознымъ человѣкомъ, Кохановскій, какъ мы видѣли, еще въ молодости касался библейскихъ сюжетовъ²⁾. Въ одной изъ своихъ падуанскихъ элегій онъ обнаружилъ рѣдкое для своего времени пониманіе христіанской идеи о непротивлѣніи злу насилиемъ въ томъ мѣстѣ, где онъ ставитъ напрѣмъ на видъ, что апостолу Петру запретилъ Христосъ обнажать мечъ даже въ защиту своего Господа.

Такимъ же возвышеннымъ, истинно христіанскимъ міросозерцаніемъ, проникнута известная пѣснь „О благодѣяніяхъ Божихъ“ — „Czego chcesz od nas Panie“³⁾, о которой долгое время была рас-

¹⁾ См. Н. Глокке, Риѳометворная Псалтырь Симеона Полоцкаго и ея отношеніе къ Псалтыри Яна Кохановскаго. Киевъ. 1896 г.

²⁾ См. „Пѣснь о потопѣ“.

³⁾ См. W. P. I. 355.

пространена слѣдующая легенда: Кохановскій прислалъ ее изъ Парижа на одинъ изъ сеймиковъ въ Сандомирскомъ воеводствѣ, на ко- торомъ присутствовалъ молодой Замойскій и Николай Рей. Послѣд- ній, прочитавши это стихотвореніе, такъ выразился обѣ его авторѣ:

Temu w nauce dank przed sobą dawam

I pieśń bogini słowieńskiej oddawam.

Не входя въ подробную оцѣнку этой легенды, мы уже по одному тому не можемъ признать ея достовѣрность, что въ разбираемой нами пѣсни встрѣчаются реминисценціи изъ 9 псалмовъ, а именно: 19, 24, 33, 36, 67, 74, 89, 102 и 145. Слѣдовательно, она должна была возникнуть уже послѣ перевода вышеупомянутыхъ псалмовъ, большинство которыхъ не можетъ быть отнесено къ возникшимъ въ ран- ніе годы жизни нашего поэта, такъ что, не зная въ точности хро- нологической даты этого стихотворенія, мы считаемъ наиболѣе правиль- нымъ приступить къ его разбору непосредственно послѣ „Псалтыри.“

Изъ глубины благодарного сердца поэта выливается восторжен- ное славословіе Богу, Подателю безчисленныхъ даровъ и благодѣяній, Котораго Церковь не въ силахъ обнять, такъ какъ Онъ пре- бываетъ всюду,

I w oſtchłaniach i w morzu, na ziemî, na niebie.

Ему не нужно золота, такъ какъ Онъ владѣеть всѣми сокровищами міра. Наше благодарное сердце является лучшей жертвой для Него Въ порывѣ безграницаго восторга передъ всемогуществомъ Божиимъ восклицаетъ поэтъ:

Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował

I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował,

Tyś fundament założył nieobeszlej ziemi

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

По Твоему повелѣнію море стонть въ своихъ берегахъ, не смѣя выйти изъ положенныхъ ему предѣловъ, рѣки наполняются обиль- ными водами, бѣлый день и темная ночь знаютъ свое время; для Тебя земля одѣвается весною различными цветами, лѣто ходить въ вѣнцы изъ колосьевъ, осень приносить вино и всевозможные фрукты, послѣ нея наступаетъ зима, свободная отъ всякихъ трудовъ.

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe ziόła padnie,
A zagożałe zboża deszcz ożywia snadnie.

Всякая тварь смотритъ на Твою щедрую руку, ожидая отъ нея всего необходимаго для своего существованія.

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie;
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas póki raczysz na tej niskiej ziemi,
Jedno niech zawsze będziem pod skrzydłami Twemi!

Трудно выразить въ болѣе красивой и совершенной формѣ безграничную признательность человѣка передъ величиемъ и щедростью Всемогущаго Бога. Рѣдкой силой и звучностью отличается здѣсь тринацатисложный стихъ съ цезурой послѣ седьмого слога. Отдельные образы, правда, большей частью, заимствованные изъ псалмовъ, съ такимъ искусствомъ введены Кохановскимъ въ это стихотвореніе, что у насъ не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, когда оно было написано. Создать такую совершенную форму могъ только вполнѣ зрѣлый художественный талантъ. Одно только мѣсто въ разобранномъ стихотвореніи можно считать заимствованнымъ у классиковъ; это именно: „*w kłosianym wieńcu lato chodzi*“. У Овидія мы встрѣчаемъ аналогичный образъ:

Stabat nuda Aestas et spicæa serta gerebat¹⁾.

Это стихотвореніе проникнуто самой горячей вѣрой и совершенно чужда ему католическая узость понятій. Здѣсь Кохановскій выразилъ истинно-христіанскую идею о вселенской церкви, которую невозможно пріурочить къ одному только Риму; по нашему мнѣнію, такое именно объясненіе слѣдуетъ придать его словамъ:

Kościół Cię nie ogarnie, wszędzie pełno Ciebie.

Кромѣ этой возвышенной пѣсни многія стихотворенія Кохановскаго проникнуты религіознымъ духомъ и почти во всѣхъ подобныхъ пѣсняхъ нашего поэта можно замѣтить влияніе Псалтыри.

Возьмемъ, напримѣръ, пятую пѣснь фрагментовъ²⁾, въ которой поэтъ возражаетъ противникамъ вѣры въ Промыселъ Божій:

¹⁾ См. Ovidii Metamorph. II. 28.

²⁾ См. W. P. II. 465.

Przeciwko nim świadczą nieba,
Świadczą gwiazdy niezliczone
Na powietrzu zapalone.

Kiedy słońce swego wschodu
Aby chybilo zachodu?
Kiedy miesiąc jasne rogi
Skłonił od swej zwykłej drogi?

Этому не противоречитъ счастье, которымъ иногда пользуются на землѣ злые люди, такъ какъ со временемъ они получатъ свою мзду. Далѣе поэтъ говорить о спасительной силѣ молитвы и о покровительствѣ Божьемъ всякому, кто вѣруетъ въ Него:

Wzywałem Cię, wieczny Boże,
Idąc w wieczór na swe łóże,
Wzywałem Cię o północy,
A byłeś mi ku pomocy.

Врагъ хотѣлъ напасть на спящаго поэта, но послѣдній проснулся и онъ обратился въ бѣгство:

Ani miecz, ani mię siła
Zlej przygody obroniła, —
Jeno szczerza łaska twoja,
Co wyznawa dusza moja.

Въ благодарность за это онъ обѣщаетъ воздать словесловіе Богу въ Его жилищѣ, среди сонма вѣрующихъ, чтобы всѣ знали, что Господь является заступникомъ добродѣтельныхъ людей.

Это красивое стихотвореніе, написанное легкимъ восьмисложнымъ стихомъ, съ характеромъ трохея, сплошь проникнуто реминисценціями изъ псалмовъ.

Нѣсколько самостоятельнѣе въ этомъ отношеніи третья пѣснь фрагментовъ¹⁾, гдѣ поэтъ говоритъ о проявленіяхъ Божьяго величія въ Его дѣлахъ:

Kto miał rozumu, kto tak wiele mocy,
Że świat postawił krom żadnej pomocy?

¹⁾ См. W. P. II. 462.

Kto wladnie niebem, kto gwiazdami rządzi,
Że się z nich żadna nigdy nie obłądzi?

Торжество злыхъ не можетъ продолжаться вѣчно, добрые станутъ наконецъ причастниками Божьей славы. Для этого необходимо познавать Бога, полагаться на Него во всѣхъ дѣлахъ своихъ, воспитывать дѣтей въ страхѣ Божьемъ,

... niech nie będą nazbyt pieszczonemi,
Niech przewykają spać na gołej ziemi,

а когда они подростутъ, пусть пріучаются сражаться съ татарами;

Niech wzducha żona mężnego tyrana
Patrząc nań z murów i dorosła panna.

Przed śmiercią żaden schronić się nie może
I pierzchliwemu prędkość nie pomoże,
Azaż nie lepiej sławy swej poprawić,
Niż próżno siedząc w cieniu wiek swój trawić.

Конецъ этого стихотворенія касается излюбленныхъ политическихъ теорій Кохановскаго обѣ изнѣженности молодежи и необходимости воскресить воинскую доблестъ. Въ остальномъ оно сходится какъ съ двумя предыдущими стихотвореніями, такъ и со многими псалмами. Въ своихъ произведеніяхъ религіознаго характера Кохановскій нигдѣ не обращается ни къ святымъ, ни къ Божьей Матери, особенно читомъ католиками. Вместо этого мы встрѣчаемся въ нихъ на каждомъ шагу съ образами, заимствованными изъ псалмовъ и изъ Библіи, что составляетъ главную особенность протестантской религіозной поэзіи. Кромѣ того, подобная стихотворенія показываютъ въ нашемъ поэть безграничную вѣру въ Промыселъ Божій, въ торжество добродѣтели надъ порокомъ и въ милосердіе Божіе къ смиреннымъ. Возвышенная чисто библейская простота и рѣдкая образность, при законченной и въ высшей степени совершенной формѣ, ставятъ религіозныя стихотворенія Кохановскаго такъ высоко, что ихъ въ этомъ отношеніи не превзошла даже современная польская лирика.

III.

Янъ Кохановскій въ своей семье. Смерть его дочери Уршули, „Трены“, ихъ содержаніе. Попытка определенія ихъ хронологической послѣдовательности. Разборъ треновъ. Ихъ литературное значеніе.

Постоянно занятый хозяйственными заботами и усиленнымъ литературнымъ трудомъ, Кохановскій не пользовался особенно крѣпкимъ здоровьемъ. Обладая достаточной энергией, онъ старался разговаривать иногда угнетавшую его тоску, но его натурѣ не было свойственно постоянное веселье; ближе ей была благородная, тихая, возышающая душу грусть. Жена поэта, вѣчно занятая домашними хлопотами, какъ съ юморомъ онъ изобразилъ ее въ двадцатой пѣсни первой книги, не могла способствовать веселью въ ихъ Чернолѣсѣ. Одна только дочь Кохановскаго, маленькая Уршуля, оживляла скромную и однообразную жизнь своихъ родителей. Она, по словамъ самого поэта (VIII тренъ), „nie pozwała matce się frasować“, отцу—изнурять себя „zbytcznem myśleniem“, наполняя домъ своимъ дѣтскимъ лепетомъ, смѣхомъ и пѣснями. Когда въ 1579 году ея не стало, глубокое горе должно было поразить осиротѣлага поэта, который лишился своего единственного утѣшения и отрады. Съ ея смертью Кохановскій терялъ наслѣдницу своей любви, своего поэтическаго дарованія. Послѣ этого намъ становятся понятными тѣ несвойственные мужинѣ слезы, которые слышатся въ написанныхъ имъ по этому поводу стихотвореніяхъ, такъ называемыхъ „тренахъ“.

Посвященіе умершей дочери отличается въ высшей степени трогательнымъ характеромъ. Изъ глубины отцовскаго сердца вылилось оно и его заключительныя слова: „niemasz cię, Orszulo moja“ какъ нельзя лучше выражаютъ состояніе духа поэта въ тотъ моментъ, когда онъ рѣшился облегчить свое горе созданіемъ произведенія, которое, наряду съ его именемъ, обезсмертило имя его малютки—дочери, какъ никогда сонеты Петрарки сдѣлали незабвеннымъ имя Лауры.

Эпиграфомъ къ своему произведенію Кохановскій беретъ двустишіе Цицерона:

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
Juppiter auctiferas lustravit lumine terras,

которое переведено изъ 136—137 стиховъ XVIII пѣсни Одиссеи Гомера¹⁾. Этими словами поэтъ какъ бы оправдывается въ такомъ сильномъ выраженіи своихъ родительскихъ чувствъ, которое совершенно противорѣчило суровому духу его времени. Онъ какъ бы хочетъ выразить ту мысль, что скорбь въ трудныя минуты жизни врождена каждому человѣку. Название „Трены“ взято имъ изъ греческаго языка (*Θρῆνος*—плачъ).

Собираясь въ первомъ тренѣ оплакать смерть своего любимаго ребенка, Кохановскій для этого хочетъ слить воедино всѣ выраженія горя, къ которымъ когда-либо прибѣгало человѣчество еще съ самыхъ древнѣйшихъ временъ. Похищеніе Уршули безжалостной смертью поэтъ сравниваетъ съ нападенiemъ хищника на соловыиное гнѣздышко, когда мать готова пожертвовать жизнью, напрасно стараясь защитить своихъ птенцовъ. Оправдываясь передъ тѣми, которые выражаютъ мысль о тщетности слезъ, поэтъ въ отчаяніи восклицаетъ:

Cóz prze Bóg żywy nie jest prózno na świecie?

Wszystko prózno macamy gdzie miękcej w rzeczy,

A ono wszѣdy ciśnie: błąd wiek czowiecza.

Въ заключеніе онъ останавливается надъ разрѣшеніемъ дилеммы, что лучше: дать волю выраженію своей скорби, или бороться съ природой, всячески стараясь скрыть свои чувства?

Во второмъ тренѣ Кохановскій говоритъ, что ему лучше было бы слагать колыбельныя пѣсни, чѣмъ плакать надъ своимъ ребенкомъ. Съ одинаковой свободой онъ не могъ-бы писать въ томъ и другомъ родѣ поэтическихъ произведеній. Колыбельная пѣсня показалась ему слишкомъ легкой и незначительной для его зрѣлой музы; тогда поразившее поэта несчастье заставило его излить въ стихахъ свои слезы:

Ani mi teraz żacno dowiadać się o tym,

Jaka mię z płaczu mego czeka cześć na potym,

говорить онъ, интересуясь судбою своихъ треновъ. Далѣе поэтъ съ сожалѣніемъ вспоминаетъ о томъ, что раньше у него не было же-

¹⁾ Приведенное двустишие сохранилось только въ сочиненіи блаженнаго Августина „De civitate Dei“, съ которымъ, слѣдовательно, былъ знакомъ Кохановскій.

ланія пѣть для живыхъ дѣтей, а теперь пришлось слагать свои пѣсни для умершихъ. Снова переходя къ отчаянію, съ душевною болью вскицаєтъ несчастный поэтъ:

O prawo krzywdy pełne!

Takli moja Orszula, jeszcze żyć na świecie
Nie umiawszy musiała w ranym umrzeć lecie?

A bodaj ani była świata oglądała.

Вместо утѣшенія, котораго родители могли ждать отъ нея въ будущемъ, она оставила ихъ въ глубокомъ горѣ.

Въ третьемъ тренѣ поэтъ объясняетъ смерть своей дочери тѣмъ, что она пренебрегла весьма незначительнымъ наслѣдствомъ, которое совершенно не соотвѣтствовало богатымъ задаткамъ ея натуры. Съ грустью вспоминаетъ несчастный отецъ милый лепеть своего ребенка, его забавы и „wdzięczne ukłony“. Зная, что она никогда не вернется, самъ поэтъ готовится пойти по ея слѣдамъ:

Tam cią ujrzę, da Pan Bóg, a ty więc z drogiemi
Rzuć się ojcu do szyje gęczynkami swemi.

Съ такой трогательной нѣжностью заканчиваетъ Кохановскій свой тренъ, съ наивною вѣрой придавая загробной жизни земной характеръ.

Въ слѣдующемъ тренѣ убитый горемъ отецъ говоритъ, что смерть, похитивши его ребенка, стряхнула съ дерева недозрѣлый плодъ и растерзала сердце несчастнымъ родителямъ. Въ какомъ-бы возрастѣ ни умерла Уршуля, скорбь поэта имѣла бы всегда одну и ту же силу. Если-бы даровалъ ей Богъ болѣе долгую жизнь, то она могла бы доставить отцу много утѣшенія. По крайней мѣрѣ, тогда онъ могъ бы спокойно умереть, не чувствуя у себя на сердцѣ такой глубокой скорби, съ которой ничто не можетъ сравниться въ этой земной жизни. Поэта не удивляетъ, что Ніоба окаменѣла при видѣ смерти своихъ дѣтей.

Въ пятомъ тренѣ Кохановскій сравниваетъ свою Уршулю съ молодымъ побѣгомъ оливковаго дерева, который былъ срѣзанъ старателемъ садовникомъ, расчищавшимъ запущенный садъ отъ колючекъ и крапивы.

. . . O zła Persephono!

Mogłaś tak wielu żam dać upłyńać płono?

Такими словами заканчиваетъ поэтъ свой тренъ.

Изъ слѣдующаго трена мы узнаемъ, что Уршуля обладала поэтическимъ даромъ и никогда не замыкала устъ своихъ, какъ соловей въ саду въ продолженіе цѣлой ночи распѣвая новыя пѣсенки, которыя она сама же и слагала. Ей отецъ предполагалъ оставить вмѣстѣ съ частью Чернолѣса и свою лютню, какъ будущей славянской Сафо, которая, къ его глубокому горю, смолкла слишкомъ рано. До самой послѣдней минуты она не переставала пѣть. Поцѣловавши свою мать, она говорила ей на прощаніе:

Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę
Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę,
Przyjdzie mi klucze położyć, samej przecz jechać,
Domu rodziców swych miłych wiecznie zaniechać.

Другихъ ея словъ горе не даетъ вспомнить отцу, который удивляется, какъ отъ нихъ не разорвалось сердце матери.

Обращаясь къ платьицамъ своей дочери, въ седьмомъ тренѣ поэтъ говоритъ, что одинъ ихъ видъ увеличиваетъ его скорбь, когда онъ подумаетъ, что уже больше никогда они не понадобятся ей. Не такое ложе готовила ей бѣдная мать и не такимъ приданымъ хотѣла снабдить свою дорогую дѣвочку. Мать нарядила ее теперь въ рубашечку и скромное платьице, а отецъ положилъ ей подъ изголовье комокъ сырой земли.

Niestetysz, i posag i ona
W jednej skrzynce zamkniona!

Въ восьмомъ тренѣ поэтъ описываетъ, какъ опустѣлъ его домъ послѣ смерти Уршули,

Jedną maluszką duszą tak wiele ubyło.

Она говорила и пѣла за всѣхъ, весь домъ оживляла своей рѣзвостью, не позволяла матери тосковать и отцу изнурять себя чрезмѣрной умственной работой, обнимая ихъ поочередно и забавляя своимъ мильнымъ смѣхомъ:

Teraz wszystko umilkło, szczerze pustki w domu,
Niemasz zabawki, niemasz rozśmiać się nikomu:

Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
A serce swej pociechy darmo upatruje.

Въ слѣдующемъ девятомъ тренѣ поэтъ выражаетъ желаніе пріобрѣсти себѣ хоть бы за дорогую цѣну мудрость, которая, если только говорятьъ правду, можетъ искоренять всякую тоску и обращать человѣка чуть ли не въ ангела, не знающаго что такое скорбь, не чувствующаго тоски, свободного отъ несчастій и страха. Для мудрости всѣ человѣческія дѣла—пустяки; и въ горѣ, и въ радости она сохранияетъ одинаковое состояніе духа, не боится смерти и остается всегда неизмѣнной. Она измѣряетъ богатство не золотомъ и несмѣтными сокровищами, а достаткомъ въ удовлетвореніи природныхъ потребностей. Своимъ проницательнымъ окомъ, отъ которого ничто не укроется, мудрость подъ золоченою кровлей замѣчаетъ бѣдняка и не завидуетъ счастью живущихъ умѣренно. Всю жизнь потратилъ поэтъ на то, чтобы стать у ея порога, а теперь судьба внезапнобросила его съ высшихъ ступеней лѣстницы, ведущей въ храмъ мудрости, и смысла съ толпой обыкновенныхъ людей.

„Orszulo moja wdzięczna“, спрашиваетъ поэтъ въ десятомъ тренѣ:
„gdzieś mi się podziała?

W którą stronę, w którąś się krainę udała?
унеслась ли ты въ надзвѣздныя обители и находишься тамъ въ сонмѣ ангелочековъ, или взята въ рай, или попала на Острова Блаженныхъ? Везетъ ли тебя Харонъ по печальнымъ озерамъ и, напоивши водою забвенія, лишаетъ тебя возможности слышать мои рыданія? Или ты превратилась въ соловья, или пошла туда, гдѣ была еще до своего рожденія?

Gdzieśkolwiek jest, jeśli jest, lituj mej żałości!
A nie możeszli w onej dawnej swej całości,
Pocieszmię, jako możesz a stań się przedemną
Lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną.

Здѣсь, какъ мы видимъ, отчаяніе поэта доходитъ до своихъ крайнихъ предѣловъ: онъ начинаетъ сомнѣваться во всемъ, даже въ безсмертіи души. Въ томъ же духѣ продолжаетъ онъ говорить въ слѣдующемъ тренѣ, повторяя слова Брута, что добродѣтель ничтожна, съ какой стороны ни взглянуть на нее. Ни благочестіе, ни кротость

не спасали никого отъ бѣдствій. Надъ всѣми людьми властвуетъ какою-то невѣдомый врагъ, который сражаетъ всѣхъ безъ разбора, добродѣтельныхъ и порочныхъ, а мы, ничего не зная, гордимся нашимъ разумомъ, поднимаемся до небесъ, стараясь разглядѣть божественные тайны. Но взоръ смертной зѣницы слишкомъ слабъ для этого. Насъ занимаютъ ничтожные и обманчивые сны, которые никогда не сбываются въ дѣйствительности. Въ заключеніе поэтъ говоритъ, что скорбь заставляетъ его терять и утѣшеніе, и благоразуміе.

Въ двѣнадцатомъ тренѣ Кохановскій выражаетъ предположеніе, что ни одинъ отецъ больше, чѣмъ онъ, не любилъ своего ребенка и не горевалъ его скорбью. Съ другой стороны, едва ли было когда нибудь хоть одно дитя, которое до такой степени, какъ его Уршуля, было бы достойно родительской любви. Перечисляя всѣ добродѣтели своей дочери, поэтъ говоритъ, что она безъ утренней молитвы не принималась за пищу; равнымъ образомъ, отходя ко сну, прощалась съ родителями и молилась за нихъ. Всегда спѣшила она встрѣтить отца и привѣтствовать его у самаго порога. Гдѣ только могла, она оказывала своимъ родителямъ помощь.

A to tak w małym wieku sobie poczynała,
Że więcej nad trzydzieści miesięcy nie miała
Tak wiele cnót jej młodość i takich dzielności
Nie mogła znieść: upadła od swejże bujności
Żniwa nie doczekawszy

Опечаленный отецъ сравниваетъ ее съ недозрѣлымъ колосомъ, который ему приходится снова сѣять въ грустную землю, погребая вмѣстѣ съ дочерью всю свою надежду:

Bo już nigdy nie wznidziesz, ani przed mojema
Wiekom wiecznie zakwitniesz smutnemi oczem.

Въ слѣдующемъ тренѣ несчастный отецъ выражаетъ желаніе, чтобы его Уршуля или никогда не умирала, или совсѣмъ не раждалась, такъ какъ ея прощальныя слова замѣнили въ его сердцѣ глубокимъ горемъ то маленькое утѣшеніе, которое она при жизни приносила поэту. Кохановскій говоритъ, что она обманула его, какъ призрачное сновидѣніе, которое богатствомъ сокровищъ тѣшить жадную мысль,

Potym nagle uciecze, a temu na jawi
Z onych skarbów jeno chęć a żadzą zostawi.

Она взяла съ собою половину души поэта, а другую оставила ему на вѣчную тоску. Въ заключеніе скорбный отецъ приказываетъ вырѣзать слѣдующую эпитафию на памятникъ своей дочери:

Orszula Kochanowska tu leży, kochanie
Ojcowe, albo raczej płacz i narzekanie.
Opakę to niebaczna śmierci udziałała,
Nie jać onej, ale mnie ona płakać miała.

Въ четырнадцатомъ тренѣ поэтъ ищетъ тѣхъ воротъ, черезъ которыя нѣкогда спускался Орфей въ подземное царство, чтобы черезъ нихъ проникнуть въ страну тѣней за любимой дочерью, въ надеждѣ смягчить Плутона при помощи своей лютни. Въ случаѣ неудачи поэтъ рѣшается остаться въ Тартарѣ, вмѣстѣ съ жизнью избавившись и отъ тоски.

Въ пятнадцатомъ тренѣ поэтъ ищетъ утѣшенія у златовласой Эрато и лютни, пока еще подобно Ніобѣ не обратился въ каменный столбъ. Думая, что зрелище чужихъ несчастій пріучаетъ человѣка легче относиться къ своему горю, поэтъ припоминаетъ миѳ о Ніобѣ и о гибели ея семи сыновей и столькихъ же дочерей:

Takie więc kwiaty leżą kosą podsieczone,
Albo deszczem gwałtownym na ziemię złożone.

Ніобу, желавшую смерти послѣ такого несчастья, постигла новая кара: она обратилась въ мраморный столбъ, продолжая лить горькія слезы, которая пробились сквозь камень источникомъ прозрачной воды, откуда пьютъ звѣри и птицы:

Ten grób nie jest na martwym, ten martwy nie w grobie,
Ale samże jest martwym, samże grobem sobie.

Не найдя утѣшенія въ созерцаніи чужого горя, поэтъ въ слѣдующемъ тренѣ хочетъ бросить лютню и разстаться съ жизнью. Онъ сомнѣвается въ томъ, живъ ли онъ, или его тѣшить обманчивый сонъ. По его словамъ, легко гордиться разумомъ, пока все человѣку благопріятствуетъ. Пользуясь достаткомъ, мы хвалимъ бѣдность, въ счастьѣ мы легко относимся къ горю, пока наша жизнь течетъ без-

мятежно, смерть намъ кажется пустякомъ, а стоитъ только приблизиться къ намъ горю и неминучей смерти, куда дѣвается мудрость и и краснорѣчивыя разсужденія о томъ, что вся вселенная—наше отечество! Цицеронъ готовъ былъ перенести всякое несчастье кромѣ позора, однако смерть дочери повергла его въ глубокую скорбь Римскій ораторъ считалъ смерть страшной только для порочнаго человѣка, тѣмъ не менѣе ему при всѣхъ его добродѣтеляхъ не хотѣлось умирать, когда онъ долженъ былъ сложить свою голову за неосторожныя рѣчи. Онъ доказывалъ другимъ, что мудрость учить переносить страданія, только себѣ оль не сумѣлъ доказать этого, и у него такъ же болѣла въ несчастьѣ душа, какъ и у нашего поэта. Человѣкъ не камень и не можетъ быть инымъ, чѣмъ создала его природа. Изнемогая отъ горя, поэтъ заканчиваетъ свой тренъ обращенiemъ ко времени, сглаживающему всѣ наши чувства:

Czasie, pożadnej ojczce niepamięci,

W co ani rozum, ani trafia święci,

Zgój smutne serce, a ten żal surowy

Wybij mi z głowy!

Въ семнадцатомъ тренѣ Кохановскій уже обращается къ Богу и говоритъ, что его коснулась Господня десница и отняла всѣ принадлежавшія ему радости. Встаетъ ли солнце, или гаснетъ, онъ постоянно испытываетъ неутолимую сердечную боль. Вездѣ можетъ человѣка постигнуть несчастье, отъ него мы не спасемся, если будемъ избѣгать поля битвы и бурного моря. Поэтъ вель самую скромную и уединенную жизнь, считая себя застрахованнымъ отъ зависти и несчастій, но Богъ, Который видѣть, чего нужно коснуться, и смѣется надъ человѣческими предосторожностями, поразилъ его тѣмъ сильнѣйшимъ ударомъ, чѣмъ въ большей безопасности онъ считалъ себя,

A rozum, który w swobodzie

Umiał mówić o przygodzie,

Dziś ledwe sam wie o sobie.

Напрасно люди стараются доказать, что несчастьемъ не слѣдуетъ называть бѣдствія. Поэту кажется безумнымъ тотъ, кто можетъ смеяться въ бѣдѣ. Кохановскій понимаетъ того, кто считаетъ слезы недостойной вещью, но такимъ доводомъ не въ силахъ сдержать своей собственной скорби,

Bo mając zranioną duszę,
Rad i nie rad płakać muszę.

Страданія поэта увеличиваются упреками тѣхъ, которые говорятъ, что слезы несогласны съ достоинствомъ мушкины. Онъ просить найти ему болѣе легкое средство для утоленія его скорби,

A ja zatem zy niech leje,
Bom stracił wszystkę nadzieję,
By mię rozum miał ratować:
Bóg sam mocen to hamować.

Восемнадцатый тренъ является полнымъ раскаяніемъ, въ которомъ поэтъ называетъ всѣхъ людей непослушными дѣтьми Божими, рѣдко вспоминающими Его въ счастливыя времена. Мы не замѣчаемъ, что все наше благополучіе зависитъ отъ Его милости и все оно скоро минетъ, если мы не будемъ благодарны за него Богу. Поэтъ молитъ Господа, чтобы Онъ держалъ насть въ своей власти и не позволялъ намъ гордиться временными благами, чтобы мы помнили Его хоть въ карахъ, если не хотимъ обращаться къ Нему, когда Онъ милостивъ. Пусть Онъ, какъ отецъ, караетъ насть; передъ Его гнѣвомъ мы растаемъ, какъ снѣгъ подъ лучами небеснаго солнца. Господь насть можетъ погубить, если надъ нами опустится Его тяжелая десница, но милосердіе Божіе прославлено отъ вѣка. Скорѣе міръ прекратитъ свое существованіе, чѣмъ Господь отвернется отъ смиреннаго, какъ бы долго послѣдній ни противился прежде Его повелѣніямъ. Въ раскаяніи заканчиваетъ поэтъ свой тренъ:

Wielkie przed tobą są wystepy moje,
Lecz miłosierdzie Twoje
Przewyssza wszystki złości;
Użyj dziś, Panie, nademną litości!

Въ девятнадцатомъ тренѣ Кохановскій разсказываетъ, что онъ долго не могъ сомнѣваться очей, томимый своимъ горемъ. Наконецъ, на разсвѣтѣ сонъ обнялъ поэта своими черными крылами. Тогда Кохановскому предстала его мать съ Уршулей на рукахъ. Дѣвочка имѣла такой видъ, въ какомъ она приходила обыкновенно по утрамъ къ отцу, чтобы прочесть утреннюю молитву. На ребенкѣ была белая рубашечка, вьющіеся волосы обрамляли его румяное лицо, а глазки

какъ - будто улыбались. Поэтъ сталъ ждать, что будетъ дальше. Вдругъ мать обращается къ нему съ вопросомъ:

Spisz, Janie? czy cię żałość twoja zwykła piecze?

Поэтъ такъ тяжело вздохнулъ тогда, что ему показалось, будто онъ пропнулся. Затѣмъ мать продолжала утѣшать сына, говоря, что она принесла ему Уршулю съ цѣлью убѣдить его въ безсмертіи души и блаженствѣ будущей жизни, съ которымъ не могутъ сравняться никакія бренныя земныя радости. Самыми яркими красками описываетъ мать загробное существованіе:

Tu troski nie panują, tu pracej nie znają,
Tu nieszczęście, t i miejsca przygody nie mają,
Tu choroby nie najdzie, tu niemasz starości,
Tu śmierć Izami karmiona nie ma już wolności.

,Мы ведемъ блаженную жизнь, знаемъ причины всѣхъ вещей, намъ свѣтить вѣчное солнце, и никогда для насъ не наступаетъ темная ночь.

Tworcę wszech rzeczy widziem w Jego majestacie,
Czego wy w ciele będąc prózno upatrzacie.

Сюда обрати мысли, сынъ мой, и стремись къ этимъ неизмѣннымъ сокровищамъ, которыя избраны твоей дочерью. Она подобна тебѣмъ, которые въ первый разъ пустившись въ морское плаваніе и увидѣвшіи всевозможныя опасности, направляются къ берегу. Другіе, пустивши паруса по вѣтру, попали на подводные камни; кого погубили морозы, кого голодъ. Рѣдко кто достигаль берега на утлой дощечкѣ. Можетъ быть, Уршуля, благодаря своей смерти, избѣгла всевозможныхъ бѣдствій земной жизни: безвременного сиротства, неудачнаго замужества, или татарскаго пленя. Она ушла на небо съ этой почной земли, ушла чистою отъ вскихъ грѣховъ. О ней не нужно печалиться. Въ своемъ бѣдствіи не забывай о благоразуміи, помни, что самой природой предназначено человѣку подвергаться всякимъ несчастьямъ, ни для кого не сдѣлано въ этомъ исключенія. Не знаю, почему ты, сынъ мой, считаешь свою судьбу самой тяжелой. Твоя дочь жила до тѣхъ поръ, пока ей было предназначено; правда, не долго, но это не во власти человѣка: судьбы Божи неисповѣдимы. Слезы не могутъ вернуть умершаго. Человѣкъ, огорчаясь несчастьями, не

принимаетъ во вниманіе тѣхъ счастливыхъ минутъ, которыя и ему выпадали на долю:

Ta  jest w adza fortuny, m oj namilszy s nie,
 e nie tak uskar a  trzeba,  e w d am co zosta o,
Bo to wszytko nieszcz cie w r eku swoich mia o.
A tak i ty, folguj c prawu powszechnemu,
Zagr d  drog  do serca upadkowi swemu
A w to patrzaj, co usz o r eku z ej przygody,
Zyskiem cz owiek zwa  musi, w czym nie popad  szkody.

Наконецъ, къ чему привели тебя твои трудовые годы, которые ты провелъ надъ книгами, мало обращая вниманія на свѣтскія развлеченія? Теперь-бы слѣдовало пожинать тебѣ плоды твоихъ трудовъ и беречь свое слабое здоровье. Утѣшалъ ли ты раньше другихъ въ такомъ же несчастьѣ и будешь ли ты болѣе чуткимъ къ чужой бѣдѣ, чѣмъ къ своей?

Teraz, mistrzu, sam si  lecz: czas dok or ka demu,
Ale kto pospolitym torem gardzi, temu
Tak poznego lekarstwa czeka  nie przystoi,
Rozumem ma uprzedzi , co insze czas goi.

Tego si , synu, trzymaj a ludzkie przygody
Ludzkie no . Jeden jest Pan smutku i nagrody“.

Послѣ такихъ словъ она исчезла. Поэтъ очнулся, неувѣренный, во снѣ ли это происходило, или на яву.

Таково содержаніе треновъ, которые, какъ мы видимъ, расположены въ извѣстной системѣ¹⁾. Послѣ первыхъ двухъ вступительныхъ слѣдуютъ шесть повѣствовательныхъ треновъ, прерываемыхъ мѣстами лирическими отступленіями. Отъ IX по XIII слѣдуютъ трены, про никнутые самимъ безнадежнымъ отчаяніемъ, пренебреженіемъ къ разуму, невѣріемъ въ бессмертіе души и насмѣшками надъ добродѣтелью. Отъ XIV по XVIII уже замѣтно стремленіе къ утѣшенію, котораго поэтъ ищетъ сначала въ поэзіи, собираясь подобно Орфею, отправиться съ лютней за Уршулей, затѣмъ воспоминаніи о чужихъ

¹⁾ Попытку разбора хронологической послѣдовательности „Треновъ“ мы заимствуемъ у Неринга. (См. Biblioteka Warszawska 1881 г.).

страданияхъ, въ слезахъ, въ исцѣляющей силѣ времени и, наконецъ, въ Богѣ, Который Одинъ въ состояніи облегчить боль человѣческаго сердца. XIX тренъ составляетъ какъ бы полную развязку той драмы, которая происходила въ душѣ Кохановскаго. Такимъ образомъ, трены можно раздѣлить на три части: 1) воспоминанія о печальномъ событіи, 2) безнадежное отчаяніе и 3) попытка найти утѣшеніе, при чёмъ вторую и третью части можно назвать лирическими. Такое распределеніе треновъ можно считать лишь приблизительнымъ, потому что, напримѣръ, XII тренъ легко отнести къ эпической части, III и V къ лирической. X тренъ удобнѣе было бы поставить передъ девятымъ. Начиная съ восьмого, трены можно было бы расположить въ слѣдующемъ порядкѣ: VIII, X, XII, XIV, XV, XIII, IX, XI, XVI, XVII. Отсюда ясно, что попытка найти въ тренахъ строгую послѣдовательность едва ли можетъ привести къ какимъ-нибудь результатамъ. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ тутъ было несчастному отцу заботиться о порядкѣ ихъ распределенія, когда чувство, только что успѣвшее переболѣть, находило въ нихъ для себя выраженіе?

Трудно предположить, чтобы Кохановскій тотчасъ послѣ смерти своей дочери написалъ трены. Поэтическое вдохновеніе по психологическимъ законамъ невозможно въ первыя минуты какого-либо душевнаго потрясенія. Для творческой дѣятельности необходима болѣе или менѣе отдаленная перспектива, только рефлексія въ состояніи создавать художественные образы. Въ данномъ случаѣ спра-ведливы слова Шиллера: „Was unsterblich im *Gelang* soll leben, muß im *Leben* untergehen“.

Въ тренахъ видно уже болѣе спокойное состояніе духа, такъ какъ поэтъ въ нихъ, кроме своего собственнаго чувства принимаетъ во вниманіе и читателя:

Ani mi teraz řacno dowiadać się o tem,

Jaka mię z placzu mego czeka cześć na potym?

Кромѣ этого, здѣсь встрѣчаются миѳологическіе образы, къ которымъ, обыкновенно, прибѣгалъ Кохановскій, желая украсить свои произведения. Однако, отсюда не слѣдуетъ, чтобы трены возникли по совершенно спокойному заранѣе обдуманному плану. Тогда въ нихъ замѣтно было бы больше послѣдовательности и не встрѣчались бы повторенія однѣхъ и тѣхъ же мыслей. Все это указываетъ на то, что трены возникали въ разное время. Позже всѣхъ былъ написанъ

XIX тренъ. Почти къ одному времени съ нимъ нужно отнести I и II. Самымъ раннимъ нужно считать III, въ основаніе котораго положены два мотива, которые повторяются въ другихъ тренахъ; о достоинствахъ и талантахъ Уршули повѣстуетъ XII тренъ въ общихъ чертахъ, VI о поэтическомъ въ частности. Вторую мысль—итти слѣдомъ за дочерью—поэтъ развиваетъ въ XIV тренѣ, собираясь, по примѣру Орфея, спуститься въ подземное царство за Уршулей. Слѣдовательно, III тренъ, гдѣ только намѣчены мысли, развитыя въ VI, XII и XIV тренахъ, скорѣе возникъ раньше ихъ, чѣмъ наоборотъ. Въ немъ заключаются главнѣйшіе мотивы всѣхъ треновъ: скорбь обѣ утратѣ и желаніе встрѣтиться снова съ умершей дочерью. Равнымъ образомъ прототипомъ XV трена послужилъ IV, гдѣ намѣченъ мотивъ о Ніобѣ, развитый въ первомъ. (*Nie dziwujesz sie tobie, Niobe, zѣš skamenia\la*). Вотъ и все, что можно сказать о хронологической послѣдовательности треновъ. Ту группировку, которую мы видимъ въ собраніяхъ стихотвореній Кохановскаго, поэтъ придалъ имъ, отдавая ихъ въ печать. Въ дѣйствительности они были написаны въ разное время, „въ различныхъ стадіяхъ страданія“, какъ выражается Шуйскій¹⁾. Первоначально нѣкоторые изъ нихъ возникли въ видѣ элегическихъ пѣсней. Вѣроятно, поэтъ предполагалъ ихъ помѣстить среди другихъ пѣсней; таковы III, IV, V, VI и, можетъ быть, XII трены. Кохановскій искалъ облегченія въ поэзіи и все чаще и чаще обращался въ стихотвореніяхъ къ предмету своей скорби. Не находя удовлетворенія въ философскихъ ученіяхъ, онъ все глубже и глубже погружался въ нихъ и свое собственное горе поднялъ до общечеловѣческой высоты. Такимъ образомъ, къ вышеупомянутымъ пѣснямъ присоединялись новыя и образовались трены въ томъ видѣ, какъ мы ихъ имѣемъ. Обратимся къ разбору каждого трена въ отдельности.

Первый, какъ мы уже говорили, составляетъ вступленіе ко всѣмъ остальнымъ и выражаетъ главную ихъ мысль: прилично ли человѣку, при всемъ его знаніи, отдавать долгъ природѣ, выражая въ слезахъ свое горе, или лучше восторжествовать надъ своей скорбью и ничѣмъ не обнаруживать ее? Стихотвореніе начинается обращеніемъ поэта ко всѣмъ выраженіямъ человѣческаго горя, чтобы они

¹⁾ См. Szujski. Zestawienie Trenów i Ojca Zadzumionych. Rocznik Tow. nauk. Krak. T. XI. 1866 г.

помогли ему оплакать смерть горячо любимой дочери. Здѣсь мы видимъ литературный приемъ эпическихъ поэтовъ древней Эллады и Рима. Слѣдовательно, Кохановскій разсматривалъ свои трены во всей ихъ совокупности, какъ поэму общечеловѣческаго страданія, предъ лицомъ неумолимой смерти, которую поэтъ въ очень красивыхъ выраженіяхъ сравниваетъ съ хищникомъ, нападающимъ на соловыиное гнѣздо.

..... Tymczasem matka szczebiecze

Uboga, a na zbóję coraz się miecze

Prózno

Слово „prózno“ служитъ переходомъ къ главной темѣ всѣхъ треновъ:

Prózno płakac podobno drudzy rzeczenie.

Отвѣтчая этимъ равнодушнымъ людямъ, Кохановскій очень удачно играетъ словомъ „prózno“, примѣняя его для обозначенія сущности всего въ мірѣ:

Wszystko prózno! macamy, gdzie mѣkcej w rzeczy,

A ono wszѣdy ciśnie: błąd wiek czowiecza.

Послѣдняя мысль заимствована поэтомъ изъ 21, 22 и 48 стиховъ XXXIX псалма. Въ двухъ заключительныхъ стихахъ прекрасно намѣчена дилемма, разрѣшаемая во всѣхъ остальныхъ тренахъ:

Nie wiem, co ѣzej, czy smutku jawnie żałować,

Czyli siѣ z przyrodzeniem gwałtem mocować?

Слѣдующій тренъ связывается съ первымъ мыслью тѣхъ людей, которые считаютъ выраженіе человѣческаго горя недостаточно серіозной вещью. Въ такомъ случаѣ поэтъ жалѣеть, что не началъ писать колыбельныхъ пѣсенъ, думая, что онѣ не сообразны съ его поэтической зрѣлостью. Во всякомъ случаѣ, онѣ болѣе достойны названія „легкихъ“ произведеній, чѣмъ его трены. Здѣсь Кохановскій горячо протестуетъ противъ господствовавшаго въ тотъ суровый вѣкъ взгляда на выраженія горя. Въ этомъ случаѣ его устами говорить не только человѣкъ, но и поэтъ, который сильно заинтересованъ въ судьбѣ своихъ произведеній:

Ani mi teraz ѣacio dowiadać siѣ o tem,

Jaka mię z płaczu mego czeka cześć na potym.

Онъ прекрасно сознаеть зависимость человѣка отъ величайшей судьбы но, прилагая къ нимъ обыкновенное людское мѣрило справедливости, онъ всѣмъ существомъ своимъ вооружается противъ фатального закона, отнимающаго жизнь у того существа, которое только еще начинаетъ жить:

O prawo krzywdy pełne!...

восклицаетъ человѣкъ, поруганный въ самыхъ завѣтныхъ своихъ вѣрованіяхъ: законъ, цѣль котораго состоитъ въ соблюдении міровой гармоніи, вдругъ оказывается несправедливымъ въ примѣненіи къ людямъ. Мы видѣли, какъ въ третьей элегіи четвертой книги Кохановскій опровергалъ антропоцентристическую точку зреія. Теперь страданіе заглушило въ немъ философа и онъ, какъ слабый, немощный человѣкъ, ропщетъ противъ міровыхъ законовъ:

O prawo krzywdy pełne!

восклицаетъ онъ, подобно ветхозавѣтному, великому страдальцу Иову, который говорилъ Богу: „противъ листка, срываемаго вѣтромъ, Ты показываешь свое могущество. . . И Ты считаешь достойнымъ (Себя) на такого отверзать Свои очи и призывать его на судъ съ Собою“. При воспоминаніи объ Уршулѣ, такъ несправедливо сраженной смертью, бурное отчаяніе поэта смѣняется глубоко нѣжной грустью, для выраженія которой поэтъ прибегаетъ къ самымъ трогательнымъ образомъ:

Takli, moja Orszula, jeszcze żyć na świecie
Nieumiawszy, musiała w ranem umrzeć lecie,
I nie napatrzywszy się jasności słonecznej,
Poszła nieboga widzieć kraj ów nocy wiecznej?

Тотъ же тонъ нѣжной грусти продолжается и растетъ въ слѣдующемъ тренѣ, где поэтъ говоритъ о богатыхъ задаткахъ своей умершей дочери. Въ концѣ стихотворенія, когда отецъ выражаетъ желаніе пойти за Уршулей и представляетъ себѣ свиданіе съ ней такимъ же образомъ, какъ оно происходило при ея жизни, когда поэтъ возвращался домой и любимая дочь бросалась къ нему на шею, обнимая его своими маленькими рученками, нѣжность достигаетъ самой крайней степени силы и реализма:

Tam cię ujrzej, da Pan Bóg, a ty więc z drogiemi
Rzuć się ojcu do szyje ręczynkami swemi.

Четвертый тренъ по своей мысли находится въ связи со вторымъ, гдѣ поэтъ говоритъ о преждевременной кончинѣ своей дочери и здѣсь мы видимъ то-же самое въ слѣдующемъ прекрасномъ образ-
номъ выражениі:

Widziałem kiedys (smierć) trzęsla owoc niedojrzala.

Съ предыдущимъ треномъ разбираемое нами стихотвореніе соеди-
няетъ мысль о возможности развитія тѣхъ задатковъ, которыми была
одарена Уршуля, если бы только она осталась въ живыхъ:

A ona (by był Bóg chciał) dłuższym wiekiem swoim
Siła pociech przynnożyć mogła oczom moim.

Кромѣ вышеприведенного сравненія этотъ тренъ не имѣеть особыхъ литеатурныхъ достоинствъ и является болѣе слабымъ повтореніемъ мыслей, выраженныхъ въ двухъ предыдущихъ. Новымъ здѣсь является эпиграмматическое упоминаніе о Ніобѣ. Послѣдній миѳологический образъ также какъ выраженіе „Persephonie“ указы-
ваютъ на болѣе позднее происхожденіе этого трена, когда поэтъ
могъ уже думать о литературной формѣ, которая требовала ремини-
сценцій изъ классиковъ.

Извѣрившись въ справедливости міровыхъ законовъ, поэтъ склоненъ объяснять каждое явленіе слѣпой случайностью. Эту мысль прово-
дить онъ въ V тренѣ путемъ въ высшей степени художественного срав-
ненія смерти своей дочери съ молодымъ побѣгомъ оливковаго дерева, который былъ случайно срѣзанъ рачительнымъ садовникомъ вмѣсть съ крапивой и бурьяномъ. Это сравненіе отличается рѣдкой
полнотою и выдержанностью въ обѣихъ частяхъ. Мысль о прежде-
временной кончинѣ дочери связываетъ этотъ тренъ съ предыдущимъ.

Слѣдующій VI примыкаетъ къ третьему, такъ какъ въ немъ
идеть рѣчь о наслѣдствѣ, которое должна была получить Уршуля. Ей

. . . nietylko moja czastka ziemieńska,

Ale i lutnia dziedzicznem prawem spaść miała.

Здѣсь поэтъ шире развиваетъ высказанную въ томъ же III тренѣ
мысль о задаткахъ своей дочери; кроме перечисленныхъ тамъ
качествъ она обладала еще даромъ пѣсенъ:

Tę nadzieję już po sobie okazała,
Nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając
Ustek nigdy, ale cały dzień prześpiewając,
Jako więc lichy słowiczek w krzaku zielonym.

Приведенное здесь сравнение съ словоемъ можетъ быть сопоставлено съ тѣмъ, которое мы видѣли еще въ I тренѣ, гдѣ описывается нападеніе хищника на *соловиное гнѣздо*. Трогательная нѣжность, съ которой рисуетъ Кохановскій прощеніе своей Уршули съ матерью, еще больше сближаетъ разбираемый тренъ съ третьимъ. Въ послѣднемъ онъ выражаетъ, преимущественно, отцовскія чувства, а здѣсь материнскія. Особенно хороши въ этомъ стихотвореніи въ высшей степени пѣвучій стихъ при передачѣ прощальныхъ словъ Уршули.

Въ слѣдующемъ VII тренѣ видѣ нарядовъ Уршули по ассоціаціи смежности приводитъ поэту на память материнскіе планы о ея приданомъ, когда придется выдавать Уршулю замужъ. Въ высшей степени сильное впечатлѣніе производить этотъ контрастъ между снаряженіемъ на свадьбу и погребеніемъ:

Nie do takiej loźnicy, moja dziewczko droga,
Miała cię mać uboga
Doprowadzić, nie taką dać obiecowała
Wyprawę, jaką dała.

Послѣднія слова трена имѣютъ себѣ «аналогію въ 89 стихѣ четвертой элегіи III книги, на смерть Тенчинскаго»:

Tot bona tam parvo clausa jacent tumulo

также въ 26 стихѣ „Pan Zamchanus“ — „*uno omnia clausa locello*“. По своей безыскусственной простотѣ и глубинѣ непосредственнаго чувства этотъ тренъ, какъ вѣрное изображеніе родительского горя, долженъ занять одно изъ лучшихъ мѣстъ въ лирикѣ подобнаго рода.

Тѣмъ же чувствомъ проникнуть слѣдующій восьмой тренъ, написанный, вѣроятно, тотчасъ послѣ погребенія Уршули, когда родители вернулись въ осиротѣлый домъ, каждый уголъ котораго напоминаетъ имъ о дочери. Съ большей правдой, чѣмъ здѣсь, невозможно описать чувства пустоты, которое испытывается семьею послѣ потери своего любимаго члена. Холодомъ одиночества такъ и вѣять отъ каждой строки этого стихотворенія. Хороши здѣсь нѣкоторыя

отдѣльныя выраженія, какъ, напримѣръ: „myšlenie zbytnie“, которое можетъ обозначать и умственныя занятія поэта, и его усиленныя заботы о семье. Этимъ треномъ заканчивается описание печального события въ лиро-эпической формѣ.

Слѣдующій, девятый, повѣствуетъ о стремленіи поэта найти утѣшеніе въ философіи, занятіямъ которой онъ посвятилъ всю свою жизнь. Здѣсь мы имѣемъ прекрасную характеристику стоицизма,

Który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje,
Złym przygódom nie podległ, strachom nie hołduje.

и т. д....

Подобное мѣсто мы уже встрѣчали во второй элегіи четвертой книги, на смерть Яна Тарновскаго:

Rebus in adversis idem laetisque fuisti
Pectoris unus erat sorte in utraque tenor.
Divitias metiri auro falsum esse putasti.

Но всѣ сокровища человѣческой мудрости разлетѣлись въ прахъ передъ лицомъ горя. Желая въ теченіе всей своей жизни при помо-щи знанія подняться надъ толпою, поэтъ, сраженный тяжелою утратой, снова смѣшался съ простыми смертными. Это мѣсто весьма напоминаетъ знаменитый монологъ Фауста¹⁾:

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medicin,
Und, leider! auch Theologie
Durchaus studirt, mit heißen Bemühn
Da steh' ich nun, ich armer Thor!
Und bin so klug, als wie zuvor. . .

Не найдя утѣшенія въ стоицизмѣ, поэтъ въ слѣдующемъ, десятомъ, тренѣ разсматриваетъ различныя ученія о загробной жизни. (Желаніе Кохановскаго заняться этимъ вопросомъ мы видѣли уже въ 13 элегіи III книги). Прежде всего въ этомъ тренѣ мы встрѣчаемся съ мыслью Платона о занебесныхъ пространствахъ, съ которой нашъ

¹⁾ Faust. Götthe. Berlin. 1869. S. 17.

поэтъ связываетъ христіанское представление о раѣ и о причислениіи младенцевъ къ сонму ангеловъ. Затѣмъ слѣдуетъ древнегреческое миѳологическое понятіе обѣ Островахъ Блаженства, о Харонѣ и о Летѣ. Отсюда поэтъ переходитъ къ католическому учению о чистилищѣ, затѣмъ, къ мысли Пиѳагора о переселеніи душъ, предполагая, что Уршуля превратилась въ соловья. (Послѣдняя мысль напоминаетъ балладу о Филомелѣ въ 9 пѣснѣ „Собутки“). Наконецъ, мысль поэта снова возвращается къ Платону и его учению о предсуществованіи душъ. Ни одна изъ этихъ теорій не удовлетворяетъ несчастнаго отца, который, подъ вліяніемъ своего горя, начинаетъ сомнѣваться въ безсмертіи души:

Gdziekolwiek jest, jeſliſ jest...

Поэтъ больше не вѣритъ философскимъ и теологическимъ ученіямъ; онъ, подобно юомѣ, желаетъ реального доказательства. Наука измѣнила ему, прежняя вѣра, съ которой онъ переводилъ вдохновенные гимны псаломопѣвца Давида, оставила его. Лишившись поддержки вѣры и разума, бѣдный отецъ все дальше и дальше скатывается внизъ по наклонной плоскости сомнѣнія.

Въ мірѣ нѣть цѣлесообразности, всѣмъ управляетъ слѣпой случай. Слѣдовательно, ни доброта, ни благочестіе не имѣютъ никакого значенія. Къ такому ужасному выводу приходитъ поэтъ въ слѣдующемъ XI тренѣ:

Kogo kiedy poboźnośc jego ratowała?
Kogo dobroć przypadku złego uchowała?

Всѣ усилия нашего разума отгадать тайны природы ни къ чему не приводятъ. Вместо истины настѣнѣ тѣшатъ обманчивые сны.

Wspinamy się do nieba, Boże tajemnice
Upatrując, ale wzrok śmiertelnej źrzenice
Tępy na to . . .

Въ послѣднихъ словахъ уже видны слѣды перелома, который начинаетъ происходить въ душѣ поэта; прежній скептицизмъ постепенно уступаетъ мѣсто смиренію, невозможность постигнуть тайнѣ природы объясняется несовершенствомъ человѣческаго разума. Смиреніе заставляетъ поэта опомниться:

Żałości, co mi czynisz? owa już oboje

Mam stracić: i pociechę, i baczenie swoje.

Въ следующемъ XII тренѣ нѣтъ уже мѣста горькому скептицизму. Человѣкъ побѣдилъ въ немъ философа и ищетъ утѣшенія въ слезахъ и воспоминаніяхъ о достоинствахъ своей умершой дочери. Здѣсь весьма широко развивается и дополняется тема III трена.

Tak wiele cnót jej m³odo¶ci i takich dzielno¶ci

Nie mogła znieść: upadła od swej bujności,

Žniwa nie doczekawszy

говорить поэтъ объ Уршулѣ. Слезы слышатся въ каждомъ словѣ Кокановскаго, когда онъ обращается къ ней, продолжая это высоко художественное сравненіе:

. kłosie mój jedyny,
Jeszcześ mi się był nie stał, a ja, twej godziny
Nie czekając, znowu cię w smutną ziemię sieje,
Ale pospołu z tobą grzebie i nadzieję,
Bo juž nigdy nie wznidziesz, ani przed mojema
Wiekom wiecznie zakwitniesz smutnemi oczema.

Сравненіе девичьей жизни съ распустившимся цветкомъ очень напоминаетъ аналогичные образы въ народной поэзіи.

Тѣ-же слезы продолжаются въ XIII тренѣ, гдѣ поэтъ жалуется на Уршулю за то, что она вместо утѣшенія принесла ему горе. Послѣдняя мысль сближаетъ этотъ тренъ со II. Очень хорошо въ немъ следующее сравненіе:

Omyliłaś mię, jako nocny sen znikomy,
Który wielkością złota cieszy zmysł łakomy,
Potem nagle uciecze, a temu na jawi
Z onych skarbów jeno chęć a żądzą zostawi.

Въ XIV тренѣ видно стремленіе поэта найти утѣшеніе въ поэзіи. Подобно Орфею, онъ вместѣ съ лютней желаетъ спуститься въ подземное царство, въ надеждѣ тронуть своими пѣснями суроваго Плутона и вернуть свою милую дочь. Мысль о Харонѣ и мрачномъ Тартарѣ уже встрѣчалась намъ въ X тренѣ. Здѣсь она развита шире,

въ цѣлую довольно красивую картину, которую съ нынѣшней точки зрѣнія нѣсколько портитъ миѳология. Въ XVI столѣтіи это зачли бы скорѣе въ заслугу поэту, чѣмъ въ порицаніе.

Въ слѣдующемъ, пятнадцатомъ, тренѣ поэтъ продолжаетъ искать утѣшенія въ поэзіи, пока онъ не успѣль еще превратиться въ каменный столбъ, подобно Ніобѣ. Послѣдній мотивъ, намѣченный въ четвертомъ тренѣ, здѣсь находитъ свое полное развитіе, въ которомъ заслуживаетъ вниманія очень красивое сравненіе умершихъ дѣтей съ подкошенными цвѣтами:

Takie więc kwiaty leżą kosa podsiezone,
Abo deszczem gwałtownym na ziemię złożone.

Въ общемъ, это стихотвореніе, благодаря обилію миѳологическихъ представлений, много теряетъ въ оригинальности и свѣжести чувства, хотя нѣкоторымъ мѣстамъ нельзя отказать въ литературныхъ достоинствахъ, какъ, напримѣръ кромѣ вышеуказанного мѣста, слѣдующее:

I stoi na Sipylu marmor nieprzetrwany,
Jednak i pod kamieniem żywią skryte rany,
Jej bowiem łyzy serdeczne skały przenikają
I przeźroczystym z góry strumieniem spadają.

Это сравненіе отличается пластичностью и рѣдкою силой. Два заключительныхъ стиха этого трена представляютъ почти дословный переводъ одного стихотворенія изъ греческой Антологіи.

Надежда поэта найти утѣшеніе въ поэзіи не оправдалась. Никакія пѣсни не въ состояніи унять его боли. Онѣ только растрѣляютъ его свѣжія раны. Въ XVI тренѣ къ поэту опять возвращаются тѣ сомнѣнія, которыя мы видѣли въ XI; какъ тамъ, онъ и здѣсь приходить къ безотрадному заключенію, что жизнь человѣческая—обманчивый сонъ. Какъ тамъ, онъ порицаетъ гордость нашего разума, пока мы пользуемся счастьемъ. Еще глубже отмѣчаетъ здѣсь поэтъ несостоятельность стоической философіи предъ лицомъ настоящаго горя. Жизненной правдой и горькой ироніей дышать слѣдующія слова Кохановскаго:

Przecz z placzem idziesz, Arpinie wymowny,
Z miłej ojczyzny,—wszak nie Rzym budowny,

Ale świat wszytek miastem jest mądremu

Widzeniu twemu?

Czemu tak barzo córki swej żałujesz?

Wszak się ty tylko sromoty wiariuszysz.

Insze wszelakie u ciebie przygody

Ledwie nie gody.

Здесь поэт разрешает дилемму, поставленную в первом трене:

Człowiek nie kamień, a jako się stawi

Fortuna, takich myśli nas nabawi.

Никакая мудрость и вѣра не въ силахъ помочь человѣческому горю. Одно лишь время способно заглушить его забвениемъ. Этотъ тренъ въ прекрасной формѣ и съ психологической вѣрностью передаетъ чувства, которыя долженъ былъ испытывать подъ вліяніемъ горя во всемъ извѣршившійся поэтъ. Въ художественномъ отношеніи за разобраннымъ стихотвореніемъ нужно признать выдающіяся достоинства и глубокій реализмъ. Къ безотрадному заключенію приводятъ поэта не классики и гуманисты, которымъ онъ подражалъ раньше, а сама жизнь.

И эта новая вспышка скептицизма въ XVII тренѣ погасла въ душѣ поэта, уступивши мѣсто истинно христіанскому смиренію. Покорный волѣ Божьей, отъ которой никто никогда не можетъ скрыться, поэтъ, всетаки, не въ силахъ утолить своей печали. Онъ нравдиво и искренно возражаетъ тѣмъ, которые упрекали его за трены, какъ за легкія, недостаточно серіозныя произведенія:

Kto zaś na płacz lekkość wkłada,

Słysząc dobrze, co powiada,

Lecz się tem żal nie hamuje,

Owszem większy przystępuje.

Bo mając zranioną duszę,

Rad i nierad płakać muszę.

Не найдя утѣшенія въ разумѣ, поэтъ обращается снова къ Богу:

A ja zatem Izy niech leję,

Bom stracił wszystkę nadzieję:

Bo mię rozum miał ratować,

Bóg sam mocen to hamować.

Здесь мы видимъ, что въ душѣ Кохановскаго произошелъ окончательный переломъ. Ни философія, ни поэзія не принесли ему желанного облегченія, и онъ обращается къ тихому пристанищу вѣры.

Настоящимъ покаяннымъ псалмомъ звучитъ XVIII тренъ, выдержаный въ возвышенномъ и удивительно простомъ стилѣ. Его идея—необходимость кары Божьей для того, чтобы легкомысленные люди не забывали Его милостей. Поэтъ молитъ Бога, чтобы Онъ каралъ людей, какъ любящій отецъ, иначе Его тяжелая рука способна погубить весь человѣческій родъ. Одна лишь Его немилость—тяжкая мука. Эта мысль взята Кохановскимъ изъ XXXVII и LVIII псалмовъ. Оканчивается тренъ безграничнымъ упованіемъ на милость Божію ко всѣмъ, если только они смирятся:

A pierwej świat zaginię,
Niż ty wzgardzisz pokornym,
Chocia był długo przeciw Tobie spornym.

Съ глубокимъ раскаяніемъ въ своеімъ грѣхѣ передъ Богомъ, въ своеімъ дерзостномъ ропотѣ противъ Него, заканчиваетъ поэтъ свою покаянную пѣснь молитвой:

Wielkie przed Tobą są występy moje,
Lecz miłosierdzie Twoje
Przewyższa wszystki złości.
Użyj dziś, Panie, nademną litości!

Этотъ трогательный гимнъ Божьему милосердію, эта смиренная покаянная молитва, вылившаяся изъ самыхъ нѣдръ души скорбнаго поэта, кажется намъ лучшимъ заключительнымъ аккордомъ всѣхъ его треновъ. Здесь передъ нами стоитъ христіанинъ въ самомъ лучшемъ и строгомъ значеніи этого слова.

Слѣдующій XIX тренъ, написанный позже всѣхъ другихъ, представляетъ выраженіе полнаго успокоенія поэта. Композиція этого стихотворенія весьма напоминаетъ одиннадцатую элегію второй книги. Тамъ мы читаемъ:

Nox erat, et passim per terras fusa jacebant
Corpora, fessa pigro corda fovente deo.
At mea pervigiles mordebant pectora curae
Somno sollicitum defugiente torum.
Tandem surgentis cum fulsit lucida Phoebi
Lampas, complexa est me quoque sera quies.

Разбираемый тренъ начинается почти тѣми же словами:

Żałość moja d ugo w noc oczu mi nie da a
Zamkną  i zemdlonego upokoi  cia a.

Ledwie mi  na godzin  przed switaniem swemi
Sen leniw  ob api  skrzyd y czarnawemi.

Только образъ сна, который одѣваетъ поэта черными крылами, здѣсь гораздо красивѣе. Самая мысль утѣшенія со стороны матери, по всей вѣроятности, заимствована Кохановскимъ изъ „Consolationes ad Martiam“ Сенеки, который говоритъ: „представь себѣ, Марція, что къ тебѣ обращается изъ небесныхъ обителей *твой отецъ*: отчего тебя, дочь моя, такъ долго мучить скорбь? Отчего ты такъ далека отъ разумѣнія истины, думая, что несправедливая судьба встрѣтила твоего сына, который, сокративши свою жизнь, отправился къ предкамъ? Мы здѣсь собираемся всѣ вмѣстѣ и, окруженные небезпрѣсвѣтною ночью, узнаемъ, что у васъ нѣть ничего такого, чего бы стоило желать“. (Утѣшеніе отцомъ скорбящаго сына мы видѣли также въ стихотвореніи нашего поэта на смерть Тарновскаго, откуда многія мысли повторены Кохановскимъ въ XIX тренѣ). Поэтъ хотя и подражаетъ въ данномъ случаѣ Сенекѣ, но вносить свой прекрасный образъ сна и матери съ внучкой на рукахъ:

. . . (ma ) na r ku Orszule moje wdzięczn  mia a,
Jako wi c po paciorek do mnie przychodzi ,
Skoro z swego posłania rano si  ruszy a,
Giez czko biale na niej, włoski pokr cone,
Twarz rumiana, a oczy ku śmiechu sk onione.

Въ самыхъ утѣшеніяхъ матери, помимо чисто христіанского основанія, встрѣчаются нѣкоторыя мѣста, заимствованныя у Сенеки:

Czyli nas ju  umar e macie za stracone,
I k torym ju  na wieki s o ce jest zgaszone?
• A my owszem   wiemy  ivot tem wa niejszy,
Czem nad to grube cia o duch jest szlachetniejszy;
Ziemia w ziemi  si  wraca, a duch z nieba dany
Mia  by zgin c , ani na miejsca swe wezwany?

Аналогичное мѣсто мы видѣли въ „Сатирѣ“:

323. Czleku, którego dusza poszła z nieba,
O tym czuć, o tym myślić ustawicznie trzeba:
Jakoby się mógł wrócić na miejsca ojczyste,
Gdzie spólnie przebywają duchy wiekuiste.

Сенека говоритъ, что преждевременную смерть нельзя считать зломъ, такъ какъ будущность человѣка никому не извѣстна. То же самое мы видимъ у Кохановскаго:

... . ani się frasuj, że tak rana
Twojej ze wszech namilszej dziewczę smierć zesłana.
Nie od rozkoszy poszła, poszlać od zazdrości,
Od pracy, od frasunków, od źez, od żałości . . .

Подобную же мысль о бренности земныхъ утѣхъ и радостей мы уже встрѣчали въ элегіи на смерть Тарновскаго:

Vivis enim vere, mortali carcere liber,
Sublimemque habitas aetheris arce domum;
Quae nulli est hiemi, nullisque obnoxia nimbis,
Sed lucem aeternam, nescia noctis habet.
Hic labor et curae insomnes, hic aegra senectus,
Hic morbique vigent sollicitusque timor.
Felix, qui scopulos evaseris aequoris hujus,
Incolumi portum contigerisque rate.

Здѣсь мы имѣемъ тоже самое сравненіе человѣческой жизни съ моремъ и смерти съ пристанью, которое поэтъ могъ почерпнуть не только изъ Сенеки, какъ это старается доказать Калленбахъ¹⁾, но и у христіанскихъ писателей и даже прямо изъ богослуженія. Въ разбираемомъ стихотвореніи есть очень красивыя мѣста, какъ, напримѣръ:

(Orszula) między anioły i duchy wiecznemi
Jako wdzięczna jutrzenka świeci, a za swemi
Rodzicami się modli, jako to umiała,
Z wami będąc, choć jeszcze słów nie domawiała.

или слѣдующее описание загробной жизни:

¹⁾ См. Filozofia J. Kochanowskiego. Szkic liter. skreśl. J. Kallenbach. Kraków. 1888.

Tu troski nie panują, tu pracej nie znają i t. d.

Хорошо также утешение, съ которым обращается мать къ поэту, чтобы онъ не считалъ себя *самымъ* несчастнымъ на землѣ.

Психологической вѣрностью отличаются слѣдующія слова:

. . . człowiek nie zda się praw szczęściu w tej mierze,
Że szkody pospolicie tylko przedsiębierz, . . .
A tego baczyć nie chce ani mieć w pamięci,
Co mu też czasem padnie wedle jego chęci.

Въ биографическомъ отношеніи важно слѣдующее мѣсто:

Nakoniec: w co się on koszt i ona utrata,
W co się praca i twoje obróciły lata,
Któreś ty niemal wszystkie strawił nad księgami,
Mało się bawiąc świata tego zabawami?

Прекрасны заключительные слова матери:

Tego się, synu, trzymaj, a ludzkie przygody
Ludzkie nos: jeden jest Pan smutku i nagrody.

Удачнымъ литературнымъ приемомъ является здѣсь то, что Кохановскій оставляетъ читателя въ недоумѣніи, сонь ли это быть, или дѣйствительность. Единственнымъ недостаткомъ этого тренца можно считать его растянутость, не совсѣмъ удобную для лирическаго произведенія.

Первый тренъ написанъ двѣнадцатисложнымъ размѣромъ, весьма похожимъ на Дмитрійскій стихъ. Цезура не вездѣ стоитъ на одномъ и томъ же мѣстѣ. Риѳомовка не всегда удачна (напримѣръ: зноſcie и роmožcie), встрѣчаются часто глагольные риѳмы. Начиная съ 13 стиха, риѳомовка безукоризненна.

Слѣдующій II тренъ насчитываетъ 30 стиховъ, написанныхъ тринадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога.

III и IV написаны тѣмъ же размѣромъ, но цезура не вездѣ одинакова.

Въ V и VI тотъ же размѣръ, но цезура вездѣ послѣ седьмого слога.

VII состоитъ изъ 18 стиховъ. Всѣ нечетныя строки написаны тринадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога, а четные состоять изъ семи слоговъ безъ цезуры.

Слѣдующіе трены, до XV включительно, написаны тринадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога.

XVI состоитъ изъ сапфическихъ строфъ.

XVII написанъ восьмисложнымъ размѣромъ съ характеромъ трохея.

XVIII насчитываетъ 7 строфъ, въ которой первый и четвертый стихи написаны одинадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога, а второй и третій семисложнымъ.

XIX трень написанъ тринадцатисложнымъ стихомъ.

Во всѣхъ тренахъ мы видимъ наиболѣе употребительную у Кохановскаго крайне однообразную риѳомовку каждой пары стиховъ между собою.

Не смотря на то, что трены при жизни нашего поэта выдержали только два изданія, имъ посчастливилось создать цѣлую школу подражателей въ теченіе всего семнадцатаго столѣтія. Въ тренахъ, не смотря на неизбѣжныя заимствованія изъ классиковъ и даже въ складѣ нѣкоторыхъ, какъ, напримѣръ, III, VI, VIII, X и XIII у Аріоста¹⁾, Кохановскій проявилъ свою полную индивидуальность. Какъ самыя глубокія и художественные выраженія общечеловѣческаго горя, эти стихотворенія справедливо стяжали Чернолѣсскому поэту неувидаемую славу лучшаго изъ его произведеній, въ которомъ вылилась вся сила его творческаго гenія.

1) Для того, чтобы убѣдиться въ справедливости этого, достаточно обратить внимание на слѣдующую жалобу Орlanda по утратѣ Анджелики:

Deh dove senza me, dolce mia vita
Rimasa sei, si giovane e si bella...

Dove speranza mia, dove orasei?
Vai tu soletta forse ancora errando?

Oh infelice! oh misero! che ooglio
Se non morir, se'l mio bel fior colto hanno?
O sommo Dio, fammi sentir cordoglio
Prima d'ogni altro, che di questo danno.

IV.

Четвертая и первая пѣснь фрагментовъ. Издание фразекъ и элегій. Пѣснь въ честь побѣды Баторія надъ Москвою. Пѣснь „o statecznym sludze Rzeczypospolitej“. „Эпиникіонъ“. Эпіталамій на свадьбу Замойскаго съ Гризельдой Баторій. „Jezda do Moskwy“. 49 фразка I книги къ Поссевину. Убійство Якова Подлѣдовскаго въ Турціи. Кохановскій на люблинскомъ съездѣ. Смерть поэта.

„Трены“ были лебединой пѣсней Кохановскаго. Въ нихъ онъ выразилъ всю свою индивидуальность, всѣ лучшія стороны своего поэтическаго дарованія. Нравственная и физическая силы начали постепенно оставлять поэта. Но творческое вдохновеніе не покидало его, продолжая приносить ему отраду и душевное успокоеніе. По всей вѣроятности, тогда была написана Кохановскимъ четвертая пѣснь „Фрагментовъ“¹⁾. Здѣсь поэтъ проводитъ ту мысль, что человѣкъ только тогда могъ бы жаловаться на свое несчастье, если-бы Богъ обѣщалъ хранить его отъ всякихъ бѣдствій:

Wszyscy w niepewnej gospodzie mieszkamy,
Wszyscy¶my pod tem prawem siê zrodzili,
Že wszem przygodom jako cel byd¿ mamy.

Поэтому, всѣ мы должны относиться къ несчастью терпѣливо, такъ какъ Божіяго Промысла ничто не въ силахъ измѣнить. Вмѣстѣ съ тѣмъ, никогда не слѣдуетъ терять надежды на лучшее будущее:

Jedenze to Bóg, co i chmury zbiera
I co rozświeca niebo słoñcem złotem.

Эта пѣснь имѣетъ много общаго съ XIX треномъ и, по всей вѣроятности, возникла вскорѣ послѣ него. Она интересна также, какъ первая терцина на польскомъ языке.

Въ виду того, что все въ нашемъ мірѣ временно и подвержено вліянію всакихъ случайностей, поэту, утомленному жизнью, естественно приходитъ на мысль желаніе вѣчнаго покоя. Кохановскій въ первой пѣсни фрагментовъ²⁾ выражаетъувѣренность,

¹⁾ См. W. P. II. 464.

²⁾ См. W. P. II. 459.

Że, bądź za długą, bądź za krótką chwilę —
Abo w okręcie całym doniesiony,
Abo na desce biednej przypławiony —
Będzie jednak u brzegu,
Gdzie dalej nie masz biegu;
Lecz odpoczynek i sen nieprzespany
Tak panom, jako chudym zgotowany.

Всякій желаетъ выбратьъ себѣ наиболѣе безопасный путь, но въ чемъ онъ состоить и какъ его держаться, мало кто знаетъ.

Житейское море имѣеть множество подводныхъ камней:

Tu siedzi złotem cześć koronowana,
Tu lekkiem piórem sława przyodziana,
Tu checiwość nieszczęśliwa
Zbiera a nie używa,
Tu luba roskosz i zbytek wyrzutny —
Pod niemi nędza prędką i żal smutny.
Tamże i krzywda i zazdrość przeklęta,
Przed którą biada zawzdy cnota święta.

Желая избѣгнуть одной скалы, человѣкъ натыкается на другую. Самый мудрый и опытный пловецъ можетъ заблудиться, если его поступками не будетъ руководить Господь. Съ мольбой къ Нему обращается поэтъ въ заключительной строфѣ:

Wodzu prawdziwy i wieczna światłości!
Uskrom z łaski swej morskie nawalności.
A podnieś ogień portu zbawiennego;
Na który patrząc moglibyśmy tego
Morza chytrego zdrady
Przebyć bez wszelakiej wady,
A odpocząć po tem żeglowniu
W długim pokoju i bezpiecznym spaniu.

Все это стихотвореніе проникнуто искреннимъ желаніемъ отдыха отъ пережитыхъ страданій. Слѣдовательно, оно было написано также

вскорѣ послѣ „треновѣ“ (Послѣдняя строфа очень напоминаетъ ирмосъ шестой пѣсни канона, который поется на панихидахъ: „Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею, къ тихому пристанищу Твоему притеke, вспію: возведи отъ тли животъ мой, Много-милостиве“).

Вышеупомянутая пѣснь Кохановскаго является въ польской литературѣ первымъ выраженіемъ желанія смерти для измученного жизнью человѣка, какое мы встрѣчаемъ въ „*Cupio dissolvi*“ Сыропкомли, или въ извѣстномъ стихотвореніи Красинскаго:

*Chciałbym tak cicho, lekko, bez boleści
Rozsnuć do życia wiążące mnie nicie...*

Мысль о смерти побудила, по всей вѣроятности, Кохановскаго заняться приведеніемъ въ порядокъ своихъ мелкихъ произведеній на польскомъ и латинскомъ языкахъ, которые были еще въ рукописяхъ или у самого поэта, или у его многочисленныхъ друзей. Такое занятіе было вполнѣ подходящимъ къ его грустному настроению духа. Перечитывая свои прежнія пѣсни и фрашки, Кохановскій мысленно переносился въ лучшія времена своей молодости и забывалъ хоть на мгновеніе о своихъ нынѣшихъ горестяхъ. По всей вѣроятности, тогда, у теплого камина, подъ шумъ осенней непогоды, просматривая ихъ къ печати, онъ передѣльвалъ ихъ, исправлялъ и добавлялъ. Со спокойствіемъ мудреца онъ смотрѣлъ снисходительно на свои иногда не совсѣмъ скромныя фрашки и относился къ нимъ такъ снисходительно, какъ любящій отецъ къ щалостямъ своего въ сущности хорошаго сына. Благодаря этому Кохановскій выпустилъ въ свѣтъ всѣ свои „Фрашки“, которая только сохранились у него, не исключая и тѣхъ, которые были черезчуръ свободны. Вѣроятно, онъ думалъ издавать свои произведенія постепенно, отдельными сборниками, о чёмъ свидѣтельствуютъ отдельные изданія „Фрашкѣ“ и латинскихъ элегій съ эпиграммами.

Ни болѣзнь, ни тяжелое состояніе духа не заслоняли отъ поэта событий текущей дѣйствительности, къ которымъ онъ оставался чуткимъ до самой своей смерти. Кохановскій внимательно слѣдилъ за войною, которую велъ Баторій противъ Москвы. Каждая победа польского оружія радовала поэта и пробуждала его музу. Тогда

именно была написана пѣснь на взятие Полоцка „Panu dzięki oddawajmy“¹⁾. Она начинается благодарностью Богу за дарованную полякамъ побѣду надъ сѣвернымъ тираномъ.

On hardy, nieunoszony,
On tyran pôłnocnej strony,
Któremu, jako sam mniema,
Świat tak wielki równia nie ma.

Затѣмъ поэтъ насмѣхается надъ Иоанномъ Грознымъ:

Chcesz byc grozny, a uciekasz;
Jeśliś płochy, hardzie nie kaž,
Teraz był czas prorokować,
Komu szłyk naprzód zdejmować;
Teraz się było dowiadać,
Kto ma naprzód z konia spadać?

Послѣ этого Кохановскій восторженно привѣтствуетъ Баторія:

Bóg pomóż, królu jedyny
Szerokiej polskiej krainy!

и описываетъ его побѣды и воинскія доблести, къ числу которыхъ онъ относитъ также ласковое обращеніе короля съ непріятелями:

Nie puściłeś wódz gniewowi,
Łaskęś nieprzyjacielowi
Uczynił; masz i dzielnością,
Masz juž nadzieję i ludzkością.

Стихотвореніе заканчивается прославленіемъ побѣдоноснаго короля:

Zdrów bądź królu niezwalczony!
Ciebie moje wdzięczne strony
Nie zmilczą między sławnemi
Bohatery walecznemi.

На сеймѣ конца 1579 и начала 1580 года, послѣ взятия Полоцка, въ первый разъ встрѣтилъ Баторій сильную оппозицію противъ своихъ

¹⁾ См. W. P. I. 319.

политическихъ плановъ. Однимъ изъ поводовъ къ тому было возбуждавшее зависть возвышеніе Замойскаго, который былъ назначенъ великимъ гетманомъ короннымъ. По этому случаю Кохановскій пишетъ стихотвореніе, озаглавленное въ первомъ изданіи „Piesń o statecznym słuudze Rzeczypospolitej“¹⁾.

Здѣсь поэтъ въ прекрасной формѣ проводитъ ту мысль, что зависть не можетъ выносить блеска добродѣтели и

Boleje, że kto kiedy wyżej nad nią skoczy,
A iż baczy po sobie, że się wspinać próżno,
Tego ludziom uwłacza, w czem jest od nich różna.

Онъ утѣшаетъ Замойскаго слѣдующими словами:

Ale człowiek, który swe Pospolitej Rzeczy
Służby oddał, tej krzywdy nie ma mieć na pieczy
Dosyć na tem kiedy praw, a ni w sercu wady
Czuje. Niech się jako chcą silą wszystkie jady.

Кромѣ этихъ стихотвореній Кохановскимъ написанъ былъ по по-
вodu побѣдъ Баторія „Эпиниконъ“, состоящій изъ 876 стиховъ,
раздѣленныхъ на семьдесятъ три двѣнадцатистрочныхъ строфы. Онъ
отличается рѣдкой холодностью, сухостью и несовершенствомъ формы,
которая, такъ же какъ и сонетъ, должна заключать въ каждой
стrophe вполнѣ законченную мысль; между тѣмъ, у Кохановскаго
иногда не только мысль, но и предложеніе не помѣщается въ двѣ-
надцати законныхъ строкахъ, иногда даже конецъ слова перено-
сится въ слѣдующую строфу. Это произведеніе нужно считать самымъ
слабымъ у Кохановскаго. Нѣсколько выше по литературнымъ достоин-
ствамъ стоитъ напечатанная въ 1581 году и вышедшая вторымъ из-
даніемъ въ 1583 году „Jezda do Moskwy“, описывающая подвиги
Кшиштофа Радзивилла, литовскаго польнаго гетмана, который, по по-
рученію Баторія, вторгся въ глубь Московскаго государства, до са-
мой Волги, возбудилъ страхъ въ Ioannѣ Грозномъ и съ незначительными
потерями вернулся къ Пскову. Въ этомъ стихотвореніи красиво только
начало, гдѣ молодой воинъ сравнивается съ орленкомъ.

¹⁾ См. W. P. I. 318.

Между тѣмъ, Замойскій сталъ уже такъ высоко, что ему ни почемъ зависть, о которой упоминаетъ поэтъ въ своемъ стихотвореніи. За новаго гетмана, который уже овдовѣлъ, Баторій выдаетъ свою племянницу. На это событіе Кохановскій отозвался эпиталаміей, которая не имѣть особенныхъ литературныхъ достоинствъ и является только опытомъ чисто механической, правда, искусной версификації. Это событіе произошло въ 1583 году, когда вышли вторымъ изданіемъ „Трены“, къ которымъ теперь была присоединена эпитафія Ганнѣ Кохановской. Поэтъ, обращаясь къ ней, говоритъ, что и она поспѣшила за своей сестрою, чтобы дать отцу возможность оплакать ея смерть вмѣстѣ съ кончиной Уршули и готовиться къ болѣе прочному счастью. Отсюда можно предположить, что воспоминаніе о недавно пережитомъ душевномъ потрясеніи было еще живо въ памяти поэта, который только изрѣдка и при томъ весьма слабо отзывался на внѣшнія событія. Мы видѣли, какъ онъ отнесся къ побѣдамъ Баторія, однако миръ, заключенный съ Москвою при посредствѣ Поссевина, не пришелся ему по сердцу, насколько можно судить на основаніи 49 фразки I книги „Do posła papiezkiego“¹⁾, гдѣ онъ порицаетъ папскаго легата и предостерегаетъ, чтобы онъ не завелъ поляковъ туда, „gdzie placz i tesklnica“.

Въ 1583 году былъ убитъ въ Турціи Яковъ Подлѣдовскій, своякъ нашего поэта, отправленный туда въ качествѣ королевскаго уполномоченнаго для закупки лошадей. Такое нарушение международныхъ правъ, оскорблениѳ польскаго государства и потеря близкаго родственника, все это должно было въ высшей степени взволновать и безъ того огорченаго поэта, который написалъ эпитафию на смерть свояка и лично отправился въ Люблинъ, гдѣ собрался сѣсть по дѣлу Зборовскаго. Кохановскій хотѣлъ добиться у короля войны противъ турокъ въ отмщеніе за убійство Подлѣдовскаго. 22 августа 1584 года, когда Стефаномъ была назначена Кохановскому аудіенція, послѣдній скоропостижно скончался въ залѣ люблинской ратуши, по всей вѣроятности, отъ разрыва сердца, благодаря сильному душевному потрясенію, которое онъ долженъ былъ тогда испытывать.

¹⁾ См. W. R. P. 349.

согласно тому что въ соде творчества и въ личной жизни
кохановскаго въ это время, а также въ дальнейшемъ, и въ позже-
ешии, какъ въ политической деятельности, такъ и въ частной жизни
кохановскаго, что въ драматическомъ творчествѣ авторъ въсѣй
жизни и труда его былъ глубокъ и проникновененъ въ свою
личность, въ то же время же въ политической деятельности, какъ
въ политической, такъ и въ частной жизни, въсѣй творчества, въсѣй
жизни и труда его, въторого подорожника, то есть въ политической
и частной жизни, въсѣй творчества, въсѣй жизніи и труда

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Религиозный, философский и политический убѣжденія Кохановскаго. Его взглядъ
на любовь и на семейную жизнь. Его отношеніе къ дѣтямъ. Родственное чувство.
Дружба. Общественная жизнь и развлечения. Литературное значеніе Кохановскаго.
Его чуткость къ явленіямъ текущей действительности. Гуманизмъ. Введеніе Коха-
новскимъ въ польскую поэзію западно-европейскихъ литературныхъ формъ. Инди-
видуальный и народный элементъ въ его творчествѣ.

Wer den Dichter will verstehen
Muß ins Dichters Lande gehen.

Охарактеризовать чью-нибудь поэтическую дѣятельность можно только
въ томъ случаѣ, если удастся прослѣдить шагъ за шагомъ всю жизнь
разбираемаго писателя въ неразрывной связи съ его произведеніями
и средой, въ которой онъ вращался. По мѣрѣ силъ и возможности
мы старались примѣнить этотъ методъ къ нашей задачѣ и теперь со-
общимъ результаты, къ которымъ онъ привелъ насъ.

Первымъ импульсомъ творческой дѣятельности Кохановскаго по-
служила, по нашему мнѣнію, религія вообще и реформація въ ча-
стности. Воспитанный матерью на строгихъ началахъ древняго bla-
гочестія, онъ не могъ отнестись равнодушно къ протестантскому дви-
женію, которое охватило самую культурную часть польского общества.
Вращаясь въ ея средѣ, онъ присмотрѣлся ближе къ реформації,
призналъ справедливость некоторыхъ ея требованій, написалъ въ би-
блейскомъ духѣ многія изъ своихъ произведеній и выразилъ въ нихъ

взгляды, болѣе близкіе къ протестантству, чѣмъ къ ортодоксальной религії. На догматическихъ вопросахъ детально онъ не останавливался. Можетъ быть, онъ былъ противъ почитанія святыхъ, такъ какъ Божія Матерь, особенно чтимая католиками, въ его произведеніяхъ ни разу не упоминается и, кромѣ того, онъ иногда позволяетъ себѣ даже иронизировать надъ святыми и надъ ихъ чудесами. Другихъ данныхъ о доктринальной сторонѣ его религіи мы не имѣемъ. Больше всего онъ вооружался противъ безбрачія духовенства и его безнравственной жизни. Не менѣе возмущали его свѣтская власть папы и воинственная наклонности римскаго первосвященника. Кромѣ того, Кохановскій признавалъ за каждымъ міряниномъ право голоса въ дѣлахъ вѣры, откуда одинъ шагъ до національной церкви. У насъ нѣтъ никакихъ данныхъ для того, чтобы судить обѣ его отношенія къ обрядовой сторонѣ религіи. Мы можемъ только одно сказать о немъ, что нашъ поэтъ всю свою жизнь оставался глубоко вѣрующимъ человѣкомъ и истиннымъ христіаниномъ въ лучшемъ значеніи этого слова.

Съ Евангельскимъ учениемъ любви, мира и аскетической строгости въ его душѣ слились въ гармоническое цѣлое философскія идеи великихъ мыслителей древняго міра. Стоицизмъ былъ особенно близокъ натурѣ Кохановскаго, который всегда проповѣдывалъ умѣренность и душевное равновѣсіе. Тѣмъ не менѣе, учение Эпікура не осталось чуждымъ для нашего поэта. Гораціанско „*sarpe diem*“ не разъ слышится въ его веселыхъ проникнутыхъ жаждой жизни стихотвореніяхъ. Высоко поэтичная идеология Платона и Пиѳагорейская школа также оставили слѣды въ его творчествѣ. Словомъ, Кохановскій, какъ большинство его современниковъ, былъ настоящимъ эклектикомъ по своимъ философскимъ убѣжденіямъ.

Въ послѣдніхъ нужно искать объясненія его политическихъ взглядовъ. Встрѣчая въ государствахъ древняго міра, преимущественно, монархическую власть, достигшую особенной силы въ Римѣ, нашъ поэтъ, естественно, долженъ былъ предпочесть эту форму правленія всѣмъ другимъ. Такой идеаль онъ переносилъ и на свою родину, терзаемую раздорами и несогласіями, которые возмущали его гармоническую натуру. Въ цѣляхъ политического утилитаризма онъ, вопреки своимъ убѣжденіямъ, склонялся на сторону католичества, какъ наиболѣе объединяющей религіи. Будучи сторонникомъ умѣренности, онъ горячо вооружался противъ роскоши и изнѣженности своихъ соотечественниковъ, такъ какъ видѣлъ

въ этомъ причину упадка воинской доблести, государственное значение которой онъ прекрасно понималъ. Не меньшую заслугу нужно признать за нимъ въ томъ, что онъ относился отрицательно къ чрезмѣрному властолюбію шляхты и крайнему ея парламентаризму. Ошибкой его было непониманіе новыхъ соціальныхъ условій, вызвавшихъ развитіе торговли и промышленности въ Польшѣ, противъ которыхъ неосновательно вооружался Кохановскій. Всѣ эти взгляды нашего поэта отличались искренностью и пламеннымъ патріотизмомъ.

Его чуткая и нѣжная натура, естественно, не могла довольствоваться только религіей, философией и политикой. Этимъ вопросамъ посвящены, большою частью, его крупныя произведенія, между тѣмъ какъ вся почти лирика касается другой области его внутренняго міра, а именно чувства любви. Здѣсь онъ является отчасти выразителемъ гоподствовавшихъ тогда условныхъ формъ такой поэзіи, отчасти выражаетъ свои собственные чувства. Подобно классическимъ писателямъ, нашъ поэтъ признаетъ, преимущественно, чувственную любовь, впрочемъ, совершенно безкорыстную и вѣрную до гроба. Женщина въ глазахъ Кохановскаго такъ высоко стоитъ, что онъ дѣлится съ ней самыми завѣтными мыслями и убѣжденіями. Въ ней онъ выше всего цѣнитъ добродѣтель и умъ. Красота и богатство въ его глазахъ имѣютъ сравнительно невысокую цѣну, хотя, какъ эстетикъ, хорошо знакомый съ учениемъ Платона, онъ считаетъ первую однимъ изъ величайшихъ даровъ Божіихъ и посвящаетъ ей множество самыхъ восторженныхъ пѣсень.

Завершеніемъ любви Кохановскій считалъ бракъ, гдѣ жена должна быть вѣрной помощницей мужа, раздѣляя его хозяйственныя заботы и подавая дѣтямъ примѣръ своимъ трудолюбіемъ. Какъ отецъ, нашъ поэтъ отличался рѣдкой нѣжностью и безпримѣрной привязанностью къ своимъ дѣтямъ.

Къ своимъ близкимъ онъ относился съ самымъ родственнымъ чувствомъ, уважалъ своихъ братьевъ и высоко цѣнилъ совѣты сестеръ. Не нужно упоминать объ его горячей привязанности къ матери, память которой онъ хранилъ свято впродолженіе всей своей жизни.

Такой же прочностью отличалась его дружба со сверстниками и тѣми людьми, съ которыми ему приходилось близко сходиться. Съ приятелями онъ дѣлилъ горе и радости, принималъ живое участіе въ ихъ

развлеченияхъ, иногда позволялъ себѣ съ ними нѣкоторыя излишества, но никогда не доходилъ въ этомъ отношеніи до крайности.

Чуткій ко всему, онъ отражалъ въ своихъ произведеніяхъ все, что только происходило кругомъ него, волновало его современниковъ и возбуждало въ немъ живой интересъ. Ни одно крупное историческое событие, ни одна злоба дня не пропускалась имъ безъ вниманія. Однако, отражая живую дѣйствительность въ своихъ произведеніяхъ, онъ старался сглаживать ее, подводя подъ условныя литературныя формы, что составляло особенность писателей гуманистовъ, вліяніе которыхъ на каждомъ шагу сказывалось въ Кохановскомъ.

У нихъ заимствовалъ онъ тѣ литературные пріемы и формы, которые онъ впервые внесъ въ польскую поэзію, воспользовавшись готовымъ уже материаломъ въ видѣ выработанного въ достаточной степени языка и стиха. Если-бы не было Рея съ его произведеніями, которыхъ мѣстами могутъ считаться по истинѣ художественными, то не было бы и Кохановскаго. Рей создалъ почти всѣ размѣры стиха, которыми воспользовался Кохановскій, придавши имъ тотъ видъ, который господствовалъ тогда въ Италии и во Франціи. Чернолѣсскій поэтъ первый ввелъ въ польскую поэзію терцину, секстину, сонетъ и балладу, ему принадлежитъ первая послѣ эпохи возрожденія попытка написать художественную драму. Словомъ, Кохановскій первый поставилъ польскую поэзію на ряду съ другими европейскими литературами. Онъ первый показалъ, что славянское слово имѣть такую же силу, красоту и звучность, какъ господствовавшій тогда латинскій языкъ, какъ мелодичный итальянскій и французскій.

Не менышу заслугу нужно признать за нимъ какъ за переводчикомъ, познакомившимъ своихъ соотечественниковъ со всѣмъ, что онъ считалъ лучшимъ въ современныхъ ему европейскихъ и въ древне-классическихъ литературахъ. Особенно почетное мѣсто, какъ гуманистъ, отводилъ онъ послѣднимъ. Какъ глубоко религіозный человѣкъ, онъ проникся поэзіей Псалмопѣвца Давида и такъ удачно перевелъ его вдохновенные гимны, что нѣкоторые изъ нихъ до нашихъ дней остаются народными молитвами. Не только съ этой стороны заслуживаетъ онъ названія народнаго поэта, гораздо больше правъ на такое славное имя даетъ ему вѣрное изображеніе чисто польской деревенской жизни, ея обычаевъ, пѣсенъ и поговорокъ.

Не смотря на относительную бѣдность своихъ образовъ, которые повторяются у него на каждомъ шагу, Кохановскій, всетаки, обладалъ сильнымъ поэтическимъ дарованіемъ. Не только для польской поэзіи принесъ онъ громадную пользу, но и русская литература XVII вѣка обязана ему переводомъ Псалтыри Симеона Попоцкаго.

Источниками и пособиями для настоящей работы послужили намъ
следующія сочиненія:

Jana Kochanowskiego. Dzieła Wszystkie. Wydanie Pomnikowe. I—III.
Warszawa 1884.

Józef Przyborowski. Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego. Poznań 1857.

Bronisław Chlebowski. Jan Kochanowski w świetle własnych utworów. Warszawa 1884.

Stanisław Tarnowski. Studia do historyi literatury polskiej. Wiek XVI.
Jan Kochanowski. Kraków. 1888.

Ks. Józef Gacki. O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majątkościach i fundacyach. Kilkanaście pism urzędowych. Warszawa 1869.

Witold Małcurzyński. Posiadłości rodziny Kochanowskich w ziemi Radomskiej. Podług rejestrów poborowych z lat 1569, 1576 i 1577. Biblioteka Warszawska. 1884 r. t. II.
str. 161.

Stanisław Windakiewicz. Pobyt Kochanowskiego za granicą. Szkic biograficzny. Kraków. 1886.

Löwenfeld Raphael. Johann Kochanowski und seine lateinische Dichtungen. Posen. 1878.

Józef Kallenbach. Jan Kochanowski w uniwersytecie Krakowskim.
(Na podstawie metryk uniwersyteckich). Ateneum 1884.
t. III. str. 552.

Bronisław Chlebowski. Pobyt Kochanowskiego na dworach panów małopolskich, pomiędzy Wisłą a Sanem, i słówko o

- wpływie Ariosta na polskiego poetę. Przyczynek biograficzno-krytyczny. Tygodnik Illustrowany. 1884. t. II. str. 117.
- Stanisław Windakiewicz. Życie dworskie Kochanowskiego. (Przyczynek do biografii poety). Kraków 1886.
- A. Małecki. Jana Kochanowskiego młodość. „Przegląd Polski“. Sierpień 1884.
- Roman Plenkiewicz. Jan Kochanowski wedle najnowszych opracowań. „Ateneum“. 1878. t. IV. str. 156.
- Józef Kallenbach. Książka ofiarowana Grzębskiemu. „Przegląd Polski“. Sierpień 1884.
- Kazimierz Morawski. Z życia towarzyskiego w epoce Zygmunta Augusta. „Przegląd Polski“. Sierpień. 1884.
- Stanisław Windakiewicz. Nieznane szczegóły o rodzinie Kochanowskich. Kraków 1884.
- Pawlowski. Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego. Rozprawy i sprawozdania Akademii Umiejętności, wydziału filologicznego. T. X. W Krakowie.
- Józef Kallenbach. Kilka słów o Elegijach łacińskich Jana Kochanowskiego. „Rozprawy i sprawozdania z posiedzień, wydziału filologicznego Akademii Umiejętności“. T. X. Kraków 1884.
- Marcin Sas. O miarach poematów łacińskich Jana Kochanowskiego i o ich wzorach. Rozprawy Akademii Umiejętności, wydziału filologicznego. Ogólnego zbioru t. XVIII.
- A. Brückner. Nowe przyczynki do dzieł Jana Kochanowskiego. „Ateneum“ 1891. T. II. str. 1.
- Wacław Gasztowt. Poezya europejska XVI wieku w stosunku do Jana Kochanowskiego „Przegląd Polski“. Sierpień 1884.
- Bobrzyński M. Stanowisko polityczne Jana Kochanowskiego. „Przegląd Polski“. Sierpień 1884.
- Józef Kallenbach. Filozofia Jana Kochanowskiego. Szkic literacki. Kraków 1888.
- Wład. Nehring. „Odprawa posłów greckich“ Jana Kochanowskiego. Studya literackie. Poznań 1884.
- Józef Kallenbach. „Odprawa posłów greckich“ Jana Kochanowskiego. Rozprawy i sprawozdania z posiedzień wydziału filologicznego. T. X.

Rymarkiewicz. Jana Kochanowskiego. „Pieśń świętojańska o sobótce“. Poznań 1884.

„Pieśń świętojańska o sobótce“ oceniona wedle wydania Jana Kochanowskiego u Andrzeja Piotrkowczyka w Krakowie R. P. 1617. „Ateneum“ 1876. T. IV. str. 46.

Piotr Chmielowski. „Sobótka“ zestawienie dwóch wieków i dwóch indywidualności. „Tygodnik Illustrowany“. 1875. str. 27.

Maurycy Dzieduszycki. Szachy w Polsce. Dodatek do „Czasu“. Lipiec 1856.

Stanisław Witkowski. Stosunek „Szachów“ Kochanowskiego do poematu Vidy „Scacchia ludus“. Rozprawy Akademii Umiejętności. T. XVIII.

Krystyniacki. Marka Tulliusza Cicerona tłumaczenie Arata przez Jana Kochanowskiego uzupełnione. Lwów 1883.

Piotr Parylak. O pieśniach Jana Kochanowskiego z uwzględnieniem poetów klasycznych. Lwów 1879.

Felicyan Faleński. Jan Kochanowski jako poeta liryczny. „Tygodnik Illustrowany“ 1864. str. 314.

Felicyan Faleński. Trety Jana Kochanowskiego. „Biblioteka Warszawska“ 1866. T. I. str. 376.

Felicyan Faleński. Pogadanka o „Fraszkach“ Jana Kochanowskiego. „Biblioteka Warszawska“. T. II. 1881. str. 157.

Władysław Nehring. Trety Jana Kochanowskiego. „Biblioteka Warszawska“ 1881. T. III. str. 165.

Henryk Kopia. Trzy epigrammata Kochanowskiego. „Ateneum“ 1888. T. IV. str. 402.

Kazimierz Morawski. Kilka słów o „Satyrze“ Jana Kochanowskiego. „Ateneum“ 1882. T. IV. str. 354.

Józef Przyborowski. Jana Kochanowskiego „Pieśń o potopie“. Studium bibliograficzne. „Ateneum“ 1876. T. I. str. 666.

A. Brückner. Jan Kochanowski. „Archiv für slavische Philologie“. VIII Band. Anzeigen 477 Seite.

Antoni Siennicki. Stosunek Psalterza przekładania Jana Kochanowskiego do „Paraphrasis psalmorum“ Jerzego Buchanana. Sprawozdanie dyrekcyi gimnazjum w Samborze za 1893 r. Sambor.

- Józef Szujski. Treny na śmierć córki Jana Kochanowskiego i „Ojciec zadżumionych w El. Arisz“ Juliusza Słowackiego. Zestawienie historyczno literackie i estetyczne. Dzieła J. Szujskiego. Wydanie zbiorowe T. VII.
- Stanisław Tarnowski. O Janie Kochanowskim trzy odczyty. „Niwa“. T. XVII. 1880. str. 665, 753, 825, 903.
- W. Bruchnalski. O budowie zwrotek w poezyi polskiej do Jana Kochanowskiego. Kraków. 1886.
- Kazimierz Bronikowski. Słowo o stosunku Kochanowskiego do Ronsarda. Kraków. 1887.
- Kazimierz Bronikowski. O Foricoeniach Jana Kochanowskiego. Kraków. 1888.
- Wacław Aleksander Maciejowski. T. I—III. Warszawa. 1853. (Piśmiennictwo polskie).
- Adama Mickiewicza. Rzecz o literaturze słowiańskiej wykładana w Kollegium Francuzkim. Poznań 1850.
- A. H. Пыпінъ и В. Д. Спасовичъ. Исторія славянскихъ литературъ Т. II. СПБ. 1879.
- Dr. Josef Szujski. Die Polen und Ruthenen in Galizien. Wien und Teschen. 1882.
- A. Brückner. Źródła do dziejów literatury i oświaty polskiej. II. Bezmieany poeta z czasów Zygmunta Augusta „Biblioteka Warszawska“. 1891. T. II. str. 271. III. Sęp Szarzyński. „B. W.“ 1891. T. III. str. 537. VI Wiersze zbieranej drużyny. „B. W.“ 1893. IV. 409.
Przysłowia. Kartki z dziejów literatury i kultury polskiej. „Ateneum“ 1895. T. III.
- Stanisław Krzyżanowski. Andrzej Ciesielski. Studium z literatury politycznej XVI wieku. Kraków. 1886.
- Aleksander Zdanowicz. Rys dziejów literatury polskiej. Doprowadził Leonard Sowiński. Wilno 1875.
- Julian Bartoszewicz. Historya literatury polskiej. Warszawa 1861.
- Michał Wiszniewski. Historya literatury polskiej. Kraków 1840.

атасын балык тюленин түштүрдүн
башында көп көп жетек дегендей болуп
жарыс жана салынбайтын
жакшылыгынан да көп көп жетек дегендей болуп
жарыс жана салынбайтын
жарыс жана салынбайтын

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Переводы изъ Яна Кохановского.

І ТРЕНЬ.

Всѣ слезы, что въ мірѣ лилися отъ вѣка,
Всѣ вздохи и жалобы древнихъ пѣвцовъ,
Всѣ думы надъ горькой судьбой человѣка!
Я слить въ моей скорби глубокой готовъ,
Чтобъ ими оплакать мою дорогую,
Мою ненаглядную, милую дочь,
Чью жизнь, словно ангелъ небесный, святую
Успѣла безбожная смерть превозмочь.
Такъ ястребъ птенцовъ изъ гнѣзда похищаетъ...
Напрасно щебечеть несчастная мать,
Напрасно за хищникомъ дерзкимъ летаетъ,
Стараясь дѣтей своихъ милыхъ отнять....
Мнѣ скажутъ, что горькая жалобы тщетны...
— А что же не тщетно на нашей землѣ?
Все въ мірѣ ничтожно, какъ прахъ, незамѣтно,
Все суетно, ложно и тонеть во злѣ.
Не знаю, что лучше: дать волю рыданьямъ
Иль молча бороться съ жестокой судьбой,
Съ однимъ неизмѣннымъ, глубокимъ сознаньемъ
Ничѣмъ не окончить свой дерзостный бой?

И ТРЕНЬ.

Еслибъ мнѣ довелось мою лютню настроить
Для дѣтей, чтобы имъ мои риѳмы слагать,
Колыбельною пѣсней ихъ плачъ успокоить
Я старался бѣ тогда, словно нѣжная мать.
Это лучше, чѣмъ плакать надъ дочерью милой
И напрасно жестокость судьбы проклинать....
Да не могъ я тогда съ одинаковой силой
Пѣсни смерти и радости дѣтской слагать:
Мнѣ казалось послѣдняя слишкомъ ничтожной,
Чтобъ торжественный стихъ мой коснулся ея.
Но судьбы совершился законъ непреложный
И рыдаетъ разбитое сердце мое.
Я не знаю, что ждетъ мои слезы въ грядущемъ....
Не хотѣлось мнѣ пѣть для младенцевъ живыхъ,
А теперь, въ моемъ горѣ суровомъ, гнетущемъ,
Для умершихъ слагаю я жалобный стихъ.
Сушить сердце мое этотъ плачъ погребальный....
Въ мірѣ случай слѣпой полновластно царитъ:
Кто получитъ веселый удѣлъ, кто печальный.
О, законъ, полный горькихъ, тяжелыхъ обидъ!
О, владычица царства тѣней мимолетныхъ!
Отчего моя дочь въ такихъ юныхъ годахъ,
Не извѣдавши жизни утѣхъ беззаботныхъ,
Обратилась въ холодный, безчувственный прахъ?...
Не успѣла и солнцемъ она насладиться,
Какъ спустилась въ края безпросвѣтныхъ ночей....
Лучше было бы ей никогда не родиться,
Чѣмъ готовиться къ смерти съ младенческихъ дней!
Для родителей, вмѣсто утѣхи желанной,
Исполненъ въ грядущемъ ихъ сладостныхъ грѣзъ,
Только горе принесть ея трупъ бездыханный,
Орошаемый нынѣ потоками слезъ.

III ТРЕНЬ.

Недовольна ты мной, моя дѣточка славная,
Недовольна убогимъ наслѣдствомъ моимъ?
Ты права: оно—доля далѣко не равная твоимъ
Добродѣтелямъ будущимъ свѣтлымъ твоимъ.
Вспоминаю я съ грустью и рѣчь твою милую,
И забавы твои, и привѣтливый взглядъ....
Не вернешься ко мнѣ ты... и жизнью постылою
Будетъ дней моихъ скорбныхъ томительный рядъ.
Для меня остается одно утѣшеніе—
За тобою въ далекій готовиться путь.
Тамъ ты встрѣтишь меня въ лучезарныхъ селеніяхъ
И головку свою мнѣ положишь на грудь.

VII ТРЕНЬ.

Несчастные наряды, печальные уборы
Любимой дочери моей,
Къ тому-ль вы за собою мои влечете взоры,
Чтобъ стала скорбь моя сильнѣй?
По утру, какъ бывало, съ улыбкою безпечной
Она ужъ не надѣнетъ васъ.
Желѣзный сонъ, могильный, сонъ непробудный, вѣчный,
Не дастъ открыть ей милыхъ глазъ.
Вотъ платьице, вотъ поясъ изъ ткани золоченой,
А вотъ и ленточки для косъ,—
Все матери подарки, отчаяньяемъ сраженной,
Томящейся отъ горькихъ слезъ.
Нѣть, не такое ложе, Уршуля дорогая,
Тебѣ приготовляла мать,
Приданое не это, на свадьбу спаряжая,
Тебѣ она хотѣла дать.
Рубашечкой и платьемъ тебя она снабдила,
Отецъ,--комкомъ земли сырой,
Холодная могила на вѣкъ тебя закрыла
И весь нарядъ убогій твой.

VIII ТРЕНЬ.

Какъ пусто стало здѣсь, Уршуля дорогая,
Съ тѣхъ порь, какъ ты навѣкъ покинула мой домъ!
Мы всѣ сошлисъ сюда, но тишина глухая,
Какъ будто все мертвое, у насъ царить кругомъ.
Такъ много убыло съ одной моей малюткой!
Она могла за всѣхъ смеяться, лепетать
И весь унылый домъ то пѣсенкой, то шуткой,
То рѣзвой бѣготней, то смѣхомъ оглашать.
Не дастъ отцу она усиленной работой
Напрасно изнурять свой беспокойный умъ;
Порою мать свою, томимую заботой,
Избавить ласками отъ невеселыхъ думъ.
Вдругъ кинется она то матери на шею,
То грустному отцу, прильнувши нѣжно къ нимъ...
Затихло въ домѣ все, умолкло вмѣстѣ съ нею
И стало навсегда безлюднымъ и пустымъ.
Изъ каждого угла печалью жгучей вѣтъ,
Со всѣхъ сторонъ гнететь нѣмая тишина,
А сердца бѣдного надежда не лелеѣтъ,
Его уже давно оставила она.

Собутка.

Только солнце яркимъ свѣтомъ
Засияло знонимъ лѣтомъ,
И „собутка“, какъ бывало,
Въ Чернолѣсѣ запыдала.
Домочадцы здѣсь съ гостями
Всѣ собрались предъ кострами.
Заиграли три свирѣли,
Эхомъ имъ сады звенѣли.
Тутъ пригожія дѣвицы,
Въ поясочкахъ изъ былицы,
Предъ толпою разомъ встали.

(Шесть ихъ паръ мы насчитали).
Всѣ онъ плясать умѣли,
Много чудныхъ пѣсенъ пѣли.
Вышла первая сначала,
Пѣснь ея вотъ такъ звучала:

І дѣвушка.

Передъ яркими кострами
Мы теперь остались сами.
Сестры, хороводъ составимъ,
Пѣсней людъ честной забавимъ.
Ночь прогонитъ намъ въ угоду
Вѣтеръ, дождь и непогоду.
Мы подъ яснымъ небомъ этимъ
Зорьку утреннюю встрѣтимъ.
Такъ отцы намъ завѣщали,
Какъ отъ праѣдовъ слыхали,
Чтобъ „собутка“ подъ Купала
Всюду по почамъ пытала.
Мой совѣтъ вамъ, дѣти: знайте,—
Старинѣ не измѣняйте.
Праздникъ праздникомъ пусть будетъ,
Оттого вамъ не убудетъ.
Люди прежде праздники чтили,
Хоть досуговъ не любили,
И зато земля сторицей
Награждала ихъ пшеницей.
А теперь и въ праздникъ пашемъ
Мы на скучномъ полѣ нашемъ,
Изъ того-жъ, что мы посѣемъ,
Ничего мы не имѣемъ:
Или градъ колосья свалить,
Или лѣтній зной ихъ спалить.
Урожаи меньше стали,
Дни тяжелые настали.
Если трудитесь вы много,
Помощь вамъ нужна отъ Бога.

Примирайтесь, дѣти, съ Небомъ,
Если жить хотите хлѣбомъ.
Богу посвятимъ работы
И отложимъ всѣ заботы.
Полно, дѣти, огорчаться:
Дни бывалы возвратятся,
А теперь мы, какъ бывало,
Отъ велика и до мала,
Праздникъ чтить до свѣта будемъ,
Звонкихъ пѣсенъ не забудемъ.

У ДѢВУШКИ.

Сестры, я отъ васъ не скрою:
Не даетъ онъ мнѣ покоя,
По пятамъ за мною ходить,
Жадныхъ глазъ съ меня не сводить.
Онъ въ любви мнѣ самъ признался,
Если только не смѣялся.
Я-бъ ему отвѣтить рада,
Мнѣ другого и не надо:
Шимекъ всѣмъ польстить успѣетъ
И понравиться сумѣетъ,
Шутки всѣ ему прощаются
И насмѣшки забываютъ.
За него пойдетъ любая,
Все на свѣтѣ забывая.
Только онъ кого поманитъ,
Анъ глядишь—ужъ и обманетъ.
Я глупа была когда-то,
Шимку вѣрить стала свято,
А теперь его я знаю
И ужъ больше не сплошашо.
Ты со мной бесѣду водишь
И къ другой тихонъко ходишь?
Мнѣ не нуженъ ты, лукавый,
Не хочу я быть забавой.
Не ухаживай не въ мѣру,

Подорвешь въ меня ты вѣру,
Станутъ думать, что напрасно
Оклеветанъ ты, несчастный.

VI дѣвушка.

Солнце зноемъ лѣтнимъ пышеть,
Вѣтеръ травки не колышетъ,
Лишь кузнечики стрекочать,
Вѣдро жаркое пророчатъ.
Къ ручейкамъ стремится стадо,
Гдѣ приволье и прохлада,
И пастухъ своей свирѣлью
Будить рощу звонкой трелью.
Хлѣбъ на близнемъ полѣ зреТЬ,
Наливается, желтѣТЬ.
Скоро ужъ наступитъ жниво,
Подъ серпами ляжетъ нива.
Серпъ для озими придется,
А косою ярь сожнется.
Увязавши хлѣбъ снопами,
Станемъ складывать скирдами,
Изъ колосьевъ свѣже сжатыхъ,
Золотистыхъ и усатыхъ,
Мы господѣ, съ вѣнкомъ прекраснымъ,
Вечеркомъ поздравимъ яснымъ
И, окончивъ трудъ тяжелый,
Благодарный и веселый,
Разойдемся понемногу,
Воздавая славу Богу.
Гость, когда полны закромы,
Ждать тебя я буду дома,
Если самъ не соберешься
И меня ты не дождешься.

VII дѣвушка.

Тщетно здѣсь ищу тебя я:
Знаю я, тропа лѣсная

Для тебя всего милѣе,
Въ полѣ дышешь ты вольнѣе.
Мнѣ-бѣ хотѣлось, чтобъ со мною
Ты видался хоть порою,
За тобою сердце ноетъ,
Дымка слезъ мнѣ очи кроетъ.
По полямъ, степямъ широкимъ,
По густымъ лѣсамъ высокимъ,
За тобою-бѣ я ходила,
Всѣ-бѣ труды твои дѣлила.
Никогда я не устану.
Изъ любви къ тебѣ я стану
Помогать тебѣ въ охотѣ,
Дичь выслѣживать въ болотѣ,
И пойду я съ сѣтью длинной
Лѣса чащею пустынной....:
Если я тебѣ мѣшаю,
Дай вести мнѣ гончихъ стаю.
Заросль самую густую
За тобой я не миную,
Жажду вынесу и голодъ,
Лѣтній зной и зимній холодъ.
Если скучно въ полѣ станетъ
И домой тебя поманить,
За тобой, мой милый, всюду
Вѣрно слѣдоватъ я буду.

P. II 21

Тяжелыя цѣпи на сердцѣ я чую,
Но счастье—онѣ для меня.
Попалъ въ западню я, но въ ней не тоскую,
И весель въ неволѣ по прежнему я.
Мнѣ большаго счастья не надо!
Пусть думаютъ люди, что горько мнѣ жить
При блескѣ лучистаго взгляда,
Съ которымъ ничто невозможно сравнить,—
Мнѣ сладкія цѣпи—отрада,
День плѣна я въ памяти буду хранить.

14 пѣснь II книги.

Вы, царствъ владѣтели, кому дано судьбою
Верховный вѣдать судь, людской законъ блюсти,
Господство въ чьихъ рукахъ надъ цѣлою страною,
Кому довѣрилъ Богъ стада людей пасти,
Всегда имѣйте вы предъ вашими очами,
Что мѣсто Божіе вамъ на землѣ дано,
Что польза всѣхъ людей должна цѣниться вами,
Не только лишь свое спокойствіе одно.
Надъ менѣшай братьей вы теперь стоите,
Но и надъ вами есть Верховный Господинъ,
Ему когда-нибудь отчетъ вы отдадите
И оправдаться тутъ не сможетъ ни одинъ,
Кто былъ несправедливъ. Судъ Божій неподкупный
Не смотрить никогда на деньги и чины,
Въ серымягу-ли одѣтъ, иль въ золото, преступный:
Не минеть кары онъ за всѣ свои вины.
Я знаю, что меня судить не станутъ строго:
Въ дѣлахъ не связанъ я съ отечества судьбой;
Вы жъ, царствъ губители, отъ праведнаго Бога
Не ждите милости за грѣхъ великий свой!

Смотри, какъ снѣгъ въ горахъ бѣлѣТЬ,
Какъ журавли летятъ,
Озера будто спать,
И лишь суровый вѣтеръ вѣТЬ.
Пусть слуги принесутъ зимою
Намъ дровъ для камина,
На столъ дадутъ вина,—
Тогда довольны мы судьбою.
Ничто отъ бѣдствій не поможетъ.
Къ чему гадать о томъ,
Что ждетъ насъ всѣхъ потомъ:
Все въ мигъ Господь разрушить можетъ.
Короткій вѣкъ надеждъ не любить:

Что въ руки попадеть,
Пусть цѣлымъ не уйдетъ:
Никто вѣдь смерти не погубить!
Олень рога свои мѣняеть,
А молодость навѣкъ
Теряетъ человѣкъ
И свѣтлыхъ дней уже не знаетъ.

Пѣснь о благодѣяніяхъ Божіихъ.

Скажи, чѣмъ, Господи, за всѣ щедроты
Которымъ мѣры нѣть, Тебѣ мы воздадимъ?
И бездны мрачныя, и горнія высоты,
И всѣ моря полны величиемъ Твоимъ.
Къ чему Тебѣ дары? Богатства всей вселенной,
Все наше золото Тебѣ принадлежитъ,
Пріятна для Тебя мольба души смиренной,
Когда, какъ єниміамъ, она къ Тебѣ летить.
Ты, Боже, создалъ сводъ небесъ необозримыхъ,
Украсилъ звѣздами и землю укрѣпилъ
На основаньяхъ Ты, навѣки нерушимыхъ,
И наготу ея растеніями покрылъ.
По слову Твоему остановилось море,
Не смѣя перейти положенный предѣлъ,
Ты рѣки напоилъ водами на просторѣ,
День свѣтомъ озарилъ и тьмою ночь одѣлъ.
По слову Твоему весна полна цвѣтами
И лѣто для себя изъ ржи вѣнокъ плететь,
И осень настаетъ, обильная плодами,
За нею вслѣдъ зима лѣнивая идетъ.
По милости Твоей съ небесъ роса ночная
И благодатный дождь спадаетъ на хлѣба,
И ждетъ изъ рукъ Твоихъ щедротъ вся тварь земная,
И пищу ты даешь для каждого раба.
Безсмертный Господи, не можетъ быть границы
Дарамъ безчисленнымъ и милостямъ Твоимъ!
Не отнимай отъ насть во вѣкъ своей десницы,
Покрай смиренныхъ насть Твоимъ крыломъ святымъ!

О м е п.

Если-бы музы ко мнѣ благосклоннѣе были,
Чтобъ по мѣрѣ желаній хватало мнѣ силъ,
Я-бы родины милой завѣтныя были
Отъ забвенья грядущихъ вѣковъ сохранилъ.
Всюду вижу я силу родимаго края:
Вотъ до Чернаго моря проложенный путь,
Вотъ вершины Балкановъ надъ лентой Дуная,
Прусскій берегъ, успѣвшій отъ войнъ отдохнуть.
Кто когда-нибудь взглянетъ въ минувшіе годы,
Предковъ нашихъ великое царство найдетъ:
Съ Адриатики вплоть по Замерзшія воды
Обиталъ благородный славянскій народъ.

С о н ъ.

О, сонъ, что учишь смерти человѣка,
На мигъ дай тѣлу бренному покой
И все блаженство будущаго вѣка
Душѣ освобожденной ты открай.
Туда-ль она пойдетъ, гдѣ гаснутъ зори,
Туда-ль, гдѣ солнце ясное встаетъ,
Въ края-ль, гдѣ зноемъ высушено море,
Иль къ сѣверу, гдѣ вѣчный снѣгъ и ледъ?
Красою звѣздъ ей можно любоваться,
Ихъ быстрый бѣгъ свободно наблюдать,
Мелодіей небесной наслаждаться
И горнихъ сферъ гармоніи внимать!
Оставь ее, пусть вдоволь наглядится
На тѣ благословенные края,
А тѣло пусть, уставшее трудиться,
Познаетъ сладкій отдыхъ небытъя.

ЗАМѢЧЕННЫЯ ГЛАВНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ.

СТРАН.	СТРОКА.	НА ПЕЧАТАНО.	СЛѢДУЕТЪ.
1	Эпиграфъ.	XVI	XVII
6	примѣч. 3	Lukasza	Łukasza
—	примѣч. 5	Pzyborowski	Przyborowski
—	3 снизу	неимѣмъ	не имѣмъ
15	примѣч. 1	Jozef	Raphael
48	7 сверху	также	такъ же
62	15 снизу	въ чеяль	въ чемъ
	16 снизу	связывается	связывается
114	15 снизу	движніе	движеніе
118	4 снизу	не высоко	невысоко
124	13—14 св.	никонему нужна	никому ненужная
138	13 снизу	Familiaria	(Familiaria
145	12 сверху	Филиппа	Филиппа
146	14 снизу	miluja	miluja
162	14 сверху	также	такъ же
164	14 сверху	obsiedą	obsiedą
177	1 сверху	небу	Небу
179	7 снизу	господ,	господ-
—	3 снизу	Nie	Nic
195	2 снизу	ojcow	ojców
200	11 сверху	abnuerit,	abnuerit.
207	9 снизу	mróznej,	mróznej
211	18 сверху	подругъ	подругъ:
217	17 снизу	Второе	Второе
221	5 снизу	półmiski,	półmiski,
223	11 сверху	фантазіи,	фантазіи
246	8 сверху	znakomitrzemi	znakomitszemi
262	6 сверху	zy	lzy

SŁOWNIK WYDAWNICZY I KOMISYJNY

STRESZCZ	WYDANIA	WYDANIA	STRESZCZ
1972	177	178	1
1973	180	181	2
1974	183	184	—
1975	186	187	—
1976	189	190	3
1977	192	193	4
1978	195	196	5
1979	198	199	6
1980	201	202	7
1981	204	205	8
1982	207	208	9
1983	210	211	10
1984	213	214	11
1985	216	217	12
1986	219	220	13
1987	222	223	14
1988	225	226	15
1989	228	229	16
1990	231	232	17
1991	234	235	18
1992	237	238	19
1993	240	241	20
1994	243	244	21
1995	246	247	22
1996	249	250	23
1997	252	253	24
1998	255	256	25
1999	258	259	26
2000	261	262	27
2001	264	265	28
2002	267	268	29
2003	270	271	30
2004	273	274	31
2005	276	277	32
2006	279	280	33
2007	282	283	34
2008	285	286	35
2009	288	289	36
2010	291	292	37
2011	294	295	38
2012	297	298	39
2013	300	301	40



**INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa 15 v Świat 72
Tel. 22 640 12 22**

F

6035